



ЛЕВ ТОЛСТОЙ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ



Н. А. Никитина

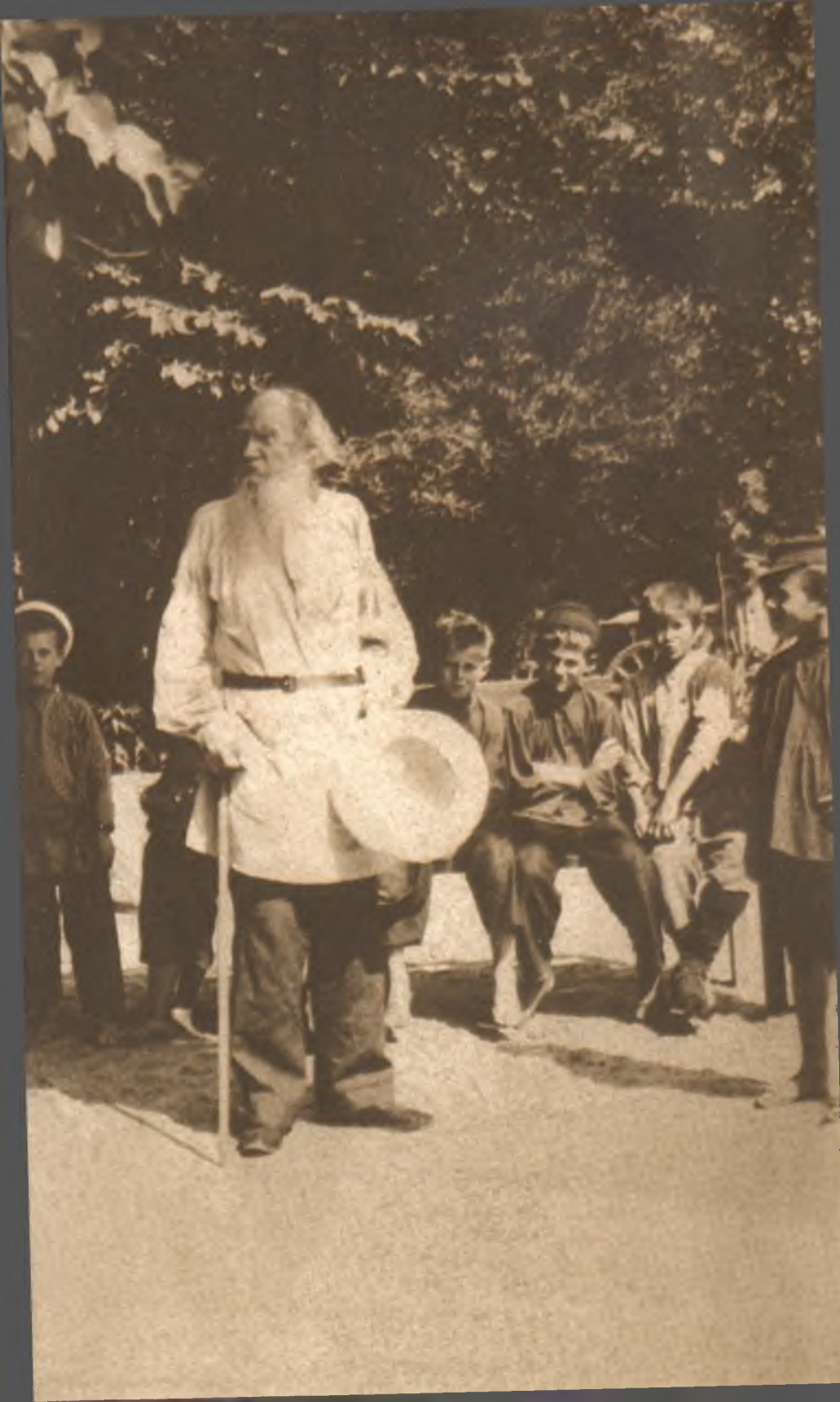
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ

ЛЬВА ТОЛСТОГО В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ







ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА



ПОВСЕДНЕВНАЯ

Н. А. Никитина



МОСКВА

ЖИЗНЬ ЛЬВА ТОЛСТОГО В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ



УДК 82.161.1
ББК 83.3(2Рос=Рус)6
Н 62

*Sera By
Vitaudus & Kali*

*Серийное оформление
Сергея ЛЮБАЕВА*

ISBN 978-5-235-02979-8

© Никитина Н. А., 2007
© Издательство АО «Молодая гвардия»,
художественное оформление, 2007



*Татьяне, Владимиру, Анне и Марку,
моим самым любимым вдохновителям,
посвящается...*

О вечной повседневности

Существует привычный и устоявшийся взгляд на Толстого. Лев Толстой — гениальный классик, строго взирающий со своей высоты на суетное, тленное. Он больше знаком нам как великий художник, озабоченный вечными проблемами духа. Сиятельный образ невольно ослепляет нас, не позволяя рассмотреть в нем земное, своеобразно повторяющее божественное. Но Толстой един и целостен, и в самом мелком, и в самом грандиозном. Един во множестве, постоянен в изменчивости, бесконечен в ограниченности. Он сам — абсолютное движение! Толстой был убежден в том, что «истина в движении — только». Он постоянно искал необычное в обыденном, оригинальное в банальном, вечное в повседневном. Ему было интересно все реальное, будничное, мимолетное, живое. Первой и последней любовью стала для него Ясная Поляна, превратившаяся в его Вселенную.

Уже в самом толстовском имени скрестились вечность с повседневностью. Лев Николаевич! — Так, да не так! Он сам называл себя только Лёв, произнося «ё», а не «е». Так же обращались к нему и самые близкие. «Феномен повседневности» раскрывается нам через призму гениальной личности Льва Толстого, через прихотливый узор его жизни. Классический Толстой предстает перед нами в каждодневности, где сталкивались порывы естества и этикет поведения.

Мы надеемся, что читать книгу будет легко и интересно. Во-первых, потому, что нами отобраны те сюжеты, которые, с нашей точки зрения, и сегодня способны возбудить живой, а не просто академический интерес. Во-вторых, потому, что нигде так ярко не проявляется характер человека, как в обыденной форме человеческого бытия. В-третьих, интенция повседневности наиболее четко просматривается в эффекте двоящихся смыслов «обыденное — необычное». В-четвертых, соприкосновение с великой персоналией эстетизирует данную проблему, давая каждому из нас хотя бы «один час полной жизни», где есть и бедность, и любовь, когда тайное становится явным, конечное — бесконечным, невыразимое — отчетливым. Мы узнаем, как складывалась уникальная жизнь из сонма будничных реалий и из обыденных состояний. В заботах о здоровье, о чистоте в доме, о комфорте близких, о чувстве долга, о «привычном от вечности» протекала жизнь Льва Толстого, как порой проходит и наша жизнь «здесь и сейчас».

Со временем жизнь Толстого мифологизировалась. Вполне будничная, в общем-то, похожая на нашу с вами, она оказалась уникальной и впечатляющей своими плодами. Вроде бы каждый день был похож на другой: прогулки пешком или верхом на лошади при любой погоде, завтрак, обед, ужин, всегда в одно и то же время; игра на фортепиано, в шахматы, в карты. При этом работа без выходных, проходившая за письменным столом, из-за чего писатель называл себя «машиной для писания».

Попытавшись прочертить демаркационную линию между простым и великим, профанным и сакральным, рутинным и харизматическим, мы убедимся, что даже гению не дано оторваться от обыденного.

Суть нашего замысла заключается в осмыслении первой, «всехней» реальности, то есть нашей с вами обыденности, которая в особых случаях подвергается мутации. Так рождается совсем иная, вторая реальность, и в этом заключается исключительное право гения.

Толстой в контексте каждодневного бытия предстает не в каноническом облике, а будто бы в домашнем хала-

те, с неудобными вопросами. «Черти водятся в мелочах», казалось бы, никоим образом не совместимых с образом гения. Но мелочи эти так расширяют горизонты видимости, что позволяют нам открыть для себя Толстого непривычно обыденного.

Его творчество давно стало достоянием мировой культуры. И как всякое творчество оно не стареет, поэтому и воспринимается Толстой не только как классик, но и как современник.

Кризисы неотступно сопровождали его и завершились вполне предсказуемым финалом — уходом из Ясной Поляны. Он объяснял изменчивость телесных и душевных движений тем, что «нет ничего *stable* (стабильного. — *Н. Н.*) в жизни», и потому невозможно приспособиться ко всем прихотям повседневности раз и навсегда. Ведь она подобна текущей воде. Семейное счастье, здоровье, финансы, усадьбное хозяйство, увлечения постоянно подвергаются эрозии времени. Толстовское бытие было изменчивым, как облака на небе. Писатель примерял себя к некоему канону, но заканчивалось это неудачей. Он легко сходил и расходился с людьми, мог внезапно изменить свои взгляды, относился ко всем теориям нигилистически. Он изобретал собственные универсалии, «чтобы знать, что делать прежде, а что после».

Как он смог преодолеть комплекс «самого пустяшно-го малого», который, по словам его учителя, ничего «не может и не хочет»? Он сам много раз говорил о собственной никчемности, и это не являлось для него самоедством или преувеличением. Феномен его личности заключается в том, что он упорно сопротивлялся фатальным ужасам жизни, находя в себе адекватную силу для противостояния им. Свои экзистенции между городом и деревней, тишиной Ясной Поляны и шумом железной дороги, одиночеством и публичностью, вечностью и повседневностью Толстой преодолевал творчеством, а раздвоенность гармонизировал волей к жизни.

Нам чрезвычайно интересно знать, как Лев Николаевич стал великим человеком. Толстой был убежден в том, что он существовал еще до того, как родился, что

он — произведение всех своих предков, живших задолго до него. Недостающие знания о них он компенсировал богатством своего воображения. Деда, мать, отца он во многом мифологизировал. Его жизнь протекала в прихотливой дуальности, ежедневное героизировалось, становясь «небудничным». В этой удивительной жизни ничего не было случайным. Толстой мог бы оказаться хозяином других имений — Никольского-Вяземского, Пирогова, Щербачевки, но стал владельцем именно Ясной Поляны. «Лучезарному» Льву наиболее соответствовала семантика Ясной Поляны, она стала адекватной формой его бытия. Только здесь он мог ритуализировать свой образ жизни, персонифицировать повседневность, бодро прогуливаясь по дорожкам в усадьбе — в драповом пальто, подпоясанном ремнем, в больших сапогах, в круглой мягкой шапочке, с тростью-стулом в руке.

Толстой не отличался богатырским здоровьем, но благодаря своей воле благополучно преодолевал многие недуги, повторяя, что самая страшная болезнь — вера в докторов. Считал, что поставить больного на ноги может только сиделка, потому что смысл лечения усматривал не в хирургических операциях, а в сестринском милосердии. И верил в свои духовные силы, в здоровый дух. Воодушевлялся, когда близкие и гости, наблюдая, как он в 67 лет крутит «солнце» на турнике, восторженно восклицали: «О-ля-ля!»

Один из способов озадачить сороконожку — спросить: с какой ноги она начинает ходить. Толстой говорил: «Чтобы объяснить, что я хотел сказать в “Анне Карениной”, ее надо написать заново с первой до последней строки». Как изобразить выдуманного Ивана Ивановича или Марью Петровну, чтобы не было совестно? Разве возможно написать о дожде, о чувствах девицы, ее мечтах, да так, что и Тургеневу не снилось, и чтобы это было интересно? Он ответил на это своими гениальными произведениями. Толстой черпал свои творческие интенции из банальной повседневности, соединяя божественное с человеческим, необычное с обычным, прозу жизни с поэзией. О волевом «механизме» своего письма он поведал в дневниках, подробно

описав все свои усилия, направленные на преодоление пороков, мешавших достижению успеха. Он завел «Правила для развития воли», «Франклиновский журнал». В них изо дня в день давал себе задания, точно указывая сроки их исполнения. Чтобы совершенствовать стиль, Толстой занимался переводами. С помощью таких «сизифовых» штудий — переводов с иностранного языка на русский — он попутно еще и развивал свою память.

То, что он писал, сначала выходило «лениво, слабо и трусливо», но со временем — «бесстрашно». В дневниках фиксировались прототипы, зрительные образы, фабула, ритм, развязка.

Для «каторжного» труда был необходим соответствующий антураж — пустой письменный стол, маленький стульчик, плотно закрытые двери кабинета. А еще — утренний кофе, тишина, одиночество. Толстой творил, не ожидая вдохновения, не признавая выходных и праздничных дней. Его кабинет был крепостью, в которую никто не мог входить во время его работы. Здесь он пытался «перетолочь» повседневность в литературу, словно сестер Берс — Таню и Соню — в Наташу Ростову.

Он называл себя «литератором по способности и аристократом по рождению». Хаос личной жизни преодолевал благодаря писательству, кинувшись в него «сломя голову». Несмотря на то, что «литературная подкладка» была противна ему, он каждый день работал за отцовским письменным столом, подпитываясь «энергией заблуждения».

Однако Толстой не ограничивался писательством. Он успешно совмещал сонм профессий и должностей — помещика, учителя, офицера, лесовода, издателя... Короче, «ходил на голове». В хаосе добра и зла невозможно четко отделить одно от другого. Жизнь творилась ежесекундно. «Кустарно» он убеждал всех в том, что истинны только парадоксы. «Прямые выводы разума ошибочны, нелепые выводы опыта — безошибочны».

Нигде так ярко не проявляется характер человека, как в повседневной жизни. Толстой бывал и домоседом, и страстным пилигримом, и любившим уединение литератором, и публичным экстравертом. Яснополянское бытие помогло понять, что невозможно жить только

философскими экзальтациями. Чтобы быть практическим человеком, лучше жить в усадьбе, уберегающей от ненужных городских соблазнов. В городе прожигается пропасть денег, люди делают долги, а в усадьбе все обстоит иначе.

Толстой постоянно путешествовал в пространстве быстроменяющейся жизни, запечатлевая ее в своих текстах — в 180 тысячах рукописных листов. Его вхождение в литературу было не совсем типичным. Бросив университет, он оказался в роли титулованного недоросля, постоянно метавшегося между Ясной Поляной, Москвой и Петербургом. Формально он отставал от своих сверстников, сумевших быстро сделать карьеру. Он же в то время прожигал «пропасть денег», но не забывал при этом о самом главном — о разработке концепции поведения.

Ежедневно, с упорством, достойным восхищения, Толстой опровергал прозвище — «самого пустяшного малого». Он проживал «очень серьезную жизнь», упорядочивая и умопостигая ее и преодолевая хаотическую, иррациональную игру случая. Все дни проводил он в окружении кипы книг, нахмуренно изучал их и быстро делал пометки на полях. Творческие штудии вошли в плоть и кровь, став постоянной потребностью и привычкой. Вечерами делился своими литературными планами, впадал в отчаяние, думая, что ничего не получится. Вдохновение заменял чтением, осознавая, что в литературе — все уже было. Две реальности благополучно уживались в нем. Писать — значило для него «думать за столом», а потом удивлялся, стыдился «такой глупости», называя ее «переливанием из пустого в порожнее». На самом деле эта «глупость» была воплощением того, о чем когда-то так мечталось. Теперь же, когда мечта осуществилась, Толстой уверился в том, что литературная жизнь — только одна из возможностей реализации его внутренних черт и что подлинный характер на самом деле раскрывается в совокупности реализованных и нереализованных возможностей.

Он отличался чистоплотностью, способностью к бесконечным тренировкам, терпеливостью, большой

бережливостью, неразборчивостью в еде, абсолютной непривередливостью.

Повседневная жизнь Ясной Поляны имела свои особенности. Например, диеты. Толстому предписывалось «кушать три раза в день, не употребляя при этом гороха, чечевицы, цветной капусты». Разreshалось «пить молоко с кофе не менее четырех стаканов в день», а также «вино, которое можно было заменять портером». Врачи-диетологи рекомендовали писателю употреблять овощи — морковь, репу, сельдерей, брюссельскую капусту, печеный картофель, квашеную капусту, салат, предварительно ошпаренный кипятком; фрукты — печеные протертые яблоки, апельсины («только сосать»); желе, кремы и «дутые» пироги. Разreshалось есть всевозможные каши, а также яйца, сбитые со спаржей.

Толстой постоянно нес ответственность за свою харизму, что отразилось на его внешности, манере поведения, уровне расходов. Годами вырабатывался особый стиль жизни — чрезвычайно персонифицированный гениальной личностью. Он мог удариться, например, в мистицизм, читая Библию, Талмуд, Евангелие чуть ли не на всех языках мира, исписывая при этом целую кипу бумаги. В итоге набрался целый «сундук», заполненный мистической моралью и разнообразными «кривотолкованиями». Но считал, что это и есть самое главное его дело.

Лев Николаевич чувствовал себя «плохим поваром», когда случайно оказывался на богатом рынке. Мечтал об изысканном обеде, приготовленном из купленных на рынке продуктов, но «портил» этот воображаемый обед, пережарив, например, рябчиков. Однако от раскладывания провизии ему было «ужасно весело» — сразу же возникали в голове планы новых сочинений.

Толстой мог часами работать за верстаком, чтобы смастерить достойную обувь для Афанасия Фета: «всучивать щетинки, тачать, выколачивать задник, прибивать подошву, набирать каблук».

Казалось, в Ясной Поляне жизнь протекала, как в других имениях: хозяйственные заботы, чистота и порядок в доме, обеденные ритуалы, развлечения. Но не совсем так. Особые токи связывали обыденность с гениальными озарениями, невольно преобразовывая хаотич-

ность усадебной жизни. Получалось будничное пространство с культом гостя, интенсивной перепиской со всем миром, имущественными раздѣлами, «лирствованием» в родной усадьбе, анковским пирогом, ставшим метафорой буржуазной жизни... В этом-то и заключалась необычность яснополянской повседневности, ее неповторимый аромат.

Льва Николаевича упрекали в том, что его «поступок» дальше, чем «влюбился» и «женился», не шел. Но разве не поступок — сорокавосемилетняя супружеская жизнь, не допускавшая измен, невзирая на неоднократно лопавшиеся струны любви?! Если бы он дожил до золотой свадьбы, ему пришлось бы поменять кольцо, которое к этому времени потускнело и истончилось. Был ли он создан для семейного счастья или только для творчества в одиночестве? Судя по всему, в яснополянском пространстве было место и для того, и для другого.

Тщеславие — естественная черта писательской братии, но Толстой имел на это право больше других. Ему было приятно сознавать, что он — писатель-аристократ. Аристократизм ощущался во всем, несмотря на простецкую одежду — и в холщовой блузе он оставался русским барином голубых кровей. Он не любил амикшонства, бесцеремонности, фамильярности. Со всеми был на «вы», только к двоим обращался на «ты» — драматургу Островскому и актеру Сулержицкому.

Яснополянская повседневность постоянно подвергалась толстовским абберациям, из-за чего становилась «изменчивой». Ведь он «всякую минуту был другим» и при этом оставался *semper idem* (всегда тем же. — Н. Н.). Он бывал то «хорошим, то дурным», но всегда осознавал, что «поэт сам горит и жжет других». Изю дня в день писатель рылся в книгах, письмах, бумагах, все приводил в порядок, потом пил чай с ромом, наслаждался тартинками и прочими бесхитростными домашними радостями, особенно высшим, божьим даром — музыкой.

Сколь изменчивым оказался Толстой в повседневности! Всей своей жизнью он опровергал прозвище «самого пустяшного малого», «троглодита», и в итоге полу-

чил звание совсем иного рода — великого писателя земли Русской и пророка нового человечества.

Гениально уловив мгновенность бытия в многоцентричном мире, он открыл новые символы, одарил нас своими интуитивными открытиями. Толстой привык сопротивляться абсурдам повседневности, противостоять «арзамасским ужасам» для того, чтобы найти свое достойное место в человеческом универсуме. В поисках абсолюта и в решении сакраментальных вопросов «что есть жизнь?» и «что есть вечность?» его не раз выручала литература. С прожитым веком уходили надежды на некое чудо — возможность всеобщей любви. И многие вопросы оставались без ответа, а за непроницаемый занавес он не любил заглядывать.

Повседневность провоцировала Толстого на поиски собственного «я», именно благодаря этому его творческий инстинкт одерживал победы. Всю жизнь он раздвигал границы бытия для того, чтобы максимально самореализоваться в литературной деятельности, которая вся — плод необщительности. Он отдал ей свои «звездные часы», еще раз напомнив очевидное, что любовью может сделать свою «историю», но только великий сможет ее описать.

Яснополянский мудрец оставил нам не только свои великие книги, но и свой секрет: как существовать в водовороте дней? Он одарил нас своим главным творением — достойно прожитой жизнью, протекавшей в постоянной борьбе со всем тем, что мешало ей стать совершенством. Толстой никогда не был скучным, утомительным, педантичным, театральным. Он был и остается чародеем повседневности.

Глава 1

Сиятельный дед

«У меня воспоминания, одни как Монблан, а другие — как муравейные кучи», — признался как-то Толстой. Память о предках была сравнима только с вершиной Монблана, где легче дышится. Восемьдесят два года Лев Толстой писал книгу жизни, в которой одно из главных мест было отведено его замечательным предкам, ставшим важным связующим звеном между прошлым и настоящим. Самой изысканной толстовской собственностью было прошлое Ясной Поляны, сотворенное его дедом по материнской линии — «гордым и даровитым» князем Н. С. Волконским. Родная усадьба являлась для писателя драгоценным мемориалом, где все было пропитано духом деда, матери, отца.

Гениальное уникально всем, в том числе и утробной памятью, врожденными идеями, позволяющими осознать себя как произведение предшествующей жизни предков. Толстой не раз говорил, что он сам себе интересен чрезвычайно с того момента, когда начал «быть», то есть задолго до своего рождения. Его харизматическая личность вобрала в себя лучшие черты предков: Волконских, Толстых, Ртищевых, Горчаковых, Чаадаевых, Неплюевых, Трубецких, Голицыных, Головиных, Одоевских, Мещерских, Разумовских, Ушаковых. Родословная, достойная гордости, сулила и долгий, почти «мафусаилов век», и блестящий успех. Уникальный ге-

нофонд, подкрепленный еще и родственными узами с величайшими умами России — Пушкиным, Чаадаевым, Одоевским, Тютчевым, — яркое подтверждение очевидного факта: русское дворянство — не просто родня, но и великая литературная семья.

У Толстого, как сам он однажды признался, был «культ предков». А у них — культ мундира. Он почитал все, что было связано с ними, — семейные портреты, семейные предания, дедовские книги, мебель, «пахнувшие семейными воспоминаниями». Прошлое чем более удалялось от него, тем становилось дороже. Он верил в неразрывную связь поколений, убеждая семейное окружение в том, что «люди думают так, как отцы их думали, а отцы — как деды, а деды — как прадеды». Тем не менее в старости он видел, как на его глазах «разрушалась старина», дворянская культура, как исчезала патриархальность. В небытие уходило старое барство, на месте которого произрастало новое. Толстой, страстный архаист, делал, кажется, все для того, чтобы в Ясной Поляне продолжали жить «запахи и звуки» дедовского времени. Здесь, в этом живом, домашнем музее, сохранялись усадебный уклад, культура предков, их мемориальный фантом.

Каждый из нас, считал Лев Толстой, представляет собой итог бесчисленных сложений. Всю свою жизнь великий человек стремился продолжить дело князя Волконского — неординарной личности, боевого генерала от инфантерии, чрезвычайного посла в Берлине, образованнейшего человека, эстета, тонкого ценителя искусств, любителя усадебной жизни, — особой независимой формы приватного бытия. Сиятельный князь явился реформатором старой усадьбы, создателем ее новой истории. Его жизнь окутана тайнами и загадками, которые стремился разгадать его замечательный внук. Тень ушедшей жизни вызывала «рой воспоминаний». Ампириный образ усадьбы, сотворенный дедом, производил на великого внука сильное эмоциональное впечатление. Лев Толстой любил все, что было связано с дедом, его временем, его делами. Любил настолько сильно, что, за небольшими исключениями, полностью «процитировал» его образ в «Войне и мире». Он никог-

да не видел деда, потому что родился спустя семь лет после его смерти, но всегда находился под обаянием семейных преданий о нем, желал физически ему подражать. «Было время, — вспоминал он, — когда я старался стучать ногами, чтобы быть похожим на деда». Правда, он боролся со своими желаниями подражать деду. Так, в своей записной книжке молодой Толстой записал: «Воспоминания детства, желание подражать деду, любостяжание, порывы сладострастия». В «Дьяволе» Толстой говорил о своем герое словно о себе: «Самые обычные консерваторы — это молодые люди. Так было с Евгением. Поселившись теперь в деревне, его мечта и идеал были в том, чтобы воскресить ту форму жизни, которая была не при его отце, а при деде». Ясная Поляна — своеобразное «эхо» сиятельного предка, отражение его чувственного опыта в облике усадьбы.

Дед писателя был во всех отношениях примечательной личностью. Правда, примечательность эта за ореолом его гениального внука как-то затухала, стерлась в людской памяти. А между тем князь Н. С. Волконский должен нас интересовать не только потому, что он дед Л. Н. Толстого и что его внук наследовал некоторые черты его характера, но и потому, что он один из типических представителей своей эпохи и своей среды, прототип князя Николая Андреевича Болконского в «Войне и мире», владелец Ясной Поляны, где он распланировал усадьбу, посадил парк и возвел существующие и поныне постройки.

Князю Н. С. Волконскому было чем гордиться, вспоминая прожитые годы. Ведь он венчал собой мощную ветвь одного из древнейших княжеских родов России. Предки его вели род от одного из Рюриковичей, князя Михаила Черниговского, канонизированного православной церковью. Доказательством тому была висевшая в яснополянском доме красивая генеалогическая таблица Волконских, похожая на большую реку с многочисленными притоками. В деде, как в одном из лучших представителей рода Волконских, «можно заметить некоторые общие черты — независимость, сознание долга и чувство чести». Высокую цену заплатил за эти черты дед писателя. История отставки и опа-

лы Волконского при воцарении Павла I проста и нелепа, какой могла быть только при Павле. Началось с того, что князя перевели командовать Азовским мушкетерским полком. А через полгода, в июне 1797 года, уязвив гордого, боевого генерала инспекторским смотром полка, его под смехотворным предлогом «исключили» из службы «без абшида». Это была отставка, да отставка к тому же без пенсии! Однако вскоре, 25 декабря 1798 года, Волконский «всемилодивейшим» повелением был возвращен на службу в чине генерал-лейтенанта, а через два дня назначен военным губернатором в Архангельск. Еще через полгода был возведен в чин генерал-аншефа от инфантерии (пехотного генерала), с возложением на него обязанностей командира корпуса, стоявшего на случай предполагавшейся тогда высадки в Белом море французов. Французы, впрочем, как и ожидал Волконский, не высадились, и корпус был расформирован. Оставшись не у дел, князь решил навсегда покончить с военной службой. «23 ноября 1799 года генерал от инфантерии кн. Волконский 4-й по прошению» был «уволен от службы с абшидом».

Конечно, вначале была неудовлетворенность новым своим положением, отсутствием привычных целей, но не в характере князя было отчаиваться. Неудовлетворенность должна была обернуться новой деятельностью. Совсем не старый, сорока шести лет, Николай Сергеевич был в расцвете сил. Тогдашнее его состояние достаточно точно представил Лев Толстой в набросках к роману «Война и мир»: «Екатерининский генерал-аншеф, теперешний генерал-лейтенант, князь Волконской, отец князя Андрея, в 1805 году был еще свежий мужчина (ему было 56 лет), готовый на всякую деятельность».

Деятельный, активный, он был полон планов. Два важных, серьезных дела, две страсти, на которые направил он всю свою энергию, вскоре захватили Николая Сергеевича. Двумя основными заботами на все время его новой, яснополянской жизни стали дочь и хозяйство.

С годами в Ясной Поляне сформировалась особая культурно-историческая среда, сложился удивитель-

ный мир, который вряд ли существовал в какой-либо другой тогдашней провинциальной усадьбе, мир, который рефлексивно, своими традициями потом долго еще будет проявляться во всем жизненном укладе, обычаях, привычках, нравственных устоях толстовской семьи. Черты его тонко подметил толстовед Борис Эйхенбаум, описывая особую патриархальность быта семьи Волконских-Толстых: «Это была не та механическая, бессознательная патриархальность “старосветских помещиков”, которая передается из рода в род и свидетельствует только об отсталости, провинциальности, а совсем другая — явившаяся результатом разочарования и “фрондерства”, построенная на принципах восстановления утраченного “достоинства” и потому скрывающая в себе не столько консервативные, сколько реставрационные тенденции. Это была патриархальность с надрывом — сознательно и заново организованная (даже без достаточных на то реальных возможностей и средств), утонченная, преувеличенная и несколько стилизованная, соединяющая в себе элементы старорусского барства с французской чувствительностью и галантностью».

Поражаешься подчас, как удивительно всё взаимосвязано, как незримо до поры до времени путями, прихотливо, затейливо плетущими вязь человеческих судеб, в потоке поколений возникает вдруг личность — сгусток, результат внешне не всегда согласованных усилий многих предков. Недаром Толстой как-то сказал: «Я начал быть, но не совсем начал. Если бы до меня не было людей, разве я был бы такой же? Я — произведение предшествующих людей, то, что составляет мое я, было прежде меня». Ведь сколь важным оказалось то, что дед писателя навсегда покончил с военной карьерой, что разочаровался в нормах и законах жизни *Grand monde* — большого света, что, наконец, он, как и князь Болконский, уехав «в свое родовое имение», «начал строиться вроде феодальных баронов с башнями и замками, с садами и парками, прудами и фонтанами!».

Это извечный и в то же время безнадежный вопрос «что было бы, если бы?..», но многое могло бы быть иным, окажись иной судьба деда Льва Толстого, и, главное, не

посвятить он последнюю треть своей жизни усадьбе, любимому своему детищу. Возвратившись в Ясную Поляну, он с головой погрузился в нахлынувшие на него заботы. Усадьба досталась ему не новая. Приобрели ее Волконские в 1763 году, когда Николай был десятилетним мальчиком. Отец, генерал-майор Сергей Федорович Волконский, обстроиться не успел: сначала участие в Семилетней войне, чудесное спасение от неприятельской пули, благодаря нагрудной иконе, заказанной любящей супругой, услышавшей во сне голос свыше, позднее — хлопотная деятельность в качестве Крапивинского уездного предводителя дворянства, воспитание четырех сыновей, да и старость, наконец, — на всё это и ушли оставшиеся двадцать лет жизни. До перестройки усадьбы дело так и не дошло, и все заботы вместе с имением достались младшему из сыновей. То, что овдовевший к тому времени Волконский увидел по приезду в Ясную осенью 1799 года, окончательно убедило его в необходимости вплотную заняться хозяйственными делами, благо он уже успел вылечить от подагры. За время, пока отец и сын преуспевали на ратном поприще, ветшали и дряхлели постройки, оплывали усадебные дороги, дичали яблони в садах, зарастал парк, мелели пруды. Впрочем, была тому и другая причина, пожалуй, более серьезная, — само время, ведь к началу XIX века яснополянская усадьба существовала уже более века. Необходимо было обновить усадебные дома, при этом гораздо удобнее было построить их заново на более выгодном, самом эффектном месте яснополянского рельефа — ведь теперь не было ограничений по рубке засечного леса и можно было расширять усадебное пространство в любом направлении. Новую усадьбу князь строил с размахом, с желанием не отстать от моды и традиций, царивших в то время. Ведь он намеревался жить здесь почти безвыездно. Богатый опыт государственной службы, европейские привычки, перемешанные с обычным укладом деревенской жизни, помогли ему создать *genius loci* — фамильную усадьбу, ставшую «целительной санаторией» для его внука. Частной жизни князь придавал первостепенное значение. Ведь государственная служба, потом отставка превратились в почетное прошлое.

Усадебная жизнь началась с курьеза. Прибывший в Ясную Поляну землемер стал уговаривать князя совершить взаимовыгодную, как ему казалось, сделку. Он предложил расширить яснополянские владения на 100 десятин, «прирезав» огромный кусок казенного леса. В качестве взятки землемер попросил у Волконского тройку лошадей. Как и следовало ожидать, это «коммерческое» предложение князь отверг, не в его правилах было заниматься подобного рода махинациями. Он готовил себя к жизни достойной, сменив ради этого придворную жизнь на усадебную, историю на биографию, службу на свободу, карьеру на творчество. Усадьба стала для него способом обретения духовной свободы и формой самовыражения. Именно здесь, вдали от столичных хитросплетений князь нашел себя, реализовав свою творческую энергию в архитектурно-ландшафтном ансамбле — важном финале его жизни. Здесь он принял ее как наслаждение, как красоту. Отлучение от большого света было добровольным выбором князя. В памяти промелькнули, когда-то казавшиеся ему такими значительными, события. Он вспомнил свои дерзкие поступки, ставшие впоследствии легендами для его внука.

В Ясной Поляне правили мифы, особенно те, что были связаны с личностью князя. Они передавались из уст в уста, возбуждали воображение, в частности, те, которые касались его несостоявшейся женитьбы на Варваре Энгельгардт. Молодой и очень красивый Н. С. Волконский, согласно семейным хроникам, привлек к себе внимание светлейшего князя Г. А. Потемкина-Таврического, известного ловеласа, фаворитками которого были даже его родные племянницы. На сей раз он собирался устроить судьбу «рыжекудрой» Варвары, также являвшейся его любовницей. Жребий пал на Волконского, который находился в стесненном материальном положении и мог бы поправить его солидным приданым своей невесты. Варенька была молода (на четыре года младше Н. С. Волконского), хороша собой, прагматична, активна и независима. Князь был настолько оскорблен этим предложением, что вскипел, крайне нелестно отозвался о фаворитке Потемкина и наотрез отказался жениться

на ней. Карьера князя Волконского не состоялась. «Рыжекудрая» Варвара вышла замуж за его друга С. Ф. Голицына и счастливо прожила с ним, родив десять сыновей. Она преподнесла мужу не только впечатляющее приданое, но и бесконечные дядюшкины гранты, с помощью которых он приобрел в Москве несколько домов на Никитском бульваре. Ее супруг не стеснялся обращаться к благодетелю с различными просьбами: то попросит «пошарить по планам», чтобы побольше приобрести земли, то напомним о своей болезни, из-за которой он «сделал обещание не есть мяса по постам», и поэтому просит подыскать ему местечко для рыбной ловли.

В том же году двадцатилетний князь женился на некрасивой тридцатилетней княжне Екатерине Дмитриевне Трубецкой. Брак был по расчету, а потому и не стал любовным событием. В 39 лет у жены Волконского родилась дочь Мария. Маше не исполнилось и двух лет, как умерла ее мать. «Странные сближения» располагают к размышлениям. Модель женитьбы князя один к одному повторится в супружестве его дочери: тот же расчет в браке, такая же ранняя смерть и младенец Лев, которому не исполнилось и двух лет, когда он потерял свою мать. И еще: вполне банальная история несостоявшейся женитьбы деда впоследствии обросла героическими деталями в сознании его внука, который с нескрываемым восторгом любил вспоминать дерзкий и гордый отказ князя жениться на развратной барышне, повлекший за собой опалу, а впоследствии и забвение.

Но все это осталось в прошлом. Дед писателя предпочитал жить настоящим. В то время Россия была охвачена страстью к строительству и модой на Руссо и Вольтера. Наступал золотой век усадебной жизни. Дух Вольтера витал повсюду, каждый начал «возделывать свой сад». Россия с ее бесконечными просторами превратилась в «милую» страну усадеб. На этих просторах складывалась великая усадебная культура, ярко проявившая себя в архитектуре и ландшафте, где столичный апломб легко породнился с сельской вольницей.

Волконский, верный и последовательный «вольтерьянец», шел в ногу со временем. На 20 лет Ясная Поляна превращается в строительную площадку. Своей стра-

тью и энтузиазмом он преобразовывал облик усадьбы, придавал ей благородные черты ампира, так пленившие впоследствии внука. Князь искусно вписал свой ансамбль в сложный рельеф, удачно используя элементы прежней планировки: въездную усадебную аллею «Прешпект», Большой пруд, регулярный парк «Клины». Господский дом строился основательно. Его великий внук в другое время и в другой реальности столь же тщательно будет воссоздавать дедовский ансамбль в романном пространстве «Войны и мира», с любовью воскрешая повседневную жизнь князя.

Именно в ампире князь Волконский нашел то, что искал — простоту, порядок и красоту. Он являл собой тот уникальный тип людей, в котором сопрягались порядочность и тонкий эстетический вкус. В нем всё — от одежды до душевного стиля — было *a la classic*. Свое прошлое, состоявшее из фрондерства и вольтерьянства, он блестяще реализовал в ансамбле, парке, сохранивших его фантазию и ностальгию. Созданная им усадьба стала итогом его жизни. Из военного человека князь вскоре превратился в творца, ведь усадебное искусство тем и прелестно, что сами обитатели становились безымянными живописцами и зодчими. Дух творчества в Ясной Поляне ассоциировался с дедом писателя.

Усадебная жизнь князя сопровождалась «восторженным уважением» и «похвалами его уму и заботе» о крестьянах и дворе. Эта забота о яснополянцах перешла от деда к внуку. Дед писателя был в меру строгим, избегал жестокостей. «Я думаю, — вспоминал Толстой, — что они были. Но восторженное уважение к его важности и разумности было так велико в дворовых и крестьянах его времени, которых я часто расспрашивал про него, что хотя я и слышал осуждения моего отца, я слышал только похвалы уму, хозяйственности и заботе о крестьянах и в особенности огромной дворе моего деда. Он построил прекрасные помещения для дворовых и заботился о том, чтобы они были всегда не только сыты, но и хорошо одеты и веселились бы. По праздникам он устраивал для них увеселения, качели, хороводы. Еще более он заботился, как всякий умный помещик, о благосостоянии крестьян, и они благоденствовали, тем

более что высокое положение деда, внушая уважение становым, исправникам и заседателю, избавляло их от притеснения начальства». Приведенный фрагмент свидетельствует о несказанном чувстве гордости потомка за своего сиятельного предка, о желании подражать мудрому хозяйствованию деда на своей земле, его разумному стилю жизни в общении с дворовыми и крестьянами. Будничные пристрастия князя Волконского сводились к разведению любимых цветов и оранжерейных растений. Вкусы его были не совсем обычны. Так, боевой генерал «терпеть не мог охоты», но зато обожал музыку, которая оказалась врожденной страстью для его внука. Он держал для себя и дочери «хороший небольшой оркестр», который исполнял сочинения Гайдна в регулярном парке «Клины». Вокруг огромного вяза размещались скамейки с пюпитрами для оркестрантов.

«Князь вовсе не был злодеем, никого не засекал, не закладывал жены в стены, не ел за четверых, не имел сералей, не был озабочен поркой людей, охотой и распутством, а, напротив, всего этого терпеть не мог, и был умный, образованный и вполне порядочный человек». Вот такая безупречная характеристика была дана князю Волконскому его внуком. Однако идеальный образ деда был несколько скомпрометирован его сожительством с горничной Александрой, от которой он имел детей, отсылаемых в воспитательный дом.

Но это не помешало восторженному отношению Толстого к своему предку, наделенному необычайно сильным характером, что особенно ярко проявилось в эпизоде с приездом Александра I, пожелавшего навестить князя в Ясной Поляне. По дороге император заснул и находился уже далеко от Ясной Поляны, забыв про обещание навестить Волконского. Князь запряг лошадей, догнал венценосца и доставил его в Ясную Поляну.

Каждый помещный владелец умел, как известно, «на десятине снять экстракт Вселенной всей». Князь Волконский свой «экстракт Вселенной» создал на территории много больше десятины. Его строительная концепция была продумана детально и со знанием дела. Свою усадьбу по всему периметру он окружил канавой, шутливо названной «ах-ах». На самом выигрышном месте

он построил ансамбль, состоявший из трехэтажного господского дома и двух одинаковых флигелей. «Как все, что строил дед, было изящно и не пошло, и твердо, прочно, капитально», — писал Толстой. С двух сторон усадьбу окаймляли березовые аллеи. Близину домов подчеркивали зеленые лужайки, чуждую картину завершал «аглицкий» сад. Не забыл князь и про хозяйственные постройки, и ковровую фабрику. Строительство осуществлялось им размеренно и поэтапно. Ансамбль получился «прочным и изящным», и привлекал к себе внимание путешественников, заинтригованных яснополянским «проспектом», «столбами у ворот». Людская, по мнению Толстого, была, как и многие архитектурные творения Волконского, построена с большим художественным вкусом и «делалась несомненно итальянцем». Прямой «Прешпект» вполне соответствовал облику деда писателя, с его высоко поднятой головой, темными глазами и густыми широкими бровями.

Усадебную красоту князь не мог представить без главного поэтического образа — воды, дарующей ощущение радости. Он расширил Большой пруд, устроил новый каскад из прудов, тем самым выделив их в контексте яснополянского ландшафта. Особенно прелестными были пруды в полнолуние, когда в них отражалась таинственная луна. Как известно, «луна и вода» завораживали Толстого, отрывая от земли и наполняя силой воображения и любви. Своими озарениями он также был обязан тонкому эстетическому вкусу своего деда.

Князь Волконский оказался удивительно талантливым и тонким ценителем «зеленого», садово-паркового искусства. Нижний парк, возникший по его инициативе в 1810-е годы на месте голых оврагов, яркое доказательство этому. Если каноны ампирной архитектуры порой сдерживали фантазию князя, то ландшафтное пространство предоставляло творцу широкие возможности для реализации замыслов. В его обустройстве помогла поэма Делиля «Сады», воспринятая дедом писателя как руководство к действию.

Именно парк воплотил в себе усадебную идеологию «сельских радостей». Камерный, небольшого размера,

всего лишь в три десятины, Нижний парк с серебристыми тополями, белыми березами, стройными елями, каскадом искусственных прудов, очаровательными березовыми мостиками, шиповниковыми клумбами, извилистыми дорожками, таинственными пейзажными уголками, вышкой-беседкой, одиноко стоящей, подобно стражу в самой глубине парка, и прочими «садовыми безумствами», оказался на редкость живописным, уютным, привлекательным. Здесь всё взывало не к разуму, а к сердцу.

В Ясной Поляне при Волконском появились чудесные оранжерейные сооружения, неприменный атрибут барской жизни. Гостям всегда демонстрировали экзотические фрукты, выращенные в собственных теплицах: дыни, арбузы, персики. Не было, кажется, только ананасов. Но ими, как известно, не каждый мог похвастаться даже в южных краях. Для юного Толстого оранжерейное пространство стало любимым уголком усадьбы. Сюда он прибегал слушать звуки ночи. В этом таинственном и поэтичном месте, когда он оставался «один с луной», рождались грезы, создавался роман «Война и мир».

Старый князь Волконский всё делал неторопливо, обдуманно и аккуратно. Он ежедневно вставал в пять утра и до «вкушения чая», то есть до семи часов утра, успевал прогуляться по саду, заглянуть в оранжереи, понаблюдать за строительством своего «городка», посмотреть эскизные проекты и чертежи, иногда сделать замечания молодому, благодетельствованному им архитектору. Но обычно указания он давал через управляющего.

Имение князя было небольшим, но он его искусно «подправил» большими деньгами своей жены. Проезжавшие по Посольской дороге мимо его усадьбы, в том числе и сам государь, восторженно спрашивали: «Чье это славное имение?» Иногда выезжал сюда, к Большаку на своей излюбленной паре лошадей и сам князь, чтобы любоваться видом, открывавшимся отсюда, на свою строящуюся усадьбу. Нам неизвестно, пользовался ли дед писателя трактатами Витрувия, Палладио, Виньолы, Серлио, Бонделя, растиражированными проектами Па-

рижской академии. Как бы то ни было, все получилось талантливо и капитально. Гармонию нарушала непропорциональных размеров конюшня, оказавшаяся слишком длинной и закрывающая собой усадьбную панораму. Ее вскоре сломали по распоряжению князя. Теперь в полном объеме был виден фасад дома, и князь мог с гордостью взирать на свое творение, восклицая: «Городок!»

Князь слыл большим «охотником строиться и, начиная от птичника и конюшен с полами до спальной дочери, все было сделано им прочно, богато, красиво и, главное, отчетливо». Он «не мог перенести вида отбитой штукатурки и, еще хуже, неровного пола, кривой стены. Один раз он приказал перештукатурить целый флигель, когда, прикинув угольником, он убедился, что угол был не математически прямой... Всё, — от стен дома толщиной в два аршина, до ножек стульев, — было чисто и отчетливо, прихотливо». Во всем, к чему прикасался князь, ощущалась «поэзия порядка», столь созвучная идеологии «регулярного государства».

На строительство ансамбля ушло около 20 лет. Чтобы повторить успех деда в ином, виртуальном пространстве — в повседневной жизни хозяина Лысых Гор на страницах «Войны и мира», — Толстой должен был досконально изучить всю строительную эпопею в Ясной Поляне. От глубинных знаний истории жизни своего предка до гениальных прозрений — путь толстовского созидания.

Только однажды Волконский был вынужден прервать строительный процесс в усадьбе. В сентябре 1812 года он отправился в тамбовскую деревню княгини Голицыной, где из-за приближения наполеоновских войск начались крестьянские волнения. Это событие будет воспроизведено Толстым в эпизоде бунта в Богучарове. С Сергеем Федоровичем Голицыным и его женой Варварой, как мы уже знаем, Волконского связывало многое. В жизни князя вообще слишком много фатального. Его несостоявшаяся женитьба на Варваре Энгельгардт была спровоцирована «плохой минутой», эмоциями, а не разумом. После того как она вышла замуж за его друга, Волконский сделал предложение

княжне Трубецкой, которую никогда не любил, как верно подметила его дочь. Промыслительным было и продолжение этой истории, правда уже с другими героями. Горячо любимая дочь князя Мария была помолвлена с одним из сыновей Голицыных. Однако стать его женой ей было не суждено из-за смерти жениха, в которого она была влюблена. Но ее отец, как истинный вольтерьянец, был убежден, что «все к лучшему в этом лучшем из миров».

Ясная Поляна стала для деда писателя мини-государством, где все им было любимо: и люди, и поля, и леса, и строения. Он творил все здесь для своей единственной дочери, чтобы ей жилось комфортно. Места хватило и для яблоневого сада, «аптекарского» огорода и, конечно, для цветов. В усадьбе князь намеревался жить не только летом, но и зимой. Поэтому господский дом и флигели для гостей были приспособлены к разным сезонам. Каменный дом сложно протопить дровами. Князь легко преодолел эту головоломку, совместив представительскую функцию парадного первого этажа из белого камня с жилыми комнатами деревянных антресолей. Главный дом был выстроен в анфиладной традиции, характерной для зрелого классицизма. В таком пространстве можно было танцевать англезу, мазурку, котильон, как это происходило на страницах знаменитого романа.

«Мужская» часть дома, с кабинетом, казино, библиотекой, и «женская» — с девичьей, гостиной, спальней, не были забыты автором «Войны и мира», который не расставался со своими воспоминаниями, связанными с огромным 32-комнатным домом, прозванным им «сувениром».

В свою вселенную дед писателя включил и расположенную в трех верстах от Ясной Поляны небольшую деревушку с пятью крестьянскими домами, красивым садом, прудом, наполненным рыбой, тенистым лесом, с вьющейся по долине речкой Воронкой и ключом с вкусной водой. В общем, место оказалось райским, «прелестным уголком», и князь выстроил здесь для себя «летний» домик, с большими окнами и большой дверью, и обставил его незатейливой мебелью — деревян-

ный диванчик и огромный стол в два квадратных аршина. Этот «райский уголок» дед назвал Грумантом в память своего воеводства в Архангельске, вблизи которого находился Шпицберген с группой островов, в том числе и Грумантом. Для крестьянского уха название оказалось необычным, в нем чудилось что-то «угрюмое».

А для юного Толстого это место стало воплощенным раем, «великим наслаждением», несказанным счастьем. Здесь он «ловил рыбу», «бегал на гору и под гору», ездил на желтом дедушкином кабриолете, запряженном роскошными гнедыми, ел сочный творог, пил сливки из крынки, которые были густыми, как сметана. «И все, казалось, радовались этому: и собаки, и куры, и петухи, и лошади, и телята, и рыбы в пруду, и птицы в лесу». Грумант так и остался навсегда для Толстого «любовью к любви».

У деда писателя была замечательная библиотека. Он прекрасно знал французскую литературу, интересовался музыкой, театром, историей, естественными науками, был активным вольтерьянцем, возможно, масоном — не пожелал выстроить церковь в своей усадебной вселенной.

В Ясной Поляне долго ощущался дух князя. Его высокомерием, чувством превосходства были заражены и дворня, и деревня, гордившиеся тем, что они подданные «строного, но милостивого» князя Волконского, который не допускал их до нищенства.

Толстой провел классическое писательское расследование по изучению образа жизни своего предка. Его интересовали все подробности и мелочи дедовского бытия. На время Толстой сам стал соучастником грандиозного строительного яснополянского процесса, предпринятого дедом с таким размахом. Он благополучно перенесся в самое начало века, вошел в нутро души деда и на миг стал им. Только так можно было осмыслить жизнь Волконского. Знания и вымысел завязались в один узел.

Ампирное пространство Ясной Поляны, талантливо организованное «умным и даровитым» дедом писателя, напоминало его внуку о том, как влияет антураж быта

1816^{го}
Год
Месяц
Января 1^{го} дня
Хлебная книга
приходная и расхо-
дная

на судьбу, благополучие последующих поколений. Вблизи покосившегося забора вряд ли возможна умиротворенная, достойная и счастливая жизнь. Этому искусству наслаждения жизнью научил Н. С. Волконский своего внука, который не позволял строить глухих заборов вокруг усадьбы, а занимался реставрацией построек, напоминавших ему о матери, и в память о своих предках сажал деревья.

Глава 2

Мария + Николай

Н. С. Волконский успел «набросать» в Ясной Поляне свой эскиз мироздания, в котором главное место заняла эффектная ампирная каменная постройка, где разместилась суконная фабрика. В любой усадьбе соседствуют красота и польза. В имении князя все было свое: ткани, вышивки, кружева, ковры. Разумеется, и портные, и башмачники, и маляры, и столяры, и кузнецы были тоже свои. В импозантной постройке с мезонином сальные девушки ткали, пряли, шили, вышивали. В людских помещениях даровитые крепостные живописцы создавали портреты предков Толстого, которые по сию пору украшают дом писателя. Здесь же трудились мебельщики, резчики, ставшие анонимными творцами яснополянских интерьеров и одарившие своей магической красотой всех, кто с ней соприкоснулся. Яснополянские крестьяне от природы были наделены особым чувством красоты. В усадьбе успешно работали каретники, кондитеры и другой полезный люд, умело совмещавший в себе несколько ролей — утром музыканта, а вечером повара. Забота о дворовых людях, о крестьянах оказалась настолько приоритетной для деда писателя, что он забыл о себе и о своей дочери, так и не успев достроить главный дом.

Со смертью Н. С. Волконского завершился, пожалуй, первый этап реконструкции Ясной Поляны. Началась иная, не менее фееричная по своему содержанию жизнь в усадьбе без своего прежнего хозяина. Бразды правления имением оказались в руках его дочери, кото-

рая была талантливой и в этом качестве. Сказалась, прежде всего, выучка отца, проявившаяся, в частности, в любви к порядку. Ведь небрежение, игнорирование порядка стали характерной чертой русской жизни, но, к счастью, не приемлемой для обитателей яснополянского дома. Князь научил свою любимую дочь очень многому, прежде всего любви ко всему живому. В Ясной Поляне было принято холить, беречь природу. Сохранилась «Опись саду» матери писателя — образец правильного хозяйствования в своем имении. В этой описи она самым добросовестным образом отметила каждую яблоню, произрастающую в 16 клиньях усадебного сада, перечислила все сорта. Так когда-то ее учил отец. В этом также сказались и его боязнь того, что Мария будет похожа на «глупых барынь».

Любовь к земле, к деревьям, садам и паркам являлась характерной чертой русских помещиков. Даже у самых ленивых из них во время сезонных работ появлялась страсть к садам и огородам. Для матери писателя самые простые травы и полевые цветы служили «приятнейшим дневником». Она испытывала наслаждение, соприкасаясь с растительным миром, фиксируя в своей тетради «Сто первых растений. Ясная Поляна в июле»: маки, турецкие гвоздики, левкой, ноготки, дельфиниумы, произрастающие на клумбах и рабатках. Для нее, тонко понимавшей эмблематику усадебного мира, было важно наслаждаться не только ароматом, но и «прочитанным» смыслом каждого цветка.

Мария Николаевна Волконская была очень «чутка к художеству», имела в зародыше то, что гениальным образом проявилось в ее сыне. Она сочиняла оды, элегии, аллегории, буколики, писала дружеские послания, повести и волшебные сказки, вела дневник путешествий. К тому же отличалась высокой музыкальной культурой, «хорошо играла на фортепиано». В общем, самым талантливым образом совмещала в себе интеллектуальную и практическую деятельность, преодолевая тоску одиночества.

Тогда ей было 32 года, она была «нехороша собой», но имелись и несомненные преимущества: немалое приданое в виде двух домов в Москве на Воздвиженке,

нескольких деревень и крупная сумма денег. Горе, вызванное потерей жениха, Николая Голицына, со временем утихло. Мария пыталась подменить любовь «страстной» дружбой со своей компаньонкой Луизой Гениссен, она даже подарила ее сестре в качестве приданого 75 тысяч рублей. Однако это не смогло стать для нее подлинной сатисфакцией. Свой поединок с судьбой она предпочла выиграть с помощью еще одного Николая — своего троюродного дяди. Имя «Николай» оказалось для нее роковым. Появившийся на горизонте «живой подвижный сангвиник» Николай Ильич Толстой был на четыре года моложе своей невесты.

Он родился в 1795 году, был одногодком пушкинского Онегина и, как многие герои поры поэта, был человеком 1812 года, без детства. Их объединяли стиль жизни, эстетика байронических разочарований, фаталистический привкус смерти, хотя Николай Толстой вопреки «грусти в глазах» был улыбочивым и радостным человеком, аристократом и «по рождению, и по привычкам, и по положению». Живость сангвиника органично сочеталась в нем с грустью — непременно атрибутом байронического поведения, продиктованным модой тогдашней молодежи на сплин и печаль. М. Н. Волконская, в стихах адресованных будущему мужу, писала: «Но о тебе, дружок, слышно, что ты не любишь модный свет...»

Николай Ильич был ярким представителем коренного русского барства, домашнего, поэтичного. Он был прекрасно образован и, несмотря на беспорядочность домашнего обучения, безупречно владел французским и немецким языками, недурно пел и рисовал, грациозно танцевал мазурку и вальсировал, любил читать, переписывал понравившиеся стихи (в том числе Пушкина) в свой поэтический альбом.

Его запомнили всегда учтивым, ласковым, безоблачно веселым, беззлобно насмешливым, остроумным, напоминавшим чем-то отдаленно Пушкина, только без южной, пламенной страстности; своими аристократическими манерами, выхоленными белыми руками и особенно своими «всегда грустными глазами»... Он во-

площад в себе лучшие черты старорусского барства с неперменным «культм мундира». С 17 лет он был на военной службе, а в 24 года ушел в отставку «по болезни» в чине подполковника Павлоградского гусарского полка. Он считал войну ужасной — видел места от Смоленска до Красного, «верст на десять засеянные телами».

До своей женитьбы отец Толстого в полной мере успел познать горечь разочарования от «военного ремесла». За его плечами остались и «битва народов» под Лейпцигом, и плен в местечке Сент-Оби под Парижем. Разумеется, его амбиции не смогла удовлетворить гражданская служба: вскоре после отставки он занял должность смотрителя Московского военно-сиротского дома, которую принял, чтобы не оказаться в долгой тюрьме из-за колоссальных, в полмиллиона рублей, долгов, доставшихся ему от бонвивана-отца, до нитки промотавшего внушительное состояние. Отец стал для Николая в некотором роде антипримером, и сын сделал все возможное, чтобы ни в чем на него не походить.

Не удавшаяся в карьерном отношении жизнь Ильи Андреевича Толстого убедила его сына в необходимости существования в безвестности с милой женой в окружении детей, мал мала меньше. Он, кажется, ни в чем не повторил образа жизни своего отца: ни в пристрастии к карьерным играм, ни в любви к светской жизни, ни в желании возить белье для стирки в Голландию, ни в отправке подвод за живыми стерлядями в Астрахань, ни в отсылке гонцов на юг Франции за фиалками. В противовес своему отцу Николай оказался расчетливым, прагматичным и отрицающим «бестолковую мотоватость» и «глупую роскошь».

Долг отца Николай не принял, отказавшись от наследства. Самым приемлемым вариантом для него была женитьба на богатой наследнице — княжне М. Н. Волконской. Этот эндогамный брак стал возможен благодаря энергичной поддержке родни, озабоченной одиночеством уже немолодой богатой родственницы. Во многом вымышленная первая любовь М. Н. Волконской сублимировалась в любовь реальную. 9 июля 1822 года в церкви подмосковного села Ясенева, рядом с имением

родственников невесты Трубецких, состоялось венчание Марии Волконской и Николая Толстого.

Любой брак предполагает наличие некой триады — любви, рассудка, судьбы. К расчету и судьбе в браке Толстых вскоре прибавилась любовь. Родители писателя прожили счастливо, брак по расчету стал любовным союзом, не раз воспетым М. Н. Толстой в ее стихах, посвященных «нежной связи душ».

Совместная жизнь родителей писателя потекла подобно «тихому ручейку». Радость любви объединила «двух счастливых смертных». Они мечтали о том, чтобы их имена стали символом взаимной любви и супружеского счастья. Однако их жизнь омрачили несколько неблагоприятных родов у Марии Николаевны. Но семья получилась большой все равно — пятеро детей. Четвертого сына, Льва, родители любовно называли «mon petit Benjamin» (мой маленький Бенджамин).

Счастливая супружеская жизнь Марии и Николая Толстых оказалась, увы, недолгой, всего девять лет, но «украшенной любовью всех ко всем». Кажется, «сладость замужества» оказалась для матери писателя не мечтой, а прекрасной реальностью.

Жизнь родителей отличалась особой патриархальностью и уединенностью. Манерой поведения отец писателя был во многом схож с князем Волконским. Как и его тесть, он старался обходиться собственными средствами. Время пролетало быстро благодаря постоянным хозяйственным заботам и охоте. Немало сил уходило и на «распутывание» дел своего отца. Повседневная жизнь родителей писателя не мыслилась без музыкальных вечеров, в которых активное участие принимали не только Мария и Николай, обладавший прекрасным голосом, но и его сестры, Алина и Полина, игравшие на арфе. В Ясной Поляне процветало «альбомное искусство». Сохранились рисунки с интерпретацией библейских сюжетов, выполненные отцом писателя.

Ни один день не проходил в Ясной Поляне без обучения малышей по особым методикам, талантливо перенятым у Варвары Энгельгардт во время пребывания в ее Зубриловке. Мать писателя регулярно заполняла

«Журнал поведения» своего старшего четырехлетнего сына Коко, что, по ее убеждению, должно было избавить ребенка от излишних шалостей, лени, капризов, «митрофанства». Она рассказывала сыну сказки с того момента, как только он стал ходить. Воспитывала в нем сердечность, развивала силу воли, мужество характера. Ей не нравилось, например, когда Коко, прочитав о подстреленной птичке, плакал. В этом она усматривала излишнюю, совсем не нужную чувствительность, которая впоследствии может оказать плохую услугу. Мария Николаевна боролась и с его трусоватостью: Коко испугался жука. Почерк князя Волконского угадывался в ее воспитательной практике. Она развивала в сыне интеллект, приучая читать не ради тщеславия и похвалы. Пройдут годы, и великий Иван Тургенев скажет о своем друге Николае Толстом, что ему для писательства не хватило тщеславия, которое в избытке было у его младшего брата. Возможно, счастливым для Льва оказалось то обстоятельство, что Мария Николаевна не успела обучить его по своим методикам. В Николае же мать воспитывала дух патриотизма, храбрость, а в качестве поощрения ему позволялось надеть саблю. За непослушание, когда расшалившийся ребенок смешивал бабушкины пасьянсы или выливал суп из ложки, она могла поставить его в угол или закричать на него. Практиковалось также и оценивать успехи Николая с помощью специальных билетиков.

В то время как Мария Николаевна проставляла детям оценки за поведение, ее муж занимался строительством главного усадебного дома. Известно, что отстроенный тестем первый этаж был очень респектабельным. Комнаты в доме были «громадно-высокие» с дверями высотой в три с половиной аршина, с итальянскими окнами, расписными потолками, дубовыми столами и шкафами. Стены дома были толщиной в два аршина. Николай Ильич внес свои коррективы в архитектурную концепцию тестя. Он надстроил на фундаментальном каменном цокольном этаже, появившемся еще при Волконском, два деревянных, оштукатуренных только изнутри этажа, выполненных весьма экономично, без прежнего размаха. На строительство ушло 2 тысячи рублей. Отец

писателя экономил на всем: на убранстве комнат, на мебели. И все же дом строился не по принципу «как придется». Николай Толстой, не одержимый манией строительства и не имевший специальных знаний, обратился к услугам архитектора. «В доме не было никакой роскоши. Полы были некрашенные; обстановка — самая простая: самодельные, под красное дерево, с кожаными подушками деревянные стулья; в классной комнате жесткие деревянные табуреты без спинок работы своих столяров; на столах за обедом грубоватые скатерти работы своих ткачей; за столом железные с деревянными ручками ножи и вилки. Более дорогие предметы обстановки были только те, которые достались от дедов, как зеркала в резных золоченых рамах, вольтеровские кресла, столы красного дерева. Дети носили простые башмаки работы своих сапожников. Стол был вкусный и сытный, но лишенный всякой изысканности и представлялся главным образом из продуктов собственного хозяйства. Однако обед проходил в торжественной обстановке. Перед обедом вся семья собиралась в гостиной. Ровно в два часа появлялся одетый в синий фрак дворецкий Фока Демидыч и с гордостью и торжеством громким, протяжным голосом объявлял: “Кушанье поставлено”. Все поднимались со своих мест».

У этого дома существует литературный аналог, представленный в толстовских шедеврах. В черновых вариантах романа «Война и мир» есть прелюбопытная сцена знакомства маленькой княгини с имением старика Болконского Лысые Горы, прообразом которого стала Ясная Поляна. Оказавшись в усадьбе, она совершила путешествие по дому своего свекра: осмотрела всю анфиладу «высочайших, оригинально расположенных комнат, с зимним садом и комнатой чучел птиц и зверей», вошла в столовую, подобную бальному залу, огромную, светлую, прекрасно убранную, с расписным потолком, дубовыми столами, шкафами, семейными портретами в массивных золоченых рамах с гербом. Убранство кабинета с дверью «в два роста княгини», то есть «в три с половиной аршина», было простым. Другие комнаты, обставленные дорогими и прочными вещами, блистали чистотой чехлов. Интерьер дома был «тяжелым и от-

четливым». Маленькая княгиня заглянула еще в официантскую, приемную кабинета, откуда слышалась игра на клавикордах. «Да это — дворец», — невольно подумала она, осмотрев дом князя. Потом гостя прошлась по галерее, где вечерами прогуливалась ее золовка. Здесь все ей показалось таинственным.

Сходство реального дома с литературным не вызывает сомнения.

После смерти матери Толстого ее место заняли бабушка, при жизни не жаловавшая невестку, и тетки — сестры отца. К счастью для маленьких сирот, любовная атмосфера не угасла в дружной и большой семье благодаря бабушке Пелагее Николаевне, тетюшкам Александре Ильиничне, Пелагее Ильиничне и дальней родственнице Татьяне Александровне Ергольской, научившей будущего писателя «духовному наслаждению любви». Граф со всеми был ласков и внимателен, особенно с детьми, которые запомнили на всю жизнь его авантюрный образ — с трубкой в руке и сидящим на диване.

Что же представляла собой Ясная Поляна во времена родителей Толстого? В имении было земли «пахотной 618 десятин 1068 квадратных сажень, сенокосу — 100 десятин 865 сажень, неудобной — 25 десятин 486 сажень, под поселением, огородами, огуменниками и конопляниками — 15 десятин 1362 сажени, лесу строевого дубового — 25 десятин 436 сажень, лесу дровяного — 10 десятин 824 сажени, мелкого кустарника — 15 десятин 1486 сажень, господского строения трехэтажный дом, нижний этаж каменный, а верхние два деревянные, крыты железом, два флигеля двухэтажных, крыты железом, флигель каменный, крыт железом, ледник каменный, крыт тесом, две каменные людские избы, крыты тесом, каменная кузня и близ ее каменная людская изба, крыта тесом, три людские избы деревянные, крыты соломою, две оранжереи деревянные и промежуточные двухэтажная галерея, крыты тесом, три плодовые сада на 6 десятинах, в одном два грунтовых сарая с разными плодовитыми деревьями, английский сад на 3 десятинах, в нем 4 пруда с довольно большим количеством разной рыбы, каменная теплица, крыта тесом, и при ней огород на 2-х десятинах, конюшня из сырцового кир-

пича и при ней каретный сарай, крыты соломой, конный двор с теплыми для скота отделками, омшаниками и денниками и в нем три людских избы деревянные, крыты соломой, птичий двор огорожен забором, в нем две избы, крыты соломой, баня деревянная, крыта соломой, два амбара двухэтажные и промежду их сарай, деревянные, крыты соломой, каменная рига с сараем из сырцового кирпича, крыта соломой, сарай, забранный частоколом, крыт соломой для уборки сена, сарай рубленный из разного леса, крыт соломой, для приборки экипажей, печь для выжирки кирпича, крыта тесом, и близь ее сарай для уборки кирпича, крыт соломой, для проезжающих выстроены четыре постоянных двора, в них восемь изб, четыре амбара деревянные, огорожены забором, крыты соломой; речка Воронка, на которой выстроены мукомольная мельница о двух поставах, рубленные из разного леса, крыты соломой». Это подробное описание яснополянской усадьбы было составлено 12 февраля 1830 года для Московского опекунского совета с целью «получения надбавочных денег на заложенное имение» и представлено матерью писателя в Тульскую гражданскую палату.

Подробная опись Ясной Поляны позволяет представить ее как некий царский двор в миниатюре — с господскими домами, ковровой фабрикой, каретным сараем, оранжереями, садами, разбитыми в регулярном и пейзажном стиле. Но этот образ должен быть дополнен и другими живыми подробностями: лакеями, официантами, поварами, музыкантами, дворовыми, особым стилем усадебной жизни, литературными версиями, поэтическими инвенциями, мифологией, позволяющими выйти за границы реальности. Благодаря своим уникальным владельцам, ярко презентировавшим три поры усадебного развития, Ясная Поляна стала местом духовной самореализации личности, особым типом жизни, исповедания, образа мыслей ее обитателей, проникнутых классицистским миропониманием. Дед и отец писателя создали здесь свою философию сельского существования, понимаемую как культ семьи, как состояние счастливой безмятежности и покоя.

Ясная Поляна... Ампи́рный ансамбль в розовых тонах, темные аллеи, зеркала прудов, варка варенья с соблазнительной пенкой, крепостной оркестр, злые мухи, кричащие петухи, мычащие коровы, блеющие овцы, старые лакеи, сенные девушки, слепой сказочник, безымянные живописцы, псарня борзых, карлики, бой фамильных часов, мягкие диваны со сфинксами, бронзовые подсвечники, ширмы, портреты в золоченых рамах, экраны для свечей, кожаные фолианты — все это флер яснополянского образа жизни. Этот образ жизни был во многом типичен и одновременно поражал своей необычностью, здесь не было весьма распространенного барского самодурства, сопровождаемого «засеканием» крестьян, поркой девок на конюшне. Повседневная жизнь предков была понятной Толстому, не казалась чуждой ему. Старое благополучно уживалось с новым на протяжении 150 лет. В Ясной Поляне не только помнили, но и гордились теми, кто жил до них, их поступками и делами, стараясь подражать им. Здесь не было прихотливой пышности, характерной для знатных вельмож, как, впрочем, и грязно-убогой и скудной жизни среднего дворянина.

Какова же тогда «цена» яснополянского быта, его «вседневности»? Представление о бюджете семьи Толстых можно составить на основе приходно-расходной книги за 1835 год, которой ведала Т. А. Ергольская. Годовая сумма затрат составляла 5673 рубля. В среднем месячные расходы равнялись 473 рублям. Разумеется, месячные траты были не одинаковы. Так, из-за празднования декабрьских именин отца Толстого и рождественских праздников сумма увеличивалась до 648 рублей. Предметы домашнего обихода, такие, как галантерея, мануфактура, вина, табак, лекарства и т. д., составляли основную статью расходов. На покупку продовольственных товаров ежемесячно тратилось от 100 до 125 рублей. Незначительность суммы объясняется тем, что при наличии натурального хозяйства не было необходимости в больших закупках. Приобретались, как правило, продукты питания: мука, мясо, рыба, крупа, соль, сахар, масло (исключительно на Масленицу), кофе, уксус, приправы.

Ясная Поляна стала для родителей писателя и домом, и крепостью. Однако и за въездными усадебными башнями надолго не спрячешься. В усадьбе существовала традиция странноприимства, восходящая к мистичности матери Толстого, а также к суеверным бабушке и теткам. Сюда стекались многочисленные странники, нищие. Эта традиция впоследствии была поддержана и самим писателем. Богомольцы, шедшие в Киево-Печерскую лавру, Новый Иерусалим, Троице-Сергиеву лавру, находили пристанище в Ясной Поляне, здесь их кормили, подавали милостыню, беседовали с ними. Любовь к божественному, смешанному с суевериями, являлась характерной чертой матери писателя. В Ясной Поляне бытовало предание, согласно которому если у М. Н. Толстой родится дочь, то крестной станет первая попавшаяся женщина, которая утром повстречается на дороге. Когда у Марии Николаевны Толстой родилась долгожданная дочь Мария, в Тулу тотчас был послан слуга для исполнения обета.

Мария Николаевна умерла, когда Льву было два года. И у писателя остались воспоминания, связанные в основном с отцом. Он знал стиль его жизни, привычки, страсти. Восхищался его красивым обликом, который отец приобретал, надев сюртук и узкие панталоны. Николай Ильич сформировал в Ясной Поляне модель бытия в виде «графства», сообразно своему титулу и мироощущению. Он сознательно стал помещиком не старосветским, а великосветским и все делал для этого. Свою концепцию, заключающуюся в удачной женитьбе и получении приличного приданого в виде имения, он блистательно реализовал, поселившись в Ясной Поляне, что помогло ему обрести независимость, дистанцироваться от чиновничьего мира. Это была весьма гордая, опасная, но почетная позиция. Об этом писал Толстой в своих «Воспоминаниях детства»: «Сколько я могу судить, он не имел склонности к наукам, но был на уровне образованных людей своего времени... По чувству собственного достоинства, не считал для себя возможным служить ни при конце царствования Александра I, ни при Николае. Он не служил нигде и немного фрондировал правительству Николая Павловича. За

мое детство и даже юность наше семейство не имело близких сношений ни с одним чиновником».

Николай Ильич Толстой выработал особый стиль жизни в Ясной Поляне, сформировал прочный быт большой семьи, состоявшей из бабушки, тетушек, пятерых детей, которым с младенчества прививалась страсть к охоте, — ее хозяин усадьбы считал постоянным атрибутом молодечества, присущим истинному мужчине. Для Льва Толстого запах лошадей с детства имел особую прелесть, создавал магию приготовления к отъезду на охоту, сопровождаемую торжественным настроением отца, его разговорами с охотниками.

Николай Ильич с пониманием относился к детским шалостям и не применял телесных наказаний, к которым так часто прибегали в соседнем поместье: «драли за всякие пустяки чуть не каждый день» Ваню Тургенева. Николай Ильич, считавший себя великосветским помещиком, порой проявлял недовольство по отношению к простому люду, демонстрируя тем самым свое превосходство. Имел слабость к прекрасному полу, тайно изменял своей жене и был большим ревнивцем. Когда ему изменила соседка по имени Ю. М. Огарева, он приказал вырубить ее любимую рощу, где она стала встречаться со своим новым кавалером. Если Николай Ильич наказывал своих крестьян, то делал это втайне от жены. Ведь он был для нее эталоном мужа и отца. Его сентиментальные послания к ней были списаны с известных литературных образцов, в которых неизменно присутствовали эпитеты: «Несравненная, обожаемая, неоцененная».

Жизнь большой семьи, возглавляемой Николаем Ильичом, протекала, несмотря на прагматичные установки, на широкую ногу. У отца писателя было три камердинера, свой шталмейстер. У бабушки была личная прислуга, слепой сказочник, купленный для нее когда-то мужем. Также при доме находились старый официант Тихон, вязавший чулки, дворецкие, камердинеры. Детям прививалось, что они будущие владельцы нескольких сотен крепостных душ.

Семья Толстых жила уединенно. Изредка принимали только близких, доверенных и статусных людей. Если

же визитер оказывался не в достаточном «ранге», ему попросту говорили, что хозяина дома нет, что он на охоте. Об этих тонкостях повседневной жизни графа поведала в своих воспоминаниях Ю. М. Огарева, прелестная соседка, проживавшая в Телятинках, расположенных в трех верстах от Ясной Поляны. У близких Николая Ильича противоречивые мнения об этой замужней женщине, матери четверых детей. Одни находили Огареву просвещенной, начитанной, интересной собеседницей. Другие считали ее легкомысленной особой. Огарева полюбила графа с того момента, как он появился в Ясной Поляне. По ее словам, возникшее между ними чувство оказалось взаимным. Брак с Марией Николаевной был во многом обусловлен разумным расчетом. Сердце же жаждало иного. Общение с Жюли Огаревой пересекалось с его семейной размеренной жизнью. О несовместимости в браке Наташи Ростовской и князя Андрея, Николая Ильича и Марии Николаевны писал автор «Войны и мира». Возможно, ему удалось угадать в совместной родительской жизни рассудочность эндогамного брака. Юлия Огарева сумела «накалить» ситуацию, но не «взорвать» ее. После смерти Марии Николаевны отношение Николая Ильича к соседке стало более нежным. Николай Толстой признался в своей горячей, бескорыстной любви к ней, которая воспламеняла и возвышала его душу. Они совершали совместные уединенные прогулки, обменивались впечатлениями о «Новой Элоизе», читали любовные стихи Корнеля, ездили в офицерское собрание на маскарад. Огарева подробно описывает ревность своего кавалера к ней, свою силу влияния на него, вспоминает о его желаниях помочь ей в трудную минуту. Когда она не смогла найти для своего старшего сына московского учителя, граф предложил ему перебраться в Ясную Поляну, чтобы вместе с его собственными детьми тот мог обучаться у немца. Он посвящал Огареву во все свои проблемы, дорожил ее советами, например, по поводу выкупа родового имения Никольское-Вяземское. Отец писателя будто бы высказывал ей свои опасения, что его родные сестры, Полина и Алина, ничего не унаследовавшие от родителей, будут завидовать его покупке.

Николая Ильича Толстого все же вряд ли можно было назвать идеальным мужем, но вот уникальным отцом он был вне всяких сомнений. Мы уже говорили, что он очень любил русскую поэзию и в молодости переписывал понравившиеся ему стихотворения, наполненные грустно-любовным чувством, в свой альбом. Так за три года собралась прекрасная коллекция стихов Державина, Жуковского, Пушкина. Каким счастливым чувствовал себя Николай Ильич, когда слушал декламации своего младшего сына, восклицая: «Каков Лёвка! Как читает! Ну-ка, прочитай еще раз». Ведь сын читал его любимые стихотворения божественного Пушкина «На смерть Наполеона», «Прощай, свободная стихия!». Он был поражен пафосом чтения своего восьмилетнего сына, самым выбором именно этих стихотворений, свидетельствующим об умственной зрелости Льва. Заодно попросил «Лёвку-пузыря» отличиться новой шарадой. Сын же не заставил себя долго ждать и, к радости отца, быстро ее сочинил: «первое — буква, второе — птица, а все вместе взятое означает маленький дом. Получилась б-утка — будка».

Усадебную осенне-зимнюю тоску, являвшуюся неременным компонентом жизни каждого помещика, Николай Ильич преодолевал по-разному: то напишет акварелью сельский пейзаж, то соберет вокруг себя сестер, одна из которых, Туанет, мастерски сыграет на фортепиано, а другая, Алина, на арфе. Сам же он, обладатель прекрасного слуха, исполнял свой любимый романс «Ключ» или любил повальсировать с кем-нибудь из родни. Граф, превосходно знавший французский язык, в подлиннике читал Поля де Кока, Ламартина, Шатобриана, Делиля. В его библиотеке было Полное собрание сочинений Руссо — 21 том, книги по истории, такие, например, как «Записки о галльской войне Цезаря», «История двенадцати Цезарей» Светония, «Римская история» Нибура, тринадцать томов «Истории упадка и падения Римской империи» Гиббона. Многие книги, как, впрочем, и предметы интерьера, Николай Ильич купил в Париже. Но он придерживался принципа разумности: не надо покупать новые книги, пока не прочитаны старые. Похоже, что любовь к чтению была у него

в крови. Так, оказавшись во время своих заграничных походов в одном из польских домов, покинутых хозяевами из-за приближения русских войск, он с жадностью стал читать модные журналы за 1807 год. За полчаса он буквально «проглотил» четыре выпуска, «несмотря на все имеющиеся там глупости».

Николай Ильич зорко следил за всем происходящим в Ясной Поляне. Парадоксально, но факт: в прошлом городской житель, он сумел быстро адаптироваться к иному укладу, среде и ее правилам. Более того, графа полностью устраивал этот упрощенный, неторопливый и более дешевый, по сравнению с городским, образ усадебной жизни. Ему нравилась максимальная приближенность к источнику своего дохода. Жизнь вне сибаритства стала не пустой декларацией, а осмысленным концептом бытия.

Деньги, получаемые от поместий, тратились не на приобретения предметов роскоши, а на развитие хозяйства, на обучение детей. На жалованье учителям уходила большая часть средств, выделяемых на общие расходы. Так, гувернеры-иностранцы, например, Ф. И. Рессель и Сен-Томас получали по 1500 рублей. Оплачивались также и преподавание учителя Закона Божьего, работа двух гувернанток и шести учителей, их жалованье было значительно меньше, чем жалованье коллег. Доход от всех деревень составлял 3 тысячи рублей, которые почти целиком тратились на образование.

В отношениях с крестьянами и дворней Николай Ильич руководствовался исключительно холодным расчетом. В старости писатель вспоминал любопытный эпизод из жизни отца. Однажды Николай Ильич встретил в Туле яснополянского мужика, просящего милостыню. Граф пришел в ужас от увиденной картины. Он накормил, одел, обул мужика, устроил работать на дворе и впредь не допускал, чтобы в его «графстве» подобное могло вновь повториться. И вовсе не в доброте Николая Ильича здесь было дело, а в умном расчете. «Если крестьянин, — рассуждал его литературный двойник Николай Ростов на страницах романа «Война и мир», — гол и голоден, и лошаденка у него одна, так ни на себя, ни на меня не сработает». Такая мудрая политика про-

водилась хозяином Ясной Поляны в контексте абсолютной власти помещика над своими крепостными и гарантировала честные отношения между ним и его подчиненными.

Но, конечно, приоритетом Н. И. Толстого оставалась семья, где неуклонно соблюдались традиции. Каждый день непременно начинался с поцелуев «рука в руку» и завершался этим же обычаем. Всегда отмечались именины, дни рождения. В воскресные дни детей водили причащаться в Никольскую церковь. Взрослые в пост говели, отстаивали всенощную. Граф не был глубоко верующим человеком, шутливо подсмеивался над набожностью сестры Алины, ее восторженным отношением к странникам и богомольцам, но тем не менее обрядность соблюдал, и детям нравилось, как он низко кланялся во время молитв, доставая правой рукой до пола, а они повторяли за ним, чинно стояли и низко кланялись, как он. Атмосферу детства будущий писатель запомнил на всю жизнь, вспоминая в старости, как буфетчик сажал его на поднос и носил по дому, как он доставал из буфета любимое варенье и ел его рукой из банки. За эти и другие проделки Лёву не раз выгоняли из-за стола. При этом уже в пятилетнем возрасте мальчик обучал французскому языку четырехлетнюю Дунечку Темяшеву.

Граф Николай Ильич был создан для семейной жизни, отцовских забот, не требовавших «позолоты». Его умение полностью уйти в повседневные заботы, раствориться в них, достойно восхищения. Удалиться от шума и света, не уставать от повседневности означает только одно — моральную силу Николая Ильича. Спустя годы его гениальный сын будет вести точно такой же образ жизни: «Дух работы и тишины приближается, и я радуюсь. Немножко охоты и хозяйственной работы, и потом жизнь с собой и семьей — только. Я с радостью думаю об этом и потому верю, что я счастлив».

Недостаток развлечений Николай Ильич компенсировал сочинением детских забав, одну из которых с особой любовью вспоминал его младший сын. Николай Ильич достал из шифоньерки золотые монеты и рассыпал их вокруг, а дети собирали их, но никак не

могли отыскать недостающей монеты. Отец подбадривал их, говоря, что если они найдут ее, то смогут себе оставить. Когда монета была найдена, дети долго думали, что же им с ней делать. Подумав, они решили купить родной тетке курильницу. Николай Ильич хотел, чтобы дети как можно раньше познали и мир животных. Для этого он завел кур и цыплят. Охотничьи собаки стали друзьями детей, которые восхищались их грацией и красотой.

Ради детей граф приумножал хозяйство и оставил им после себя много больше, чем получил. У него было «793 мужика и 800 женских полов душ». Он построил каменную церковь в выкупленном Никольском-Вяземском. Служение Отечеству было для него в далеком прошлом. В дне сегодняшнем его интересовали только обязательства перед малолетними сыновьями и дочерью. Чтобы обеспечить их будущее, он решил приобрести на льготных условиях богатое имение с огромным конным заводом, мельницей, с 472 «душами» мужского пола. Сделка, оценивавшаяся в 500 тысяч рублей, стоила графу жизни. Покупка Пирогова у троюродного брата Темяшева казалась поначалу простым делом и оттого выглядела еще более заманчивой, но в реальности обернулась весьма долгой изнурительной тяжбой. Приобретение усадьбы сопровождалось бесконечными скандалами, интригами, инициируемыми сестрой Темяшева — Карякиной, требовавшей судебных разбирательств с целью признания сделки незаконной.

Для Николая Ильича счастье семьи было неразрывно связано с приумножением, а не растратами, с расчетом, а не азартом. Он сумел выкупить родовое горчаковское имение Никольское-Вяземское, вскоре приобрел другое — Пирогово, «золотое дно», но за слишком высокую цену. Заплатил за него своей жизнью.

К этому времени здоровье графа, подорванное военной службой, стрессами, связанными с отцовским разорением, прогрессирующей чахоткой, неумеренной склонностью к крепким напиткам, резко ухудшилось. Участились кровохарканья, и ему пришлось обратиться к московским врачам. Он понимал, что «сама собой» его болезнь не пройдет. Отметим, что обраще-

ние помещика к медикам — случай почти уникальный. Так, например, московский врач Миллер приезжал по вызову Н. И. Толстого в Ясную Поляну лечить его детей. Обычно в усадьбах пользовались народными средствами, надеясь на Бога или на «авось». Все болезни лечили капустным листом, который прикладывали к больному месту, клубникой, помогавшей «укреплять сердце», отварами из тмина или мяты, мазями, приготовленными из «коровьего масла» с добавлением медного купороса. От многих недугов лечились постничеством, доверяли больше профилактике, заключающейся в умении хотя бы раз в месяц напиться. Обращение к доктору стоило больших денег: от 10 до 25 рублей. Но в пользу таких обращений почти никто не верил. «Ассортимент» услуг врача был хорошо известен — кровопускание и лекарства, приготовленные из различных трав.

Николай Ильич был человеком просвещенным, а потому выполнил все предписания доктора: выдержал строгую диету, принимал лекарства, которые на время избавили его от сильных горловых кровотечений. Чувство тревоги за детей не покидало его. Он считал себя «трусливым на болезни», и, кажется, настал тот момент, когда он «заробел». Последней надеждой стала для него 44-летняя Туанет — Татьяна Александровна Ергольская, которой граф сделал предложение стать его женой и матерью для детей. Сохранилась запись Ергольской: «16 августа 1836 г. Сегодня Николай сделал мне странное предложение — выйти за него замуж, заменить мать его детям и никогда не оставлять. В первом предложении я отказала, второе я обещалась исполнять, пока я буду жива».

Напряжение от тяжб с Карякиной, дорога из Москвы в Тулу не прошли даром. Расстояние от Москвы до Тулы в 161 версту Николай Ильич преодолел за день. Один из Волконских этот путь одолел за четверо суток, проезжая по 40 верст в день. Те, кто ехал не спеша, как правило, проезжали 25 верст за три дня, 100 — за неделю. Граф же пускал лошадей рысью, путешествуя в карете, «на долгих», то есть на своих, хорошо откормленных лошадях. Побывав в нескольких присутственных

местах, Николай Ильич отправился к Темяшеву, однако, не дойдя до его дома нескольких шагов, упал, потеряв сознание. Прибывшие вскоре тульские врачи констатировали смерть от инсульта.

Внезапная смерть графа вызвала множество версий с детективным привкусом, с намеками на убийство, в котором родственники подозревали двух слуг, сопровождавших Николая Ильича из Москвы в Тулу. Они были его любимцами, сильными, ловкими, красивыми молодцами. Петруша и Матюша служили у него камердинерами и получали от хозяина подарки и всяческие поощрения. Родные подозревали их в отравлении графа. Поводом для этого послужила пропажа крупной суммы денег и ценных бумаг, с которыми Николай Ильич возвращался в Тулу. В его карманах было найдено две монеты и орех.

26 июня 1837 года, в тот день, когда Николаю Ильичу должно было исполниться 43 года, в одной из московских церквей по нему служили панихиду. А в памяти яснополянцев навсегда осталось такое событие, связанное с графом: «По всем деревням заговорили о смягчении наказаний провинившихся, говорили, что уменьшат тяжесть работ и будут даны, особенно семейным, большие льготы, в связи с появлением на свет четвертого младенца... У крыльца яснополянского дома робко толпились мужики и бабы. Николай Ильич, сиявший от избытка чувств, обратился к крестьянам: “Родился сын. Поздравьте!” Толпа загудела, желая новорожденному Льву долголетия».

Глава 3

Младший сын

Непреходящий восторг испытывал Лев Толстой, словно магнитом притянутый к милой Ясной Поляне. Нам он интересен как хозяин усадьбы, как реформатор, создатель уникального быта, вдохновлявшего его на творческие искания. Лев Толстой — замечательный пример удавшейся жизни, в том числе и благодаря сво-

ему умению жить в согласии с инерцией повседневности, умению не игнорировать ее законов. На чем основано его мудрое сосуществование с окружающим миром? Возможно, на том, что он никогда не подменял жизнь литературой, как, например, Флобер. Даже слово «литератор» Толстой произносил иронически «лит-те-ра-тор», то есть «чернильная душа». Он вовсе не был целиком поглощен морализаторскими сентенциями, призывами терпеть страдания и бедность. Он вполне мог оценить и буржуазные ценности, например, появление удобной и экономичной чугунки, фонографа, электрического карандаша.

Одно время писатель стремился к богатству, покупал земли, яростно торговался с издателями за наивысшие гонорары. За 82-летнюю жизнь ему не раз приходилось «сжигать» то, чему он когда-то поклонялся, и поклоняться тому, что «сжег». Хорошая, добрая жизнь была для него важнее умных книг. А она была довольно разнообразной: прогулки, общение с близкими и поклонниками его творчества, игра на фортепиано, охота, хозяйственные заботы, воспитание потомства, обучение крестьянской детворы, преодоление недугов, непрерывное самообразование. Не раз случавшиеся с писателем душевные кризисы были настолько значимыми, что они не могли не сказаться на его образе жизни. Вездесущая яснополянская повседневность, руководствовавшаяся исключительно философией здравого смысла, вторгалась в божественное пространство гения, отстраняя его от особого статуса избранника. Усадьба более полувека являлась обжитым пространством своего хозяина, моделью сохранения его самости. Ведь гениальность — скорее время, чем достояние.

Толстой един и целостен — в самом мелком и в самом величественном. Его земное, повседневное отражает и божественное. Частные мелочи, усадебные образы, малоприметные фрагменты личной жизни явились основой его гениальных творений, ставших триумфом человеческой мысли. Единство писателя складывалось из множества мельчайшего, постоянство — из бесконечных вибраций душевных состояний, а вечная повседневность являлась результатом строгих ограниче-

ний, непрерывного самосовершенствования. Он был наделен талантом видеть необычное в обыденном, чудесное в тривиальном. Будни умело вплетались в изощренную вязь искусства. Толстой прожил жизнь, текучую, словно вода, где каждый день считался началом его бытия. Не поэтому ли его усадьба превратилась в искусство прожитых мгновений? Для него не существовало дилеммы — город или усадьба. Как и подобало истинному руссоисту, он выбрал деревню, и так и не понял сторонников Вольтера, прославлявших городской образ жизни.

Усадебная форма бытия являлась в его понимании симметрией красоты и пользы.

Первое знакомство восьмилетнего Льва с Первопрестольной оказалось весьма знаменательным, судьбоносным и поучительным. 178 верст преодолели за три дня. С любопытством смотрел Лев на длинные обозы, запряженные тройками. Из Ясной Поляны большая и дружная семья выехала на семи экипажах. Возглавлял это грандиозное шествие возок с широкими отводами, на которых стояли камердинеры. В этом возке ехала Пелагея Николаевна Горчакова, бабушка Толстого. Из-за этих громадных отводов она не могла въехать в ворота серпуховского постоянного двора. Бабушкин «шлейф» был представлен тридцатью дворовыми, в число которых входили и два кучера. Длительное путешествие требовало от взрослых выдумки и изобретательности для преодоления скуки. Николай Ильич придумал поочередно подсаживать малолетних детей в свою карету. Лев запомнил особую миссию, неожиданно выпавшую ему и позволившую испытать чувство гордости. Таким восхитительным событием стал его въезд в Первопрестольную в отцовском экипаже. В Москве его многое приводило в восторг — красивые дома, звон колоколов, сады и парки. Однако городская повседневность оказалась малопонятной ребенку, вызвала у него недоумение. Он был обескуражен безразличием москвичей к его персоне: на него никто не обращал внимания, не снимал шапки, когда он проходил мимо. Он так привык к яснополянскому быту, где являлся главным объектом внимания, центром вселен-

ной. Индифферентность города к его особе была неприятна, а жизнь москвичей, увлеченных исключительно собой, не имела ничего общего с привычной яснополянской реальностью.

С этого момента навсегда определились пристрастия Толстого к прелестям усадебного бытия, выгодно отличавшегося, по его мнению, от иллюзорного городского великолепия. Ясная Поляна стала неперенным атрибутом его больших и малых шедевров. Как известно, его литературный дебют связан с Тифлисом, но объектом воспевания стала Ясная Поляна, его верный и постоянный «соавтор». Вся русская литература вышла из усадебного мира, у врат которого благоухают и яснополяские липы. В общем, Толстой предпочитал здоровый, нравственный, естественный, экологичный образ уединенной деревенской жизни в противовес испорченному, искусственному, нездоровому городскому, воспетому Вольтером в поэме «*Le Mondain*» («Светский человек»). Ясная Поляна, благодаря усадебной философии своего хозяина, благополучно совместила в себе пушкинскую триаду — «прихожую» (Петербург) и «девичью» (Москва) с «кабинетом», изначально ассоциировавшимся с деревенским стилем жизни. Не случайно усадьба считалась божественным пространством, а город — инфернальным.

Писательская профессия требовала от Толстого уединенности. Ясная Поляна стала слепком его биографии, материализованной житейской прозой. А что было бы, если бы Лев Толстой проживал в петербургских «меблирашках»? Наверное, он стал бы Салтыковым-Щедринным. Усадебное пространство позволяло ему жить не только философскими экзальтациями, но и вполне практическими делами. Здесь было невозможно в огромном количестве «прожигать» деньги, влезать в долги.

Свою усадьбу Толстой «прочел», как захватывающий роман, героями которого были предки. Все, что радовало писателя, было создано его дедом и отцом, пропитано «запахом воспоминаний». Как мы знаем, Толстой желал подражать деду. Однако в реальности все получилось несколько иначе. Ему пришлось продать фа-

мильный дом, в котором прошли его детские годы, наполненные счастьем и романтическими надеждами.

Толстой мечтал повторить жизнь семьи один к одному, с той лишь разницей, что роль его матери должна была играть жена, а роль отца он сам. Семейное пространство должно было заполниться еще и детьми, многочисленными тетушками и прислугой. Благо огромный дом позволял реализовывать подобные планы. Мечта о большой семье оказалась вполне реальной. Дом был пропитан звуками, голосами, тайнами, детскими страхами, плясками, когда дети, держась за руки, вертелись и прыгали, а добрый немец, их учитель, солировал, высоко поднимая ноги. Прodelки, невинные шалости вроде кидания подушек друг в друга, когда не хотелось ложиться спать, были возможны, когда дети проживали в комнатах верхнего этажа. После того как они перебрались вниз к Федору Ивановичу Ресселю, их жизнь стала более регламентированной и размеренной.

Детям было грустно покидать «привычное от вечности» — свою кроватку с положком и подушкой, страшно было начинать жизнь взрослую, олицетворяемую халатом и подтяжками. Но, как и прежде, с ними была добрейшая тетенька Татьяна Александровна Ергольская со своими нежными поцелуями, ласками и заботой. Толстому запомнились буфетчики, дворецкие, повара, официанты, создававшие особую атмосферу в доме. Многие из них, как официант Тихон, кучер Николай Филиппович, оркестранты у князя Волконского, были прирожденными актерами. Запомнились Святки с медведем, козой, турками, разбойниками и старик Григорий, который им подыгрывал на скрипке, игра в «пошел рублик», участники которой становились в круг, передавая друг другу монету, а один из игроков должен был ее отыскать.

В «рублик» играли и господа, и дворовые на страницах «Войны и мира». Так, будничны́й яснополянский контекст искусно вплетался в творчество Толстого. Свист перепелов, топот лошадей, аромат сена, людской говор — все это Толстой видел, слышал и чувствовал с детства. Ясная Поляна казалась от этого таинственным,

прекрасным островком, за которым заканчивался божий свет и начиналось нечто необитаемое. Рано почувствовав красоту окружавшего его усадебного мира, он не смог разлучиться с ней всю свою жизнь. «Невинной веселостью» были заполнены комнаты огромного дома. Шаловливыми проделками — кувыркался во время молебна, гримасничал за столом, рисовал чертиков — отличался старший брат писателя Николенька. Но младший, Лев, кажется, не отставал от него. В кругу близких он слыл «ребенком-чудаком»: входил в зал спиной, кланяясь, откидывая при этом голову и шаркая ногами. Был плаксивым, за что получил прозвище «Лёва-рёва». Уроки запомнились ему как «радость и шалость». Близкие отмечали в маленьком Лёве редкую «лучезарность», а сам он — лишь то, что «дурен, умен и добр».

Толстой был наделен тонким вкусом к реальному. Его интерес к усадебной жизни переплетался с чисто писательским. Взаимоотношения реального и метафизического создавали предпосылки для возникновения особого, двойственного мира, наполненного мерцающими образами Ясной Поляны, мастерски преобразованными писательским вымыслом. Юность — это возмездие — так считал и Толстой. Случай с фамильным домом — яркое тому подтверждение.

Фигура писателя со временем обросла легендами. Однако реальным представляется единство гения во множестве своих жизненных ролей. Казалось бы, разве можно сочетать в себе культ предков и решение продать фамильный дом, построенный дедом и отцом? Разве можно соединить почти несовместимое? А как жить в доме, ставшем музеем? Ведь жизнь потомка не может быть блеклым подобием жизни предков, тусклым подражанием им. Толстой понимал свою жизнь как творчество, а творчество как преображенную им реальность. Непредсказуемость частной жизни была подтверждена внезапной продажей большого фамильного дома с дорическим портиком, колоннадой, галереей, наполненного детскими воспоминаниями, начиная с самых ранних — с пеленания. Продажа дома вряд ли объяснима только финансовыми проблемами. Ведь он мог продать лес вместо дома. Продажа дома — своеобразный про-

тест против патерналистских воспоминаний, демонтаж сложившихся родовых иерархий, преодоление эдипова комплекса, подсознательного желания подражать деду. Этим поступком писатель решал свои психологические проблемы, перемещаясь в среду, абсолютно свободную от всего прежнего. Так он сводил счеты с прошлым.

После исчезновения центральной ампирной постройки Ясная Поляна стала вовсе не усадебной. Распалась связь, существовавшая в трехчастной архитектурной композиции. Ясная Поляна была для Толстого семейным Парадизом, идеальной Аркадией, блаженным Элизиумом, наполненным грезами о деде, матери и отце. Своим творчеством он смог навсегда остановить время своих предков, запечатлев его во второй реальности. Искусством междубытия он овладел мастерски.

Сделку по продаже большого яснополянского дома осуществил по просьбе писателя его троюродный брат Валерьян Петрович Толстой осенью 1854 года. За 5 тысяч рублей ассигнациями дом был продан на своз помещику П. М. Горохову в село Долгое, находившееся в 35 верстах от Ясной Поляны. Причем старший брат писателя Николай заметил в этой связи, что «вид Ясной несколько этим не испорчен». Деньги от продажи дома для сохранности писатель положил в Приказ общественного призрения на случай непредвиденных расходов, взяв из них 1500 рублей серебром для издания журнала с целью «поддержания хорошего духа в войске». Родные же Толстого беспокоились о том, чтобы «последние ресурсы Ясного не исчезли, не принесли ни малейшей пользы».

Инвариантные свойства Ясной Поляны как культурного текста способны порождать в свою очередь тексты литературные и вместе с тем подпитываться ими. Безусловно, охватить весь текст усадьбы просто невозможно. Осознавая всю уникальность усадебного текста Ясной Поляны, мы попытаемся осветить только некоторые точки пересечения Н. С. Волконского, сиятельного князя, деда писателя с его гениальным внуком. Такое обращение к опыту князя, хотя и контурно, но

позволит выявить писательскую основу усадебного переживания, вытеснение дедовского яснополянского стиля своим собственным, остроумно вписавшимся в философию времени. Иными словами, *что* сугубо дедовского и, напротив, *не* дедовского прочитывалось в ощущениях Толстого, для которого Ясная Поляна стала театром памяти предков? В этой связи вполне логично задаться следующим вопросом: возможна ли полнокровная «живая жизнь» в музее, наполненном «запахом воспоминаний»? Думается, что существует несколько ответов на этот вопрос. А что представляла, например, Ясная Поляна в начале 1850-х годов со своими ирреальными, почти фантасмагорическими обитателями в реальном, а не литературном отражении? Как ответить на вопрос, подобный квадратуре круга: возможна ли была для Толстого жизнь в усадебном мифе в «постусадебную» эпоху деда и матери? Что есть опыт проживания писателя в Ясной Поляне? Как мыслилась, как развивалась, осваивалась, «музеефицировалась» усадебная жизнь? Ведь во многом Толстому пришлось порвать с традицией деда и отца и привнести новые веяния в родное поместье. Ясная Поляна как текст жизни Толстого понимается нами как особая знаковая система, сублимировавшая материальную реальность в вербальную духовную ценность.

Жак Делиль, автор поэмы «Сады» (экземпляр которой хранится в мемориальной библиотеке Толстого), считал, что усадебный мир «разговаривает», «вещает» и его следует «читать», как книгу. Этот читательский интерес Делиля к садам корреспондировал с барочной идеей, восприятием сада как книги, а книги как сада. Для Льва Толстого Ясная Поляна стала его любимой книгой, которую он читал словно захватывающий роман о предках всю свою жизнь. Этот текст возвышал его душу. Он сумел «услышать» через сады, парки, архитектуру и голос *genius loci* — фамильной усадьбы.

Кажется, с традицией Волконского Толстой поступил вольно. Для него сохранить «культ предков» означало на самом деле модернизировать его. «Прочтение» дедовского архитектурно-ландшафтного ансамбля позволило по-новому взглянуть на усадьбу. Она уже не

казалась ему исключительным местом хранения традиций, а предстала во всей своей причудливой противоречивости. Появилось желание противопоставить семейному гнезду собственную модель, не являвшуюся ни в коей мере его зеркальным отражением или точной копией. Не поэтому ли дедовский архитектурно-ландшафтный шедевр он «редуцировал» до «неусадебной» простоты и наивности, убрав все излишества ампира, начиная с изменения цвета ансамбля зданий и заканчивая демонтажом огромной центральной постройки — дома, в котором родился?

В дневнике Льва Толстого есть любопытная запись: «Воспоминания детства, желание *подражать* деду — заглушает любовь к честному делу». «Подражание» и «любовь», как явствует из этой лапидарной записи, — понятия несопоставимые. И еще одно красноречивое, много объясняющее признание: «Было время, что я старался стучать ногами, когда будто был сердит: все это, чтобы быть похожим на деда». «Стучал ногами», чтобы не только войти в образ деда, но стать им. Однако разница между вдохновением спонтанным, стихийным и тем, которое можно назвать деланым, — огромная. Чтобы «не заглушить» собственное «я» слепым «подражанием» сиятельному предку, он избавлялся от патерналистского комплекса, дух которого по-прежнему витал в пространстве Ясной Поляны. Неумеренные восхваления предка пагубно могли сказаться на самовыражении. И однажды предоставилась возможность избавиться от культа деда.

Два дня и две ночи Толстой играл в штосс. Возникла неминуемая проблема: где взять деньги? Результат банальный: проигрыш родительского дома. Деньги, конечно, можно было бы получить от продажи леса. Казалось бы, как просто. Но Толстой решил продать дом, наполненный преданиями, легендарными воспоминаниями. Он сознательно разлучился с домом, прозванным им когда-то «сувениром».

Большую часть поступков Толстого можно объяснить «духом бегства» из одной реальности в другую, ставшего для него неодолимой потребностью. Эскапистские мотивы заставили отказаться от семейного гнезда с его «эстетичными и капитальными» формами.

После продажи 32-комнатного дома и женитьбы Толстой поселился в правом флигеле, состоявшем из пяти верхних комнат: спальни (угловой комнаты, как было у его матери), детской, комнаты Ергольской, столовой с большим окном, гостиной с балконом, где пили кофе, и нижней «комнаты под сводами», служившей столовой, детской и кабинетом. Во флигеле не нашлось места для отдельного кабинета. Пространство дома было поглощено семьей, певцом которой он в то время был. И дом, «весьма не нарядный и даже не комфортабельный», как вспоминала фрейлина Александра Толстая, выигрывал из-за «живой экспозиции», где «во всех углах двигались милые люди, симпатичные своей простотой и отсутствием жеманности». Пространство писателя сузилось до размеров «литератора потихонечку». Писательство еще не стало тогда для него самого фатальным и несчастьем для семьи; оно не крало тогда его у жены и у детей. Ведь что такое писатель, как не забытые семейные дела плюс гипертрофированное тщеславие, способное предпочесть семейному благополучию миг славы? Со временем писательство будет разъедать семейную жизнь Толстого, оставляя лишь комплекс вины, чувство «тайного трагизма», заверения в аморальности того, чему отдавался без остатка.

Обретение семьи, наслаждение эгоистичным счастьем поменяло пропорции, соотношения двух реальностей. Жена и дети в этот момент поглощали Толстого-писателя, меняли его статус, заставляли думать о земном и суетном. Дом Толстого — смесь реальности и фантазии, как два уголка в зале — «для серьезных бесед» и для молодого веселья, сочетание семейного уюта и аскетичного писательского одиночества, двух реальностей — то пересекающихся, то идущих врозь, то напоминающих нечто вроде параллельных линий.

Но писательство нуждается в тишине и одиночестве больше, чем в семейном шуме. Шедевры Толстого — плоды труда великого одиночки, гипертрофированного индивидуализма, позволявшего быть наедине с вечностью, где жена и дети — посторонние гости. Любое писательство — вертикаль, движение вглубь себя, а семья — горизонталь, с развитием вширь.

Толстой вынужден был сделать к флигелю пристройки, втрое увеличив количество комнат. Ведь долгую усадьбную жизнь, довольно монотонную, можно было одолеть только амбициозным пафосом — «если я останюсь, весь мир погибнет». У этого человека тотального творчества всё приобретало оттенок писательства — жена, дети, дом, одежда. Софья Андреевна стала «женой писателя», сын Лев Львович — автором «Прелюдии Шопена», блуза — «толстовкой».

Толстой словно путешествовал по своему дому. Литература и жизнь здесь смешивались самым причудливым образом. Порой получалось что-то промежуточное — не литература и не жизнь, не сон и не явь, нечто похожее на особое пространство между спальнями супругов, отделенное тамбуром и зафиксированное тремя дверями.

Дом Толстого не равен Толстому, как и карта Земли не равна Земле. Но горизонты нашего представления о великом человеке он приоткрывает несомненно. Ведь дом — это зеркало, в котором отражалась как семейная жизнь Толстого, так и литература. Для этих двух реальностей важна была «работа» света. Толстой, «человек солнца», писал исключительно утром, когда «критик» суров, а солнце ласково и оптимистично. Все его кабинеты размещались непременно в восточной части дома, чтобы можно было наслаждаться зарей. В поисках солнца он «путешествовал» по дому, ведомый психологией своего творчества. От силы солнца зависел пафос его литературного труда, как от силы луны его семейное счастье.

С годами, предметный антураж дома почти не оставлял места для воздуха, и перспективы были нечеткими для самого хозяина, который с трудом помещался «в кадр» комнат, кроме, пожалуй, кабинета.

После того как дом расширился, потеряв симметрию, Толстой обрел кабинет, «себялюбивое убежище для своей собственной личности». Как заметил В. Розанов, в этих «пустых комнатах» «вряд ли стала бы танцевать Анна Каренина». Убранство дома, далекое от великолепия, располагало к простому человеческому счастью, не к метафизической бездомности. С годами

дом заполнился охотничьими принадлежностями, теннисными ракетками, трофеями, портретами родных, игрушками детей.

Интерьер уникален еще и отсутствием икон (если не считать женской половины дома и малого образа, висящего в зале). Вместо иконы, точнее в ее собирательной метароли, выступает репродуцированная «Сикстинская мадонна» Рафаэля.

Этот образ стал для писателя личным мифом, спасающим божеством. С 1862 по 1885 год он украшал интерьер его спальни, оберегая и защищая его любовь от сложностей бытия. Символ Мадонны оказался чрезвычайно многозначным и очень интимным. Магия этого образа заключалась для него в материнстве. Встреча в Дрездене с подлинником ослепила его, заставив забыть обо всем, кроме Мадонны, вобравшей в себя весь мир женской души и давшей ответы на вопросы: «Что есть женская красота?», «Что есть семейное счастье?» Она стала для него не выдумкой, а «самым дорогим образом», который только может быть в жизни и без которого не хочется жить.

Известно культовое отношение Толстого к рано умершей матери. Страдая без материнской ласки-любви, он грезил о новом счастье, подаренном будущей женой с чертами, повторяющими в чем-то его мать. Поиск семейного счастья был связан с образом родителей. Свою идею «ностоса» он осуществил подменой утраченного материнского образа женой, имитирующей его мать.

Толстой увидел Мадонну, когда находился в душевном томлении, сочинял свой миф, свой идеал жизни в виде прелестного семейства, во многом повторяющем родительские черты. Он не помнил облика матери. Не сохранилось ни одного ее портрета. Поэтому он должен был его сотворить. Утрата компенсировалась ликом Мадонны, соединилась с ним. Сначала он познакомился с луврской Мадонной Леонардо да Винчи, но ее загадочная улыбка оставила его равнодушным. Спустя два месяца он увидел Мадонну Рафаэля, сразу «сильно тронувшую» его. Чуть позже драгоценный образ был подарен ему «бесценной Сашей», напоминавшей ему «светлую полосу», пробивавшуюся из-под темной двери

жизни, «лучшей женщиной», которой все остальные доходят только «до колена» и перед которой он мысленно надевал «нравственный фрак» и «белые перчатки». «Ваша Мадонна висит... и радуется», — сообщал он дарителю, «вселенской жене», Александре Андреевне Толстой в медитативно-чувственном порыве.

«Идеал», символ мечты, требовал реализации. Интенсивные поиски избранницы — жены — закончились женитьбой, обретением юной Софьи Берс, «страшно пережившей» его. С этого момента «Мадонна» становится важным композиционным центром яснополянского интерьера с ликом «чистейшей прелести чистейшего образца».

Толстой прославлял, обожествлял женщину-мать, восхищался ею. Его метафизика любви в это время сводилась к бесхитростной в своей простоте формуле — к размножению, к осуществлению бесконечности материи. В этом заключалось исполнение божественной воли. Любовь явилась средством исполнения этой воли.

Семейное счастье в Ясной Поляне под знаком «Сикстинской мадонны», висевшей на сукне в спальне, продолжалось более 15 лет, сопровождаясь рождением и воспитанием детей. Софья Андреевна пыталась найти ответ на вопрос: «Кто же она?» И нашла его в емком слове «женщина», что переводилось ею не иначе, как «удовлетворение», «нянька», «мебель». Тяжкая ноша — быть женой гения. Став матерью тринадцати детей, она приближалась к идеалу своего мужа, считавшего, что брак без детей ущербен, ибо сила семьи — в детях. Любовь к семье дарила силы и озаряла, как и героя его романа Левина, светом жизни. Не без влияния Толстого, Николай Ге создает портрет Софьи Андреевны, воспевая ее не как жену писателя, а как женщину-мать. «Мадонна», словно любящая мать, берегла их семейное счастье, помогала Толстому балансировать между кабинетом и детской. Казалось, чем сильнее приближалась жена к идеалу, тем дальше муж отдалялся от нее.

Однако как же быть тогда с идеалом, с метафорой, заменившей прошлое? Может, бросить его? — вопрошал когда-то счастливый муж. Но ведь «тогда уж и других молитв в душе не останется», — урезонивал он себя. Нет,

не бросил, но и не оставил для молитв. Толстой сделал совсем иное: перенес «Мадонну» из спальни в свой кабинет. «Певец семейного счастья» перевоплощался в проповедника целомудрия в любви, дистанцируясь от мифа, отрекаясь от него. Теперь писатель больше, чем муж, нуждался в этом идеальном образе.

В момент рождения двенадцатого ребенка в отношениях мужа и жены что-то надломилось. Идея общей спальни стала неактуальной, закончила свое существование. Между спальнями Толстого и его жены появилось нечто похожее на пограничное пространство. Образ Мадонны-матери, трансформировался в иной смысл, в иной символ — Музы.

Толстой любил осваивать дедовское пространство, ловко приспособливая его к своим вкусам. Так, движимый желанием освободиться от патерналистских комплексов, он распрощался с фамильным домом, преобразовал один из флигелей трехчастной архитектурной композиции, сделав его главным жилым домом. В несколько раз увеличил яблоневый сад, посаженный его дедом на шести десятинах за гумном и получивший название «Старый». Засадил огромные пустовавшие площади яблонями — за конюшней, за Красной аллеей, за рекой Воронкой, за Нижним парком, доведя масштаб садов до 40 десятин. Пройдут годы, и в старости озабоченный проблемой аренды садов писатель назовет это «глупой идеей», над которой будут смеяться его потомки. Весьма талантливым адептом дедовских традиций он оказался и в лесоводческих проектах. Получив в наследство 185 десятин леса, он увеличил их более чем вдвое — до 440 десятин.

Творческий подход к реорганизации фамильной усадьбы помог компенсировать утраты, подобные продаже дома-«сувенира». Он теперь уже не топал ногами, как в юности, чтобы вызвать дух деда. Он «вызывал» его теперь своими делами. Он преображал Ясную Поляну с помощью писательства — в иной реальности. Таким образом он предоставил усадьбе шанс жить вечно.

Под особым патронажем Толстого находился Нижний парк, ассоциировавшийся с образом матери и вы-

зывавший нежные чувства. Он не помнил ее облика, но чувствовал ее «дух». Материнская субстанция растворилась во всем — в стихах, легендах, в парковых дорожках, в ротонде из серебристых тополей, которые когда-то были высажены матерью из кадочек. Беседка, построенная почти у обрыва, близ Большака, откуда она могла видеть своего мужа, возвращавшегося из деловых поездок, напоминала одинокого стража, уставшего от ожиданий любимого человека.

Любопытно, что уникальная по своим плодам жизнь опиралась на совсем будничные «подмостки»: нужно было вынести мусор из дома, выпустить мышь из мышеловки, запрячь лошадь Крысу в телегу с бочками для воды, подстричь в полнолуние бороду, обработать щеткой ногти, совершить утренние молитвы и т. д. Каждый день был похожим на другой своими прогулками, распорядком, начинавшимся с чашки кофе и заканчивавшимся чаепитием, музицированием, сменяемым игрой в шахматы или в карты. Параллельно в кабинете происходило регулярное «марание» бумаги за письменным столом, из-за чего Лев Николаевич часто называл себя «машиной для писания». Малое и великое переплеталось, образуя тугой узел повседневности. Усадьба активно обустроивалась молодым энергичным хозяином исключительно на свой лад, подвергаясь регулярным «мутациям». При Толстом Ясная Поляна пережила четыре эпохи развития. Она стала невольным очевидцем его страстных увлечений Вольтером и Паскалем, за что писатель получил прозвище «Философ», сменившихся неожиданной набожностью, доходящей до религиозной экзальтации, проявляемой в битье хлыстом по плечам до кровавых рубцов.

Две реальности благополучно уживались в нем. Писать означало «думать за столом». И он с наслаждением предавался «такой глупости». Паутиной быта он был опутан на протяжении всей своей жизни. Мог ли Толстой избежать повседневности? Таким «одним часом полной жизни», когда познается истинная любовь, он был одарен судьбой, встретившись с Софьей Берс.

Глава 4

Чувство оленя

О семейной жизни Толстого, гениального одиночки, кажется, известно если не все, то очень многое. Он женился в 34 года вполне сложившимся человеком. С так называемым женским вопросом писатель был знаком не понаслышке: к моменту женитьбы он накопил впечатляющий сексуальный опыт и проштудировал трактаты Мишле, Милля и многих других специалистов в области постижения тончайшей женской субстанции.

Однако мистерия личности Толстого складывалась не только из семейного счастья, которое, кстати, не бывает статичным, но и из эротики холостяцкой жизни. Его молодечество вряд ли назовешь банальным или сплошной дурной реальностью. Здесь логика жизни совсем иная. И ясно одно: тема бездонной плоти в это время звучала для него в полный голос. Метафизика любви молодого Толстого постоянно разрывалась между его «звериной» похотью, эдиповой победой и эротическим наслаждением от воображаемой женщины, вдохновлявшей на семейное счастье. Свои грезы о семейной жизни он нежно пестовал начиная с 15 лет.

Невозможно точно подсчитать количество побед, одержанных писателем над многочисленными магдалинами и весталками. Судя по дневниковым записям, их было немало. Проблема телесности была для Толстого актуальнее любви. Об «ужасных» двадцати годах, наполненных буйством плоти, чувственным вожделением, он вспоминал впоследствии с великим сожалением.

Свое сексуальное поведение в пору молодости писатель оценивал не с точки зрения своего дурного темперамента, а с точки зрения ужасной привычки к разврату. Он постоянно мучился из-за своей «ужасной похоти», заставлявшей его постоянно «шляться» со «смутной, сладострастной надеждой поймать кого-нибудь в кустах». Здесь сказывалась прежде всего сила родового гендера, а не индивида. Зов рода соединился с «чувством оленя», приведя в блаженное состояние от соприкосновения с бесконечностью материи, вневре-

менной жизнью. Стоит ли говорить о том, что ненасытная гиперсексуальность мешала его творчеству? Но он продолжал наслаждаться бессознательным счастьем, которое, как он полагал, «не ошибалось». Толстой пытался завести себе любовницу, чтобы не отвлекаться на случайный поиск очередного объекта своих вожделений «в кустах». Однако не обзавелся ею и продолжал неистово «служить похоти», занимаясь «грубой распущенностью».

Обращаясь в прошлое Льва Николаевича, не во всем для нас ясное, хочется не столько найти ответы, сколько задать вопросы. Был ли юный Толстой склонен к любовным излияниям или же нет? Как относился к непристойностям? Был ли ревнивцем? Какова эманация его любви? Безусловно, бытие напрямую зависело от плотских влечений, а феноменальная личность Толстого — от любви и ревности, желания и наслаждения, запретов и соблазнов, страстей и сублимаций.

Толстой не скрывал своего «страшного греха», в основе которого была чрезмерная половая похоть. Он подробно и беспристрастно рассказал об этом в своем дневнике, который не захотел уничтожить в старости, чтобы все знали, что он был даже «подл» иначе. В 14 лет в нем проснулось «чувство оленя», означавшее удовлетворение сексуальных желаний. Это напоминало мчащегося самца-оленя по следу самки-подруги для того, чтобы быть с ней. Толстовское выражение «чувство оленя» — весьма красноречивая и точная метафора сексуального поведения. Его первый коитус произошел, когда он был еще подростком, в 14 лет. В эту пору он познал «порок телесного наслаждения» и «ужаснулся» ему. «Все существо мое стремилось к нему, и все существо, казалось, противилось ему». О своем первом сексуальном опыте Толстой поведал уже в зрелом возрасте, будучи автором «Записок сумасшедшего». Как водится, он начал с подражания взрослым: «Мне не было внушено никаких нравственных начал — никаких; а крутом меня большие с уверенностью курили, пили, распутничали (в особенности распутничали), били людей и требовали от них труда. И многое другое я делал, не желая делать, только из подражания большим». Гендерному

воспитанию не придавалось серьезного внимания. Маленькие братья Толстые сами придумывали игры, одной из которых была игра в «муравейное братство». Пятилетнему Лёве-рёве старший брат Николенька открыл тайну — все люди станут счастливыми и будут любить друг друга, превратясь в муравейных братьев. Игра младших Толстых заключалась в том, что дети усаживались под стулья, загораживая их ящиками, завешивая платками и тесно прижимались друг к другу. Лев, как и его братья, испытывал чувство особенного умиления, а потому очень полюбил эту игру с эротическим привкусом. Эта забава была магнетически заряжена любовным чувством, требовавшим разгадки. Она представляла собой некий эротический прием, обходной маневр желаний. Любовь — это пространство иносказаний, прячущихся от прямых смыслов. Здесь желание убегало от телесной реальности. Чтобы усилить желанность, дети нежно прикасались друг к другу под стульями в полной темноте. Это был первый, робкий и поэтический эротический опыт Толстого.

Став юношей, Толстой порой слушал незамысловатые сентенции своей добродушной тетушки Пелагеи Ильиничны, убеждавшей, что лучше всего воспитывает и образует молодого мужчину связь с замужней женщиной, обладающей богатым сексуальным опытом. Тетушка советовала также своему племяннику вступить в близкие отношения с крестьянкой. Но Толстой, кажется, не был склонен к подобным рассуждениям, считая их «преднамеренным умственным развратом и гнусностью». Это «куда хуже, чем совершенное в порыве страсти», считал он.

Писатель привык самостоятельно решать собственные проблемы. Поэтому придумал для себя некие «правила» поведения, напоминавшие своего рода «кодекс чести»: «удаляться от женщин»; «не иметь ни одной женщины» (в Ясной Поляне. — *Н. Н.*), исключая «некоторых случаев, которых не буду искать, но и не буду упускать»; «каждый день моцион: женщин не иметь»; «воздерживаться от вина и женщин» и т.д. Но провозглашенные постулаты оказались невыполнимыми для него: «было гладко на бумаге, но забыли об оврагах, а по ним хо-

дить». Теория никак не подтверждалась практикой, и он, словно олень, уже мчался сквозь чащобу леса, чтобы настичь Ее и быть с Ней.

Инстинкт оказался сильнее ума. Казалось, он непобедим, а потому постоянно развращал душу Толстого. Сексуальность по-прежнему одерживала победу над соблазнительными сантиментами. Сладострастие не поддавалось табу и действовало с точностью до наоборот.

Писатель еле поспевал фиксировать свои «оленьи» проделки, регулярно отмечая, как ему «мешали девки» и как он был вынужден «после ужина ходить по девкам», но «везде неудачно». Толстой «употреблял все средства, чтобы иметь девку». Он пытался блокировать свои сексуальные порывы то «насильственным воздержанием», то врожденной стыдливостью. Помогало редко. Он ловко освобождался от стыда и «решительно действовал на счет Ф.».

Абстиненция сменялась дерзким приступом плотских желаний, и он был вынужден снова «ишляться» в поисках очередного полового удовлетворения, опять попадая в западню, подавая знаки «чему-то розовому, которое в отдалении казалось ему очень хорошим». Он решительно отворял дверь, и Она приходила к нему. Удовлетворение плоти сопровождалось рефлексивным самоедством. Он не мог потом видеть объект своих вожделений. Она была ему противна и гадка, он ненавидел ее, потому что из-за нее изменил своим правилам. Тем временем, когда чувство долга протестовало, похоть и страсть брали верх. Раскаяние стало одолевать его все сильнее и сильнее. Толстой видел в этом некий знак, «шаг вперед», за что благодарил Бога, к которому не раз обращался с просьбой, чтобы он принял его в свое лоно и чтобы простил за совершенные «преступления».

Плотское и мелочное все-таки побеждало, и Толстой покорно поддавался ему, засыпая с мечтами о славе и женщине. Его жизнь была постоянным противоборством телесного с духовным, низшего с высшим. А походная «бивуачная» жизнь внезапно сменялась вполне упорядоченной, возможно, благодаря его молитвам: «Отче, Богородица. Избави меня от тщеславия, нерешительно-

сти, лености, сладострастия, болезней, беспокойства душевного: дай мне, Господи, жить без греха».

Толстой старался быть осторожным в своих сладострастных привычках, из-за которых он однажды заболел в 19 лет и попал в больницу. Так, в непрекращавшихся муках и раскаяниях, он проводил лучшие годы своей жизни.

Лев Николаевич понимал, что был еще слишком «морально слаб» и что «похоть была сильной», заставляя его каждый раз «стучаться в окна» то к одной, то к другой своей пассивности. Он регулярно кого-нибудь «подкарауливал»: то «солдатку», то «кокетливую хозяйку», то «хорошенькую бабу», то «красавицу с белой грудью», то красотку «с веснушками». Так проходили годы, но он по-прежнему «женщину хотел — ужасно». Притом непременно «хорошую». Из-за сексуальных перегрузок и страстных влечений к женщине, образ которой постоянно «тревожил» его, он мучился сильными головными болями. Ничто, казалось, не могло остановить в нем «чувство оленя». Не помогали ни раскаяние, ни признание того, что «он — скотина», «жалкое создание».

Все возвращалось на круги своя: и «девки сбивали» его «с толку», не позволяя «вступить в колею порядочной жизни». Однако он продолжал мечтать о чтении, писании, порядке, воздержании, о пристойной любви, которая смогла бы погасить его «звериные» желания. Грубую сексуальность, казалось, не могли победить никакие удовольствия и желания, творческие радости. Со временем гиперсексуальность гармонизировалась за счет ярких эротических стремлений к воображаемой женщине, к семейному счастью, которыми он все более и более дорожил. Кто же стал для него прообразом любви? Их было с избытком. Они заполняли его сердечную жизнь. «Затаенные, невыраженные порывы» стали все сильнее и сильнее волновать его, и он «страдал от избытка смутных, таинственных чувств», не находя им достойного воплощения. То со «всею прелестью неизвестного юное воображение» представляло ему «сладостный образ женщины», и ему казалось, что «вот оно, невыраженное желание. Но какое-то другое, высшее чувство говорило: не то, и заставляло искать чего-то другого... Какая глу-

пость все то, что я знал, чему верил и что любил», — говорил писатель себе. «Любовь, самоотвержение — вот одно истинное, независимое от случая счастье!»

«Со всех сторон прикладывал эту мысль к жизни и находя ей подтверждение в жизни и в том внутреннем голосе, говорившем, что это — то, я испытывал новое для себя чувство радостного волнения и восторга...» «И кроме этого, — размышлял Толстой, — кто мне мешает самому быть счастливым в любви к женщине, в счастье семейной жизни?» И он моделировал себе будущее: «Я и жена, которую я люблю так, как никто никогда никого не любил на свете, мы всегда живем среди этой спокойной, поэтической деревенской природы, с детьми, может быть, со старухой теткой; у нас есть наша взаимная любовь, любовь к детям, и мы оба знаем, что наше назначение — добро. Мы помогаем друг другу идти к этой цели. Я делаю общие распоряжения, даю общие, справедливые пособия, завожу ферму, сберегательные кассы, мастерские; а она, с своею хорошенькой головкой, в простом белом платье, поднимая его над стройной ножкой, идет по грязи в крестьянскую школу, в лазарет, к несчастному мужику... и везде утешает, помогает... Я крепко обнимаю ее и крепко и нежно целую ее прелестные глаза, стыдливо краснеющие щеки и улыбающиеся румяные губы». Эти мечты о семейном счастье Толстой частично воплотил в своей реальной повседневной жизни, архетипом которой во многом послужил образ родительской семейной идиллии.

Любовь, действительно, тайна великая. Особенно если это касается великого тайновидца плоти, обладавшего искусством видеть то, что скрыто от взора простого смертного. Толстой все время читал любовные знаки и находился в их власти. Для него было, например, очень важно, с какой стороны ему светил месяц — с левой или с правой. Ведь он творил «священную историю» любви, ее личную мифологию, собственную типологию. Любовь идентифицировалась в его сознании с женитьбой. В своих любовных объектах он прежде всего хотел увидеть жену.

Но к женитьбе он поначалу относился слишком трезво и прагматично. В своем дневнике он как-то по-

деловому записал: «Приехал в Москву с тремя целями: 1) играть, 2) жениться, 3) получить место... Второе, благодаря умным советам брата Николеньки, оставил до тех пор, пока принудит к тому или любовь или рассудок, или даже судьба, которой нельзя во всем противодействовать». Как видно, время для его семейного счастья еще не пришло. Он не был тогда к этому готов. Не имел практики возвышенной идеальной любви, к которой стремился. Толстой стоял пока лишь на пороге такой любви, способной заглушить его сексуальные порывы.

Эротика его нового поведения представляла собой некую смесь метасексуального сознания с воображением, идеализацией женского образа, уводящей от телесных привязанностей. Он робко нащупывал в себе способность к подобной любви, освобожденной от плотских стремлений. Первые любовные попытки представлялись ему почти умозрительными, надуманными, лишенными реальных черт возлюбленной.

Толстой только постигал мудрость любви, *ars erotica*, которая преобразовывала его, создавала заново, помогая соединить любовное вдохновение с творчеством. Женские образы конструировали его личность. Его любовь к женщине соткана из минутных мгновений, она не поддается жесткой логике велений. Ведь правила любви вряд ли способны застраховать от душевных травм, неудач или катастроф. Любовь иррациональна, скрыта от разума. Ясно одно: он торопился жить и «чувствовать спешил». В итоге получился донжуанский список, в который вошли реальные или воображаемые его возлюбленные.

Открывала этот список «самая сильная» его детская любовь — Сонечка Колошина, о которой писатель не раз вспоминал даже в старости. За ней следовала Зиночка Молоствовва, словно комета промелькнувшая в бальном вихре мазурок. Чем сильнее он влюблялся в свою модель, тем воздушней, прозрачней она становилась. Его влекло к этому милейшему, остроумнейшему существу, отношения с которым так и остались на стадии «чистого стремления друг к другу». Они прогуливались по Архиерейскому саду в Казани, у каждого на языке «висело взаимное признание». Он боялся испортить

«не свое, а наше счастье». Встреча с Зиной, будущей невестой Тиле, оказалась «лучшим воспоминанием». Ему навсегда запомнилось «это милое время», промелькнувшее словно мгновение. Спустя год Толстой сухо отметил в своем дневнике: «Зинаида выходит замуж за Тиле. Мне досадно, и еще более то, что это мало встревожило меня». Обладание Зиной было скорее мистическим, не предполагавшим каких бы то ни было телесных касаний и продолжений. Влюбленность в нее не поглотила его целиком. Поведенческая стратегия резко обрывалась у «порога» любви.

Интимное пространство Толстого имело размытые границы. Ведь влюбленность постоянно творит новые смыслы из ничего. В это время Толстой находился в пограничном состоянии, в промежутке между эротическим желанием и нереализацией его. Поиск одной-единственной и неповторимой каждый раз завершался утверждением «не она». Тем не менее воображаемая любовь окрыляла, творила свои чудеса, несмотря на все отклонения от смутно сознаваемого им идеала. Толстой признавался в том, что «стал гораздо лучше прежнего», дошел до высочайшей степени умственной экзальтации. Он заглянул «туда», куда прежде никогда не заглядывал, и понял, «что есть любовь, и что жить надо для другого, для того, чтобы быть счастливым вечно». Напряженная интеллектуальная работа помогла ему оценить радость влюбленности, осмыслить значимость личной любви, увлечься идиллией близкого счастья.

Он не переставал мечтать об этом: «В Ясной Поляне дела мои в порядке, у меня нет ни беспокойства, ни неприятностей... Я работаю по утрам... Женат, моя жена тихая, добрая, любящая... у нас дети... Весь дом содержится в том же порядке, какой был при отце, и мы начинаем ту же жизнь, только переменившись ролями... Если бы меня сделали русским императором, если бы мне дали Перу, одним словом, если бы волшебница пришла ко мне со своей палочкой и спросила меня, чего я желаю, я, положив руку на сердце, ответил бы, что желаю, чтобы эти мечты могли стать действительностью».

Он испытывал «чуждое состояние души», «когда... бывал искренно влюблен». В дневниковых записях Толсто-

го встречаются женские имена, зашифрованные инициалами, в частности, не раз мелькает имя Соломаниды, о чувствах к которой он рассказывал своему биографу Бирюкову. Возможно, именно она послужила одним из прообразов Марьяны — объекта любви толстовского героя Оленина. Соломанида «очень нравилась» Толстому в пору его пребывания на Кавказе. По мере движения вверх по лестнице он избавлялся от своих прежних сексуальных стремлений, чтобы испытать более совершенные состояния. Для этого необходимо было многое в себе преодолеть: нелюбовь к самому себе, навязчивые идеи, связанные с желанием «усовершенствовать» партнершу. Пока энергия любви растрачивалась на преобразование себя. Мудрость любви, опирающуюся на интуицию, развитую совесть, на опыт, на чувство красоты и меры, он еще целиком не постиг. Толстого постоянно сопровождали три опасности: быть художником, любить художника и обидеть художника.

Но писатель не терял самого главного — самообладания, продолжая поиск одной-единственной. Любовь к дикарке он променял на любовь к провинциальной барыне, чтобы убедиться в очевидном: невежество и простодушие одной надоедает так же, как и кокетство другой, потому что обе далеки от истинного бытия и наслаждения. Истинным наслаждением могло быть только чудо, олицетворявшее божественный покой, соединявшее с вечностью, но удалявшее от вполне земных обольстительниц. Ведь они были ему необходимы и как модели его героинь.

Оставив военную службу, Толстой стал размышлять о вполне реальной мирской жизни, которая ассоциировалась у него с семьей, и «решился ехать в деревню, поскорей жениться». Понятно, что почти сразу подвернулась претендентка на роль жены. Ею оказалась Валерия Арсеньева, жившая поблизости от Ясной Поляны в своем имении Судаково. Толстой думал о Валерии как о своей возможной жене. Она была моложе его на восемь лет. Толстому же шел 28-й год. Мечты о семейном счастье могли бы стать реальностью. Но рассудок превалировал в их отношениях. Обоим явно не хватало стихийных порывов любви. Друзья же Льва Николаевича

настаивали именно на этой кандидатуре, и под их влиянием ему казалось, что «это лучшее, что он мог сделать».

Целых три месяца Толстой посвятил изучению своей избранницы. В результате его «исследования» получилась любопытная «стенограмма чувств»: «мила, болтала про наряды, фривольна, дурно воспитана, невежественна, ежели не глупа, славная, но решительно не нравится, даже детей не может любить, нравится как женщина, совсем в неглиже, просто глупа и аффектирована, фютильна, неспособна ни к практической, ни к умственной жизни».

Эта «стенограмма» свидетельствует о том, что избранница совсем не соответствовала его идеальному образу жены. Толстой пытался откорректировать свою «модель», приблизить ее к идеалу. Но она только «гневалась» на его «умение читать нотации», которые для Льва Николаевича были «самыми дорогими мыслями и чувствами». Он желал в нее влюбиться, проводил даже «опыты над собой», но любви так и не случилось.

Однако намерений своих Толстой не оставил. Он продолжал верить в семейное счастье, а если не добьется этого, считал он, то погубит все — талант, сердце, сопьется, наконец, сделается картежником и вором. Когда Софья Андреевна, большая ревнивица, прочитала переписку мужа с Валерией и «перенеслась» в тот мир, в Судаково с его фортепиано и сонатами, она с пониманием отнеслась к «доверчивой и не злой» хозяйке имения и вовсе не испытала смятения.

Поскольку Валерии Арсеньевой не удалось покорить сердце Толстого, его любовный список стали пополнять новые имена, среди которых оказалась и Александра Дьякова, сестра его друга. Лев Николаевич встретился с ней в Петербурге, а был знаком с Александрой с юных лет. Он увлекся ею и переживал, что она досталась не ему. Александра вызывала в нем сильные чувства, и Толстой был счастлив, что она догадывается о них. Однако не мог довольствоваться адюльтером, как и его литературный двойник Константин Левин: он «прежде представлял себе семью, а потом уже ту женщину, которая дает ему семью. Его понятия о женитьбе поэтому не

были похожи на понятия большинства его знакомых, для которых женитьба была одним из многих общежитских дел; для него это было главным делом жизни, от которого зависело все ее счастье».

Толстой прошел мимо Дьяковой и вскоре был буквально захвачен ураганом светских увлечений, изрядно пополнивших его любовный список: Екатерина Тютчева, Прасковья Щербакова, Александра Чичерина, Елизавета Менгден и другие. Прошел всего год с тех пор, как он расстался с Валерией Арсеньевой.

С Екатериной Львовой Толстой познакомился в Германии. Она нравилась ему. Он считал бы себя дураком, если бы не женился на ней и если бы она нашла свое счастье с другим. Кажется, он был в «наиудобнейшем настроении» духа для того, чтобы влюбиться в нее, в красивую, умную, честную, милую натуру. Порой ему чудилось, что все так и есть, что он изо всех сил влюбился в нее. Но результат — «никакой!» Затем последовала резкая самокритика в собственный адрес: он назвал себя «уродом», которому чего-то «недоставало».

Вскоре Толстой «глупости наговорил» уже ее младшей сестре Александре. Во время своих визитов он чувствовал, как все «поднималось» в нем. После этого ему хотелось «выть», ведь он так надеялся на женитьбу, а вышло — «ребячество». В итоге дневниковые записи записали новыми женскими именами, среди которых и Екатерина Трубецкая. Но большинство женских образов пролетели, промелькнули, не оставив следа.

Иная история произошла с Екатериной Федоровной Тютчевой, дочерью прославленного поэта. Любовью к Кити Толстой болел несколько месяцев. Она вызывала в нем разноречивые чувства: то «спокойно нравилась» ему, то вызывала досаду из-за холодности, мелочности, аристократичности. Он называл ее сгоряча «дрянью», потому что она «готова любить, если ей Бог прикажет». А Толстой так «страстно желал ее любви». Спустя пять месяцев он записал: «Я страшно постарел, устал жить в это лето. Часто с ужасом случается мне спрашивать себя: что я люблю? — Ничего, положительно ничего. Такое положение бедно. Нет возможности жизненного счастья, но зато легче быть вполне человеком духом,

жителем земли, но чуждым физических потребностей». И еще: «Виделся... с Тютчевой. Я почти был готов без любви спокойно жениться на ней, но она старательно холодно приняла меня». Позже, через полгода Лев Николаевич напишет Александрин Толстой: «К. Тютчева была бы хорошая, ежели бы не скверная пыль и какая-то сухость и неаппетитность в уме и чувстве... Иногда я езжу к ним и примериваю свое 30-летнее спокойствие к тому самому, что тревожило меня прежде, и радуюсь своим успехам».

Александрин Толстая занимала особое место в жизни Льва Николаевича. Она была его дальней родственницей и фрейлиной императрицы. Перед Александрин, как мы уже говорили, он непременно мысленно надевал фрак, уверенный в том, что все женщины дотягиваются только до ее колена. Именно она помогала ему быть иным. И лучшее тому подтверждение — его переписка с ней.

Мир мечтаний и абстракции представляла собой для Толстого некая триада — любовь, рассудок и судьба. Это три «карты», которые были так необходимы ему для женитьбы, но что-то не ладилось, не складывалось. То Толстого сильно раздражала «фривольность» или «гадкий франтовский капот» Валерии Арсеньевой, то «моральные конфетки» Кити Тютчевой, то «вселенность» Александрин Толстой.

Вскоре в толстовском любовном списке появилось новое имя: вернувшись из-за границы, он сблизился с местной замужней крестьянкой Аксиньей Базыкиной. Связь эта продолжалась долго, оставив после себя глубокий след. Впервые в нем соединилось чувство оленя с чувством мужа. Дневниковые записи Толстого обнажают экспрессию его чувств к ней: «Чудный Троицын день. Вянущая черемуха в корявых рабочих руках; захлебывающийся голос Василия Давыдкина. Видел мельком Аксинью. Очень хороша. Все эти дни ждал тщетно. Нынче в большом старом лесу. Сноха. Я дурак, скотина. Красный загар, глаза... Я влюблен, как никогда в жизни. Нет другой мысли. Мучаюсь. Завтра все силы». Но вскоре восторг сменился совсем другим чувством: «Она мне постыла». Тем не менее «продолжает видать исключи-

тельно». Маятник раскачивается все больше, и писатель констатирует, как она ему «близка». Дальше — больше: «Ее нигде нет — искал. Уже не чувство оленя, а мужа к жене. Странно, стараюсь возобновить бывшее чувство пресыщения и не могу». Спустя годы связь с Аксиньей будет отрефлексирована Толстым в «Дьяволе», пожалуй, самом страстном его шедевре, тщательнейшим образом скрываемом им от вездесущего oka жены.

Удивительное дело, прочитав в медовый месяц дневник мужа с его откровениями, Софья Андреевна, с безошибочной женской интуицией отреагировала только на эту связь. Аксинья чуть было не стала причиной разлада в семейной жизни Толстого. Через год после замужества жена писателя записала в своем дневнике сон: «Пришли к нам в какой-то огромный сад наши ясенские деревенские девушки и бабы, а одеты они все как барыни. Выходят откуда-то одна за другой, последней вышла Аксинья, в черном шелковом платье. Я с ней заговорила, и такая меня злость взяла, что я откуда-то достала ее ребеночка и стала рвать его на клочки. И ноги, голову — все оторвала, а сама в страшном бешенстве. Пришел Лёвочка, я говорю ему, что меня в Сибирь сошлют, а он собрал ноги, руки, все части и говорит, что ничего, это кукла». Этот «неприятный сон» невольно выявил состояние души Софьи Андреевны. Но, к счастью, ей не удалось «разорвать на кусочки» реального ребенка, родившегося у Аксиньи от Льва Николаевича.

Любовь Толстого, действительно, тайна великая. Диапазон ее впечатляющ — от бурных страстных потрясений до тихого созерцания женской красоты в самом возвышенном смысле. Ему, к счастью, не пришлось, подобно Бальзаку, подсчитывать, например, сколько рукописных листов он потерял из-за мига любви. Для него было гораздо важнее, что любовь явилась необходимой матрицей для его гениальных романов, где царила Женщина во всем блеске своих соблазнов. Именно она стала для него радостью, печалью, вдохновением. Он постоянно балансировал между чувственными желаниями и жадой большой любви.

Василий Розанов, известный как русский фрейдист, как-то поведал о семейной тайне Толстого, сославшись

на разговоры писателя с Тенеромо. Однажды зашла речь о детях Льва Николаевича, что они — не способны. В этой связи тот привел некую философию, вспомнив одного своего ребенка. Толстой сказал, что ему есть что вспомнить о его рождении, но об этом он может рассказать в момент своей смерти, — перед тем, как юркнет под крышку гроба. Эти слова позволили Розанову предположить существование неких «девственных идеалов» великого писателя земли русской, усмотреть в «Крейцеровой сонате» сплошь рыдающую натуру муже-девы, «осквернявшейся женщиной» исключительно по положению «женатого человека».

Подобная психофизика является андрогинной, то есть с ослабленным чувством половой принадлежности. Андрогинами были многие гениальные люди. Тайну мира Лев Николаевич рассматривал в лунном свете, отраженном в воде, что и вызывало в нем напряженные колебания. Луна и вода вошли в его жизнь в качестве основных символов. Именно они одарили его силой воспоминания, основного прообраза всех его героев. Реальность и воспоминания слились в единое целое, позволив в полный голос зазвучать теме счастья. Но лунный свет, как и любовь, чрезвычайно зыбок, переменчив, волшебен и непредсказуем. Он обольщает обманчивыми надеждами, и, конечно, луна обостряет и поэтизирует сексуальные влечения. Сохранилось прелюбопытное дневниковое признание писателя: «Я никогда не был влюблен в женщин. Одно сильное чувство, похожее на любовь, я испытал только, когда мне было 13 или 14 лет; но мне не хочется верить, чтобы это была любовь; потому что предмет была толстая горничная (правда, очень хорошенькое личико), притом же от 13 до 15 лет — время самое безалаберное для мальчика (отрочество): не знаешь, на что кинуться, и сладострастие, в эту эпоху, действует с необыкновенною силою. В мужчин я очень часто влюблялся, 1 любовью были 2 Пушкина, потом 2-й — Сабуров, потом 3-ей — Зыбин и Дьяков, 4 — Оболенский, Блосфельд, Иславин, еще Готье и многие другие... Я влюблялся в мужчин, прежде чем имел понятие о возможности *педерастии*; но и узнавши, никогда мысль о возможности соития не входи-

ла мне в голову. Странный пример ничем не объяснимой симпатии — это Готье. Не имея с ним решительно никаких отношений, кроме по покупке книг. Меня кидало в жар, когда он входил в комнату. Любовь моя к Иславину испортила для меня целые 8 месяцев жизни в Петербурге. Хотя и бессознательно, я ни о чем другом не заботился, как о том, чтобы понравиться ему. Все люди, которых я любил, чувствовали это, и я замечал, им тяжело было смотреть на меня. Часто, не находя тех моральных условий, которых рассудок требовал в любимом предмете, или после какой-нибудь с ним неприятности, я чувствовал к ним неприязнь; но неприязнь эта была основана на любви. К братьям я никогда не чувствовал такого рода любви. Я ревновал очень часто к женщинам. Я понимаю идеал любви — совершенное жертвование собою любимому предмету. И именно это я испытывал. Я всегда любил таких людей, которые ко мне были хладнокровны и только ценили меня. Чем я делаюсь старше, тем реже испытываю это чувство. Ежели и испытываю, то не так страстно, и к людям, которые меня любят, т. е. наоборот того, что было прежде. Красота всегда имела много влияния в выборе; впрочем, пример Дьякова; но я никогда не забуду ночи, когда мы с ним ехали из Пирогова, и мне хотелось, увернувшись под полостью, его целовать и плакать. Было в этом чувстве и сладострастие, но зачем оно сюда попало, решить невозможно; потому что, как я говорил, никогда воображение не рисовало мне любрические картины, напротив, я имею страшное отвращение».

Луна не раз «отрывала» Толстого от земли, приглашая в мир теней и призраков, иллюзий. Сам ее свет рождал обманчивый мир, являвшийся своеобразным ответом на трагическую невозможность устроить свою личную жизнь с помощью одной лишь женской любви. Писателю помогло то, что он проживал любовь, живую жизнь через слово. Он вслушивался, вчувствовался, размышлял с пером в руке, с помощью очередного чистого листа бумаги. Толстой писал крупным веревочным почерком, в котором его бывший приятель Б. Н. Чичерин угадывал женский почерк. В семантике поведения писателя он не раз наблюдал женские чер-

ты и был глубоко убежден в том, что, для того чтобы Толстому от этого избавиться, его нужно непременно выпороть.

Глава 5

Неутомимая Sophie

Сразу же из-под венца, после родительского благословения, опустошенных бокалов с шампанским, слез невесты, ночью, под шум начинавшегося дождя, молодые покидали Москву, чтобы обустроить собственную жизнь в Ясной Поляне. Молодая жена сама приняла решение ехать не за границу, а в деревню.

23 сентября 1862 года новый респектабельный дормез — огромная, дорожная карета с фореитором, приспособленная даже для сна, запряженная шестеркой почтовых лошадей, чинно въехала в Ясную Поляну, знаменуя наступление нового времени в жизни усадьбы. Сущестующей яснополянской повседневности предстояло породниться с совсем иной, «московско-берсовской» реальностью, образовав впоследствии особый, «кровосмесительный» быт усадьбы. Так, например, по-прежнему в яснополянском парке под липами варили варенье, снимая пышные розовые пенки под жужжание пчел и ос, но уже по иной рецептуре, привезенной Соней от московского медика профессора Анке, суть которой заключалась в том, чтобы не подливать воды: как и раньше, здесь пекли сдобные левашники из раскатанного теста, начиненные вареньем, которые надувались через соломинку поваром Николаем, чтобы тесто «не садилось», за что они получили название «les soupirs de Nicolas» — «вздохи Николая». Их Толстой полюбил с детства, но к ним добавилась еще одна кондитерская причуда — анковский пирог, ставший символом буржуазности, привнесенной женой в яснополянский быт. Семья Берсов, несмотря на скромность, обладала неким «фирменным» шиком, проявлявшимся в сервировке стола, в безупречности подаваемых блюд. Даже в странных увлечениях величавой хозяйки, Любви Александровны Берс, гордо

восседавшей в кресле во главе стола и щипчиками клавшей в рот доставаемые из ящичка черные корочки (березовые угольки), было что-то обворожительное.

Так менялось житье-бытье Ясной Поляны, тесно переплетаясь с совсем иным, образовывая прелюбопытный симбиоз толстовского и берсовского стилей жизни, в котором все так смешалось, как в «доме Облонских». Лишь святой Спиридоний, как в былые времена, оставался покровителем рода Толстых и Ясной Поляны.

В свой медовый месяц, проводимый в милой Ясной, новобрачные наслаждались роскошью общения друг с другом. Их приветливо с хлебом-солью встретили любимые тетушки и брат Сергей, благословившие молодых семейной иконой. Т. А. Ергольская торжественно вручила Соне связку ключей от многочисленных сундуков, шкафов, кладовой с припасами. Ключей оказалось более тридцати. Она прикрепила их к кольцу и подвесила к поясу своего платья. Позже эту тяжелую связку Софья Андреевна стала хранить в специальном ящике, ключ от которого был только у нее, и она с ним никогда не расставалась.

Восемнадцатилетняя Соня уверенно заняла место хозяйки, без колебаний предпочтя его беззаботной и веселой московской жизни. Теперь она постоянно ощущала на себе груз ответственности «за двух» — за себя и мужа, а потом еще и за всех своих тринадцать детей. Порой «мы алчем жизнь узнать заранее, и узнаем ее в романе». О своей совместной жизни с мужем Софья Андреевна многое узнавала из его романов, вынося за скобки романтизированный флер. Лев и Соня зажили «серьезно и умно», но пока «еще — не дельно». «Милый Адольф», как она шутливо называла мужа, занимался ее воспитанием, беспокоился о ее нравственности и ограничивал круг ее чтения. Так, он не позволял ей читать романы Золя и «Даму с камелиями» Дюма-сына, казавшиеся ему слишком эротичными. Он окрестил Соню «фарфоровой куклой». «Твой Лев написал фантастическую штуку Тане, что и немцу в голову не придет... Как плодовито у него воображение и в каких иногда странных формах разыгрывается. Умел же он о превращении женщины в фарфоровую куклу написать восемь стра-

ниц. Он напоминает мне Овидия, который превратил юношу-красавца в нарцисс», — писал дочери 27 марта 1863 года Андрей Евстафьевич Берс. Чета Толстых была настолько дружной, что близкие наивно полагали, что это «даже не к добру».

Счастье всегда на стороне тех, кто доволен жизнью. Они казались самыми счастливыми, ведь счастлив только тот, кто счастлив в своем доме. Семья еще не представлялась им самым тяжким испытанием, которое Бог посылает человеку. Лев и Соня были словно прикованы к семье и ежеминутно подвергались всевозможным испытаниям в делах, разговорах, которые порой не каждому из них нравились, но приходилось терпеть, побеждая себя. Здесь помогала, в понимании Толстого, «совесть Иисуса», призывавшая «мириться с собственным гневом». Лев Николаевич старался как можно реже раздражаться. Соня очень не любила, когда он изливал свой гнев в обидных для нее словах. Каждый старался свести на нет возникавшие ссоры, стремился к взаимному умиротворению, понимая, что в совместной жизни необходимы уступки, компромиссы, соблюдение тишины и спокойствия. Толстой любил сравнивать супругов спряженных в одну упряжку лошадьми — надо тянуть в одну сторону. Однако случилось, что Лев не мог совладать с гневливостью, идущей от предков Трубецких, вызываемой грубым вторжением повседневности в гениальное пространство творца. Соня запомнила «бешеный» крик мужа, вызванный ее случайным приходом в кабинет в тот момент, когда он работал над «Войной и миром». Близкие вспоминали, как он кричал «петухом», выражая таким образом свое яростное несогласие с собеседником.

Конфуций проповедовал приоритет семьи перед государством, учил жить не столько для государства, сколько для семьи. Толстой очень рано уверовал в «мысль семейную», которая не раз согревала его в трудные минуты. Не случайно его двойник, Константин Левин, ради сохранения семейного счастья был готов убить гостя, покусившегося на супружеское благополучие.

В детстве Толстому не было дано познать теплоты семейной жизни. Этот дефицит он компенсировал не только в своей супружеской жизни, но и в романах, иде-

ализирующих семейное начало, получив за это почетное звание «певца семейного счастья». Он не раз размышлял об особенностях толстовской породы, в которой бушевали сильные страсти, получившие впоследствии такое определение, как «толстовская дикость». Недаром его знаменитый родственник, известный дуэлянт Федор Толстой-Американец «татуировался». Эта «дикость» не раз проявлялась в яснополянском быту. До женитьбы Толстой и его братья спали исключительно на соломе, без простынь. Эта традиция сохранилась отчасти и в семейной жизни писателя. Аромат сена постоянно присутствовал в его доме. Всюду, например в детской, находились тюфяки, набитые сеном так, что трещали. Их каждый месяц набивали свежим сеном.

Толстовская «дикость» проявилась еще и в поразившей Софью Андреевну манере мужа есть за обедом старыми серебряными ложками и железными вилками и ножами, оставшимися еще с прадедовских времен. За всем этим, как и за бурьяном, разросшимся вокруг дома, чувствовались особые фамильные коды предков. Чего стоит, например, знаменитый длинный толстовский халат с пристегивающимися лапами, который был многофункциональным, являясь одновременно халатом и ночной рубашкой.

Соня нашла яснополянский быт более чем спартанским. Велико было ее удивление, когда во время сервировки обеденного стола в доме не обнаружилось серебряной посуды. Оказалось, что после смерти отца писателя Воейков, назначенный опекуном малолетних детей, «прибрал» несколько пудов серебряной утвари. Повар Николай хорошо помнил, сколько было в прежние времена отменного столового серебра в Ясной Поляне.

Толстой весьма стоически, с неким героизмом воспринимал вездесущую повседневность, проникавшую даже в его параллельный мир, боролся с плотскими страхами, «арзамасскими» ужасами, телесными невзгодами, с низкими проявлениями духа своего собственного «я». Только уникальная личность, редкая по своему масштабу, способна на это. Для Толстого своеобразной метафорой его обыденного существования явилось не

раз перелицованное серое «безразмерное» пальто, охотно им носимое и, как оказалось, приходившееся всем впору. Свое универсальное пальто он считал счастливым.

Писатель больше всего ценил подлинность, проявляемую вне какой бы то ни было пафосности, он во всем стремился к простоте. Не поэтому ли Толстой так высоко ценил рационалистический подход семьи Берсов к повседневности? Эта большая чиновничья семья, состоящая из мужа, жены и восьмерых детей, ютилась в скромной кремлевской квартире. Создавалось впечатление, что эта квартира состоит из сплошного коридора. Дверь с лестницы вела в столовую. Кабинет Андрея Евстафьевича Берса, практикующего врача, был настолько крошечным, что в нем, казалось, негде повернуться. Три его дочери спали на пыльных, просиженных диванах. Трудно представить, но пациенты с риском для жизни поднимались к доктору по хлипкой лестнице, которая могла в любой миг провалиться вместе с ними. Не меньшую опасность представляла люстра, которая висела так низко, что не разбить себе лоб казалось счастливой случайностью.

Семейная колея молодых супругов пролежала вдали от роскошной и праздной жизни. Они довольствовались общением друг с другом и тем малым комфортом, которым их одаривал северо-восточный флигель, предназначавшийся во времена деда и отца Льва Николаевича для немногочисленных гостей Ясной Поляны или гувернеров. Лев и Соня зажили «по-настоящему» только после того, как с двух сторон к флигелю были сделаны пристройки.

Неутомимая *Sophie*, как ее называла фрейлина Александра Толстая, была «симпатичной с головы до ног», «простой, умной, искренней, сердечной». В ее голосе близкие слышали интонации мужа. Чем не Наташа Ростова, которая, словно зеркало, отражала своего мужа Пьера? За год до брака Соня благополучно сдала экзамены на звание домашней учительницы при Московском университете, писала повести, играла на фортепиано, серьезно увлекалась живописью и даже мечтала брать уроки рисования в Париже. С особым энтузиазмом и

расчетом она занималась хозяйством в Ясной Поляне, оказавшись во многом предприимчивее своего мужа. «Экой молодец! Софья-то Андреевна. Передайте ей мой душевный привет и скажите, что я в восторге, если только она не играет в куклы...! — виноват, в кассу», — с добродушной иронией писал Льву Николаевичу А. А. Фет. Толстой же был абсолютно уверен в том, что его «жена совсем не играет в куклы», а становится его «серьезным помощником». Она охотно занималась домом, в котором проживало больше двадцати человек, умело управляла имуществом. Случавшиеся порой разногласия с мужем на первых порах преодолевались легко благодаря их сильной взаимной любви. «Не может быть, чтобы все это кончилось только жизнью!» — не раз восклицал счастливый муж.

Он был пленен и очарован женой: «Человек, который краснеет, может любить, а человек, который может любить, — все может... Человек неженатый до конца дней мальчишка. Новый свет открывается женатому... Для счастья нужна плоть и кровь. Ум хорошо, а два лучше, говорит пословица: а я говорю одна душа в кринолине нехорошо, а две души, одна — в кринолине, а другая в панталонах еще хуже. Выйдет страшная нравственная monstruosité из такого брака. Это не брак, а осеменение двух — не душ, а направлений. Хорошая жена смотрит на все глазами мужа». Толстой, как и каждый влюбленный, считал, что любой человек изначально является одиноким, но потом его разрезают пополам. Свою вторую половину он искал с пятнадцати лет и был счастлив, что наконец нашел ее.

В доме Толстых, как и в доме Облонских, любили произносить, что «все образуется». Обновленный яснополянский быт налаживался. Молодая жена, уверенно подписывавшаяся «графиня Соня Толстая», любила мужа до крайности. Она частенько приходила к нему в кабинет, где он писал «Казаков» и «Поликушку», переписывала, всматриваясь близорукими глазами в крупный веревочный почерк мужа, в котором со временем стала разбираться лучше, чем сам автор. Но этот опыт обрелся со временем. А сначала она позволяла себе вольности, исправляя стиль мужа, разбивая длинные много-

словные периоды, сокращая «лишние» союзы «что» и «который», заменяя «гордость» «тщеславием», а «апатию» «равнодушием». Свои корректировки она объясняла тем, что муж не дорожил красотой слога. Случалось, что страницы рукописей находили в ясно-полянских канавах.

Спустя годы она с особой заботливостью стала относиться к автографам Льва Николаевича и в сентябре 1887 года сдала рукописи мужа в рукописный отдел Румянцевского музея, чтобы обеспечить их полную сохранность. Еще восемь ящиков, наполненных бесценными реликвиями, она отвезла туда весной 1894 года. А зимой 1904 года девять ящиков с автографами Софья Андреевна перевезла в Исторический музей, где они хранились до конца жизни Толстого. В 1915 году вдова писателя передала их на хранение в Румянцевский музей, где организовала особый зал, названный «Кабинетом Л. Н. Толстого».

Но тогда, в первые годы замужества, все было иначе! Ее рука, как она выражалась, «не ходила писать; я целыми днями переписывала Лёвочке». Она не успевала переписывать рукописи. Поэтому в Ясную Поляну был приглашен писарь. Переписчик Александр Петрович приходил иногда пьяным и обычно дарил, продавал или отдавал за бутылку водки черновики Толстого. Так произошло и с черновиками «Войны и мира» и «Анны Карениной». Их мало сохранилось по многим причинам, в том числе и потому, что Софья Андреевна, по незнанию, заклеивала ими окна. Мало дорожила ими. Ей никто даже не намекнул, что их нужно беречь. Удалось сохранить приблизительно 8 тысяч рукописных листов «Войны и мира» и «Анны Карениной», переписчицей которых была сама Софья Андреевна.

Между тем Лев Николаевич охотно превращался в семейного человека и только громкие возгласы, раздававшиеся где-то рядом с кабинетом, в соседней комнате или у лестницы — «Корректур!» — напоминали о том, что перед вами не просто муж, отец, хозяин усадьбы, а художник, «машина для писания», которая работала почти без сбоев, олицетворяя неустанное движение мысли.

Софья Андреевна вскоре поняла, что жизнь не театр, а она — не героиня, произносящая торжественные монологи, в ее жизни все переплелось — обыденное, уникальное и неповторимое. Она смотрела на многие события, происходившие в ее семье не с парадной стороны, а изнутри. Ей тяжело достались первые роды, и она мучилась, оттого что муж не мог понять, что она не сможет кормить Сережу грудью.

«Живете вы... без всякого расчета, не умеете смириться перед обстоятельствами, которые сами на себя навлекли своими необдуманными поступками: брать или не брать кормилицу... Будь уверен, Лев Николаевич, что твоя натура никогда не преобразуется в мужичью, равно и натура жены твоей не вынесет того, что может вынести Пелагея, отколотившая мужа и целовальника в кабаке около Петербурга... Лёвочку просто валяй, чем попало, чтобы умнее был. Он мастер большой на речах и писаньях, а на деле не выходит. Пускай-ка он напишет повесть, в которой муж мучает больную жену и желает, чтобы она продолжала кормить своего ребенка: все бабы забросают его камнями. Требуй, чтобы он вполне утешил свою жену», — писал разгневанный отец Софьи Андреевны 8 августа 1863 года.

Отцовская поддержка оказалась как нельзя кстати. После родов доктора строго-настрого запретили Софье кормить грудью ребенка. И в доме появилась кормилица. Это очень огорчало Льва Николаевича, настаивавшего на том, чтобы жена непременно сама кормила младенца. В «Моей жизни» есть такая запись: «Он озлобился, уходил из дома, целые дни оставлял одну без помощи». А ведь совсем недавно, во время ее страданий в родовых схватках Лёвочка все время находился рядом с ней, у кожаного дивана, на котором родился он сам, жалел ее, был ласков, слезы блестили в его глазах, он постоянно обтирал платком ее горячий лоб. После родов громко рыдал, обнимая ее голову. Теперь же он с нескрываемым раздражением писал в своем дневнике о том, как с каждым днем портится характер жены.

Повседневная жизнь чрезвычайно разнообразна и подчас не соотносится с законами эстетики. Сверхчувственное восприятие — аналог бытового. У Толстого не

было культа любви к своей жене. Он любил ее без всякой театрализации. Вскоре все успокоилось, и Лев Николаевич вновь принялся за свой роман, а о случившемся семейном надрыве оставил такую запись: «Все это прошло и все неправда. *Я ею счастлив*». Литература и семья по-прежнему оставались для него равнозначными понятиями. Младенец Сережа рос на рассказах о войне 1812 года. Сонин отец припоминал любопытные эпизоды из тогдашней московской повседневности, как горел, например, огромный щит на Тверской, у дома Бекетова, изображавший бегущего Наполеона, преследуемого воронами, которые его щипали и пакостили на него. Народ глядел на происходившее и хохотал от души. Автор «Войны и мира» приходил в полный восторг от подобных рассказов тестя, так же как и от прочитанных им писем Волковой к Ланской, в которых очень живо был передан дух того времени. Не только огромное количество проштудированных им источников, но и инстинктивные влечения, любовь к Соне, хозяйственные заботы, охота — все проявления плотской жизни помогали ему находить силы для творчества. Житейская «дурь» перерабатывалась и преобразовывалась в искусство.

Софья Андреевна хотела, чтобы в ее доме все было «как надо». Это означало, что все должно быть особенным, включая запах. Для этого она использовала запахи французского саше, перекладывая им свое и мужнино белье, заботилась о том, чтобы белье Лёвочки источало аромат пармской фиалки. Супружеская жизнь была во многом традиционно похожа на семейную жизнь знакомых и складывалась из привычных мелочей: из хлопот о накрахмаленной скатерти, о составлении меню, о заданиях поварам. Соня могла позволить себе излюбленные лакомства — пирожное или конфеты. Вскоре появились свои любимые привычки, вроде сидения на старинном кожаном диване, стоявшем рядом с письменным столом мужа, и вышивания *broderie anglaise* (английской гладью) батистовых салфеток. Она уверенно свивала свое гнездо, заняв место во главе обеденного стола за серебряным самоваром. В их доме на втором этаже было пять комнат, объединенных

анфиладой. Каждая из них в шесть-семь аршин с высоким потолком до пяти аршин создавала очень приятную атмосферу для жизни: стены белые, полы дощатые, кругом «простота», чрезвычайно ценимая Львом Николаевичем. Так, в гостиной стояли низкие стулья, купленные в Петербурге, на которых Софья Андреевна кормила своих детей. Как скромно в доме! Во всех комнатах, как только смеркается, зажигают лампы, кроме кабинета писателя. Чаще всего у него горела небольшая ночная лампочка или свеча, которую он гасил, покидая комнату. Жили тесно, во всем чувствовалось «робинзонство». Чистоту в доме обеспечивала прислуга, в том числе Аксиныя Базыкина. Нетрудно представить, что почувствовала Соня, когда увидела ее в своем доме моющей полы в подобранной до колен юбке, обнажавшей сильные красивые ноги, в облегающей блузке, эффектно подчеркивающей соблазнительную грудь. Аксиныя вызывала у молодой жены сильное чувство ревностного смятения. Поэтому Софья сразу же приняла решение отказаться от ее услуг. Создание уюта достигалось порой «съеданием» творческой жизни. Со временем Лев приучил себя убираться в комнате и довел в этом деле свои движения до автоматизма. Привыкание к примелькавшейся обыденности требует забвения, иначе возможно появление страхов, прячущихся не в доме, а в подполье своего бессознательного «я», откуда они проникают в дом.

Софья старалась жить мыслями о муже, но порой ей казалось, что если она «им не сделается, и себя потеряет». А он жил жизнью реальной и метафизической. Она же привыкла жить «своей отдельной, маленькой жизнью», в которой теперь большое место отводилось его творчеству. Иногда о себе, своих чувствах, своем прошлом и настоящем она узнавала из Лёвочкиных романов — «Войны и мира» и «Анны Карениной». Наташа Ростова и Кити Левина помогли ей лучше разглядеть себя. Так, любовная атмосфера, характерная для дома Ростовых, способствовала большему пониманию ее девической жизни. В свою очередь она многое открывала для себя и в душевной жизни мужа.

Счастливым Лёвочка должен был видеть себя отраженным в собственной жене, словно его герой Пьер Безухов, испытывавший наслаждение от общения не с умной, а с настоящей женщиной — женой, впитывающей словно губка всё лучшее, что есть в муже. Человеческая тайна открывается только после познания душевных секретов двух любящих сердец. С точки зрения Льва Николаевича, в этом и заключался идеал супружеской жизни. В противном случае, как он говорил, «незачем спать вместе». Такие мысли помогали быть счастливыми, усиливали взаимную любовь. Что ж, имущему дается, а у неимущего отнимается. И Софья вкладывала всю себя в жизнь мужа, как Наташа Ростова в Пьера Безухова. «Чуть до рассуждений — у ней не было своих слов», — писал о своей героине Лев Николаевич. Она не умела словами передать тысячную долю того, что могла выразить голосом, улыбкой, взглядом. Она помогала творить любимому Лёвочке, озаряя его своим светом. И он так сросся за 15 лет со своей семьей, что стал неотделим от нее: во время поста все ели только постное, жили как по прописям — в девять утра пили кофе, в час завтракали, в шесть обедали, в восемь пили чай, ценили добродетель, труд, благочестие. Софья напоминала самой себе некую «работающую машину», девизом которой было — «творить, хотя бы шить». Она, как и любимая толстовская героиня Кити, вязала распашонки, одеяла, обшивала всю семью, включая мужа, которому шила знаменитые «толстовки». В ее комнате до сих пор стоит швейная машинка фирмы «Singer». Обычно Софья Андреевна штопала белье мужа, делая это чрезвычайно виртуозно, а заодно и приучая семью к бережливости.

Попробуем проследить эволюцию любви Софьи Андреевны и Льва Николаевича, осмыслить их взлеты и охлаждения во всей совокупности живых эмоций, разнообразных черт их характеров. Сонина любовь к семье одаривала мужа силой жизни. Без нее он словно «на одной ноге стоял». Материальные заботы об огромной семье (чего только стоят поиск и оплата гувернеров из Швейцарии и Англии!) переплетались с писательством. Каждый его роман она воспринимала как собственное дитя. Когда ему было «ужасно тяжело», он переносился

в прошедшее, с любовью вспоминая ее лиловое платье, как она прочитала мелком написанные им на ломберном столе буквы «В. м. и п. с. с. ж. н. м. м. с. и н. с.» — «Ваша молодость и потребность счастья слишком живо напоминают мне мою старость и невозможность счастья», и сердце его билось сильнее. Ведь любовь для него совсем не шутка, а великое дело, способ «добывания жизни».

И он, и она не позволяли себе лжи и лени. Она с утра и до позднего вечера была в хлопотах. Ей нужно было вовремя дать распоряжения поварам, дворникам, скотникам, гувернерам, а в течение дня проверить, все ли ими выполнено правильно. Для нее это было привычным делом, и она очень ответственно к этому относилась. Ей нравилось, как готовил повар Николай Михайлович Румянцев. Так умели готовить только старинные повара, служившие еще при деде мужа. Но ей не нравилось, что он неопрятен. В похлебке подчас можно было обнаружить отвратительную муху. Тогда она тотчас же «завела куртки белые, колпаки и фартуки, ходила в кухню и смотрела за всеми». Иногда старик повар напивался, и его заменяла жена, а порой и самой Софье Андреевне приходилось хлопотать на кухне. Она прощала повару эти слабости, а когда он состарился, назначила ему пенсию. Поварское место отца вскоре занял сын Сёмка, обученный кулинарному искусству в Тульском клубе и получавший за свою работу в Ясной Поляне 25 рублей, в четыре раза больше, чем Николай Михайлович.

Софья Андреевна проверяла, хорошо ли скотница накормила любимых породистых кур-брамапутров, привезенных ею с московской сельскохозяйственной выставки. Она следила за дворниками, требуя очистить зеркала прудов от березовых сережек, писала сценарии для рождественских и масленичных карнавалов, но, самое главное, не забывала переписывать (в который раз!) все то, что написал за день ее гениальный муж. Несмотря на то, что в часы творчества Толстому требовались абсолютная тишина и уединение, она изредка приходила к мужу в кабинет, чтобы перемолвиться несколькими словами, обменяться нежными

взглядами, набить папиросы «жуковым табаком», который тогда многие курили. Папиросы писатель вставлял в вишневый мундштук, и ныне хранящийся в его доме. Порой Соне казалось, что она любила Лёвочку еще задолго до своего знакомства с ним, с того момента, когда в юности стала поклонницей его трилогии. После того как он отправился в Севастополь, она представляла его в своих фантазиях тяжело раненным, а рядом с ним видела себя. Мечты, мечты, где ваша сладость? Но теперь мечтала уже о другом: проникнуть в уникальный, таинственный мир его грез, подвластный ему одному, где он мог перевоплощаться в любой характер, становиться той или иной индивидуальностью, ощущать в себе «возможность всех возможных характеров», способность «высоко подниматься душой и низко падать», дрожать дрожью разбойника, сидящего под мостом в ожидании жертвы, или оказаться в шкуре старого мерина, понуро стоящего на выгоне. Ее любовь доходила до obsessions, когда хотелось во всем быть похожей на любимого человека. Нелегко доставалось такое семейное счастье.

Она с головой погружалась в переписывание его текстов. Больше всего такой работой ей приходилось заниматься зимой, когда Лёвочка по преимуществу отдавался писательству. Писал, словно неистовый, в течение целого дня, а порой и до поздней ночи. Самым, пожалуй, критическим временем года для Толстого была осень, когда он ужасался своему сибаритству, то есть безвозвратно потерянному им весной времени. Приходилось нагонять упущенное. Тем временем жизнь протекала вполне по-усадебному, а значит, по-старинному: зимой все были заняты работой с утра и до вечера. Соня называла зиму самой рабочей порой, а лето, напротив, предрасполагало к бездействию. На самом деле, вся их жизнь была наполнена трудовой энергией. Не случайно жена упрашивала мужа хотя бы летом отдохнуть, но тот лишь дважды уступил ее просьбам, позволив семье провести лето в их самарском имении, а зиму в Москве. Все то, о чем когда-то только можно было мечтать, — о любящей жене, которую еще «никто никогда так не любил», как он, о жизни среди поэтиче-

ской деревенской природы, о большой дружной семье, о чувстве отцовства, о писательстве, кажется, начинало сбываться. Правда, Соня все еще боялась «спотыкнуться», «дрожала за себя», потому что «страшно ответственно жить вдвоем». Она боялась заснуть во время своей беременности, когда Лёвочка читал ей вслух «Отверженных» Гюго, волновалась, что будет чихать, если вдруг «сделается насморк», когда станет набивать табаком папиросы, не выдерживала такта во время исполнения с мужем на рояле симфонии Гайдна. Страхи были напрасными. Благодарный муж был в восторге от ее папирос, приговаривал, что лучше ее никто их не набивает, был счастлив, когда она перебирала пальцы его рук, нежно расцеловывая косточки, произнося: «Понедельник, вторник...» и так до конца недели. Он так полюбил эти ласки, что запечатлел их в «Войне и мире». Наташа-волшебница один к одному «повторила» ее жест на страницах романа.

Софья Андреевна осознавала, что ее брак представлял собой мезальянс: она, полуаристократка, «бедная, ничего не имевшая бесприданница», выиграла счастливый билет, выйдя замуж за родовитого помещика. Она высоко ценила своего мужа, который ни разу за прожитые вместе годы не дал ей повода почувствовать, что все имущество является исключительно его собственностью. Она приехала в Ясную Поляну с тремястами рублей, врученными матерью на расходы. Этими деньгами она щедро поделилась с кондитером, горничной, старостой, прачками, кучерами, садовником, скотницей, которым предстояло прожить с ней бок о бок многие годы. Теперь она получала на хозяйственные и личные расходы деньги от мужа. Софья Андреевна оказалась на редкость практичной хозяйкой, экономила на всем, чтобы лишний раз не просить деньги у мужа. Она умудрялась выгадывать даже на своих туалетах. На протяжении долгого времени носила короткое коричневое суконное платье. Ее одежда, состоявшая из белого капота и поношенных деревенских башмаков, казалась проще простого. Заказывал и покупал для нее платья и обувь муж, убежденный в том, что за кринолином и шлейфом может «не найти своей жены», да и ни

к чему, считал он, так пышно одеваться, живя в деревне. Молодая хозяйка была «простой в манере, в каждом движении». Не случайно граф и литератор В. А. Соллогуб после знакомства с образом Наташи Ростовой долго не мог себе представить домашний туалет героини романа иначе, как «на лад графини Софьи Андреевны».

Молодая жена быстро привыкла к простоте яснополянского быта, к отсутствию какой бы то ни было роскоши. В доме была жесткая мебель, очень плохое старинное фортепиано, поразившее ее бедностью звуков. В гостиной и столовой стояли олеиновые лампы, купленные еще отцом писателя. Зажигались калетовские свечи (калетовскими свечами, в отличие от сальных, называли стеариновые, изготовленные Калетовским заводом в Туле из смеси стеарина с салом). Толстой спал на любимой темно-красной сафьяновой подушке без наволочки, под ситцевым ватным одеялом.

Софья Андреевна самым решительным образом покончила с холостяцкими привычками мужа, заменив старую подушку новой пуховой с шелковой наволочкой, а ситцевое одеяло шелковым, с подшитой к нему тонкой простыней. В доме появились занавески, мягкая мебель с чехлами. Убранство стало иным. Хозяйка надевала по воскресеньям нарядное белое платье, на ее руке красовался роскошный золотой браслет с бриллиантами. Каждый год в день свадьбы, 23 сентября, она блистала в торжественном туалете, держа в руке свадебный мешочек, который хранился вместе с двумя венчальными свечами и букетиком флёрдоранжа, дорогими реликвиями, напоминавшими ей о самом счастливом дне в жизни. Вместо старых ножей, вилок, ложек стали пользоваться серебряными, из ее приданого. На белье мужа красными нитками она гладью вышила монограмму «Л. Т.», а на обеденном столе появилась серебряная чарка с чернью, из которой Лев Николаевич перед обедом непременно выпивал водку, настоящую на травах.

Однако, несмотря на старания жены, яснополянский дом не стал помещичьим. Это отметил критик Стасов, не раз бывавший в толстовской усадьбе. Он увидел здесь «бесконечно много бестолковщины, непорядка, неустройства, грязи, пыли — и ни единой черточки че-

го бы то ни было аристократического». В этом он усмотрел исключительно вину Софьи Андреевны, которая, по его словам, как была дочерью обрусевшего доктора-немца, так ею и осталась: «Все у нее в доме плохо, нескладно, немецкого порядка и аккуратности — и тени нет! Все, по-русски, растрепано и грязно. Если бы только мне рассказать, что у них за ватерклозеты, которые являются мерилom домашнего порядка, благоустройства и порядочности... Что попало по нечаянности под руку, то так и осталось навеки. Ничего хоть капельку художественного, привлекательного — повсюду голь и сушь». В этой критике знаменитого петербуржца, привыкшего во всем придерживаться принципа регулярности и порядка, чувствуется некая предвзятость, недооценка очевидных стараний молодой хозяйки. По ее настоятельной просьбе в доме появилась ванна. Она, как могла, создавала уют виртуозно связанными ею скатертями, одеялами с эффектным греческим узором и прочими милыми безделушками. Завела гиацинты в горшках, кенаров в клетках, стоявших на рояле — своеобразная звуковая подробность комфорта по-яснополянски.

Софья Андреевна достойно исполнила роль «единственного интимного друга, жены, матери и хозяйки дома», которая оказалась довольно сложной и ответственной. Она успевала многое сделать — «утром записывала расходы, приводила в порядок вещи», сметывала платья, которые постоянно шились и перешивались на швейной машинке «Singer», принадлежавшей еще ее матери. Выпив кофе, она начинала играть гаммы или бежала — про нее нельзя сказать, что она ходила, — с масляными красками зарисовывать пруд, аллею, грибочки, травки, цветочки, дом. То она что-то писала в дневнике, то приводила в порядок разбросанные книги. Когда же приходили корректуры, она с утра садилась в гостиной, рядом с кабинетом мужа и занималась ими. Лёвочка, кроме писательства, был охвачен еще и хозяйственными страстями: приобретал японских свиней, тирольских телят, лошадей, пчел. Она скучала, плакала, ходила на пчельник, приносила ему обед, ждала, пока он поест, страдала от уку-

са пчел и потом одна возвращалась домой. Успокаивала себя только тем, что нигде муж не мог бы так любить ее, «даже в четверть того», как только здесь, в Ясной Поляне. Они наслаждались жизнью в усадьбе, тишиной, им казалась малопонятной городская жизнь с ее суетой, спорами, театрами, концертами, балами. В городе не оставалось времени для того, чтобы жить. Разве можно сравнить что-либо из московской жизни с пением дроздов в апреле?! Красота природы поразительна и ни с чем не сопоставима. Об усадебной жизни ее муж знал все, даже вкус червя ему был знаком. В детстве он удил рыбу в пруду и по ошибке вместо хлеба откусил червяка, запомнив его вкус навсегда.

Лев был убежден, что главным смыслом семейной жизни является конечно же любовь, эффект которой сравним, пожалуй, только с виртуозной игрой пианиста, который из «малого числа клавиш» создает полифоническую «стенограмму чувств». Музыка, обожаемая обоими, помогала преодолевать семейные ссоры. После ссоры Софья Андреевна всегда приходила мириться, целовала руки мужа, просила прощения. Он же только однажды сказал ей «прости». Их ссоры спровоцировал дневник Льва, который он дал прочесть своей юной жене. В этом дневнике Толстой с обескураживающей откровенностью поведал о своих сексуальных увлечениях, о своем страхе «загубеть» и уже не быть способным к семейной жизни, о которой он так мечтал. Соня же была целомудренной, без эротического опыта, без знаний тайн брачных отношений, а он — опытный мужчина с донжуанским списком. Соня заглянула в его прошлое, словно в бездну, и ужаснулась его «гадким» физическим проявлениям. Знакомство с прошлым мужа оказалось для нее тяжким испытанием. Впоследствии это аукнулось ее срывами, безумной ревностью, экзальтированными сценами, заканчивавшимися стрельбой из пугача.

А как реагировал муж на ее эскапады? Он пребывал в полном умилении от ее «невозможной чистоты и цельности», сознавал, что недостойн ее. «Вы узнаете мой почерк и мою подпись: кто я теперь?» — спрашивал Лев Николаевич фрейлину Александрин Толстую. И сам же

отвечал на свой вопрос: «Я муж и отец, довольный вполне своим положением». В этом гордом самоопределении чувствуется заслуга Софьи, женитьба на которой позволила ему обрести «умственный простор», способность к работе. Счастливый муж и отец, не имевший никаких тайн от жены, он чувствовал себя «писателем всеми силами своей души, и пишет и обдумывает, как еще никогда не писал и не обдумывал». Полюбив Соню, он теперь меньше был привязан не только к Александре Андреевне Толстой, но и к «школе — последней своей любовнице». «Поэзию любви, мысли и деятельность народную» он променял на «поэзию семейного очага, эгоизма ко всему, кроме своей семьи». Вместо прежних забот о школе, хозяйстве он получил иные хлопоты, связанные с детской присыпкой, варкой варенья, ворчанием жены, без чего невозможна семейная жизнь с ее гордым и тихим счастьем. Но покой в любви им обоим только снился. Эмоциональные состояния были так переменчивы! Прошел всего лишь год их совместной семейной жизни, а Лев уже сомневался в том, что Соня — «она», одна-единственная. А ведь совсем недавно ему казалось, что он «будто украл незаслуженное, незаконное, не ему назначенное счастье». Теперь же были сплошные разочарования. Их любовь, словно лунный свет, волшебный, зыбкий, переменчивый. Уникальная совместная жизнь творилась ими каждую секунду, непрерывно, не поддаваясь логике уподобления. В их супружестве было что-то почти роковое. И он был убежден, что для женитьбы, кроме любви и рассудка, необходимо присутствие судьбы.

В их любви было много скрытых ресурсов. Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастна по-своему. Эту мысль автор «Анны Карениной» почерпнул из собственной супружеской практики. Не поддаваясь никаким искушениям, Соня и Лев строили свой большой дом основательно, практично и вполне буржуазно.

«Слово “счастье” так мало создано для меня», — когда-то вскользь сказал Толстой. Это признание ассоциируется с онегинской максимой: «...но я не создан для блаженства». Велико совпадение слов и формул, выра-

1880

1880

Всего 1879 года.

2.	Купюра.	1880
4	5 Купюра монетная Паспорта	5
3	Банковская книга	2
4	2 Купюра проездная казенная	3
6	3 Море из воды	6
7	Купюра Паспорта	6
4	Книжка казенная	4
4	Книжка казенная	3
2	Книжка казенная	3
2	Книжка казенная	1
2	Книжка казенная	1
3	Книжка	3
2	Книжка	3
4	Книжка	3

1878

Вопросы 1877 года.

11	1/2 Кипарисов ананасов Кипарисов —	6 5
6	Березовый каменный —	3 1
111 8	Березовый каменный —	8 1/4
1	Березовый каменный —	1 1
12	Березовый каменный —	2 1 1
12	Березовый каменный —	2 1 1
13	Березовый каменный —	6 2
111 11	Березовый каменный —	8 1/4
14	Березовый каменный —	4 1 2
2	Березовый каменный —	1 1
12	Березовый каменный —	2 1
2	Березовый каменный —	1 1
12 1	Березовый каменный —	2 1 1
12 1	Березовый каменный —	2 1 1
113	Березовый каменный —	2 1
13	Березовый каменный —	2 1 1
11	Березовый каменный —	50
13	Березовый каменный —	

жающих страсть и в жизни, и в литературе. Искусство семейной жизни писателя, наверное, состояло в соблюдении тонкой грани между двумя реальностями — литературой и семейным бытом. Как известно, модными бывают не только одежда, но и характеры. Таким, вечно актуальным «демоническим» образом, а точнее, «вёрченой» девчонкой, как называл ее отец, была свояченица писателя Таня Берс, обольстительная, разбившая многие сердца, обладавшая, как говорили окружающие, «берсеином», шармом, которому, казалось, подвластно было все.

Травестийная история Лёвочки и Тани могла бы повесть о потаенной стороне личности Толстого, где человек особенно интересен. Ведь Толстой уникален еще и тем, что самое тайное, интимное становится явным благодаря его гениальным текстам. Волшебница Таня привносила особую живость и прелесть в яснополянскую действительность. Она старалась быть рядом с Лёвочкой, постоянно выезжала с ним на охоту, была очаровательной спутницей. Для Сони места часто не хватало в этих охотничьих приключениях: она ждала первенца. Осмысляя впоследствии в общем-то невинную влюбленность мужа в младшую сестру, она записала в дневнике: никому не доверять и близко не подпускать к своей семье. Эта полумифическая история позволила многим критикам отыскать самый главный недостаток в жизни молодого Толстого — отсутствие трагичности, возможность которой слегка просматривалась в его равнодушии к Тане, но была подавлена им. Будучи человеком сверхтворческим, он, безусловно, ощущал зов несбывшегося, и однажды, словно сожалев об упущенном, он описал это в своем шедевре, реализовав, таким образом, несбывшуюся историю в ирреальном мире.

Пожалуй, самое большое наслаждение Соня получала от соприкосновения с особым чувственным женским миром, наполненным различными мелочами: подушечками для иголок и булавок, которые были расшиты пестрыми яркими нитками, всевозможными вязаными штучками, хранящимися в корзинах для рукоделия, ларчиками с флакончиками для духов и одеко-

лонов, пилочками для ногтей, вязальными спицами в футлярах, салфеточками, чепчиками, бисерными браслетами, коробочками с детскими локонами и многим другим, что составляло его неповторимую реальность. Очарование женского мира помогало Софье Андреевне обрести полноценность, которой так не хватало, например, толстовской героине — Анне Карениной, немислимой без пахитосы, тонкой папиросы, изящно завернутой в кукурузный лист. Чувство дома, являвшееся врожденным для Сони и для толстовской героини Кити Левиной, не было свойственно их антиподам, Анне Карениной и Алексею Вронскому, не знавшим прелести семейной жизни.

Шкафчики, комоды, шифоньерки яснополянского дома по-прежнему заполнены всевозможными дамскими сумочками, тюлевыми капорами, креповыми наколками, выкройками и вышивками, всем тем, что составляло паутину быта Софьи Андреевны. Все это позволило ей состояться в качестве жены писателя. В ящиках стола лежат многочисленные детские рисунки, адресные книжки, визитницы, тетради для рисования, деловые печатки с надписью «Уплачено», очки и лорнет в бронзовой оправе с перламутровой ручкой, яснополянские гербарии, приходно-расходные книги, расписания завтраков и обедов — свидетельства делового стиля Софьи Андреевны, без которого ее вовсе невозможно представить, как и без прогулок с детской коляской в дубовом лесу Чепыж, где она стремилась защитить своих детей от «мух, людей и всякой нечистоты». Она — блистательный пример матери-наседки, для которой забота о детях являлась перво-степенной. Вскоре после свадьбы у нее «началась рвота» — «родила через девять месяцев и шесть дней, а потом, то кормление, то беременность, то переписывание того, что писал Лев Николаевич». Она была беременной в общей сложности 12 лет. В 1888 году, когда ей было 44 года, у нее родился Ванечка, тринадцатый по счету ребенок.

Первые роды начались преждевременно из-за ее падения на лестнице. Рождение первенца, которое, как ей казалось, должно было олицетворять новое сча-

стве, на самом деле сопровождалось сплошными сложностями, физическими и душевными. Няни не было, не оказалось под рукой и детского приданого. Недоношенного Сережу были вынуждены запеленать в то, что было под рукой, — в ночную Лёвочкину сорочку. Отец ни разу не взял ребенка на руки: он радовался рождению сына, но относился к нему с «робким недоумением». Софья Андреевна рано поняла, что семейное счастье не каждому по плечу. Поразительна ее способность одновременно быть «с ног до головы» женой писателя, «удовлетворением», «мебелью», переписчицей, издательницей, матерью тринадцати детей, бабушкой двадцати шести внуков и правнуков, рачительной хозяйкой усадьбы, нянькой таланта, христианской Пенелопой, автором повестей «Наташа», «Чья вина?». При этом она ухитрялась оставаться интересной женщиной, к которой многие мужчины были равнодушны. Чего стоит, например, поэтическая влюбленность Афанасия Фета?!

Супружеское благополучие никому не достается легко и просто. Подводя некий итог совместно прожитым годам, Толстой подметил, что у него могла бы поколебаться вера в Бога, если бы он не был убежден, что для каждой семьи характерна симметрия счастья и несчастья, распределенных поровну. В этом смысле толстовская семья была вполне обычной, похожей на другие. В ней также пропорционально сосуществовали радость и печаль. На протяжении 15 лет в яснополянской семье сохранялся некий баланс между обыденным благополучием и предельным напряжением, обеспечивающим мгновения счастья. Ради сохранения рутинного благополучия Лев Николаевич отказывался от претензий в достижении больших благ. В их совместной обыденности было все: жизнь, слава, счастье, потери и новая жизнь.

Вряд ли можно согласиться с бытовавшим мнением, что в умело свитом Софьей Андреевной гнезде отсутствовала семейственность, понимаемая как «живое, непрерывное общение детей и родителей, без которого невозможно представить настоящую семью». В Ясной Поляне не существовало непреодолимой оппозиции

между «отцами и детьми». Мелкие ссоры, эпизодические неприязни, возникавшие между отцом и сыновьями, вскоре забывались, оставляя место для добрых родительских и сыновних воспоминаний, которых было немало.

Софья Андреевна стала «хорошей женой, думавшей о муже, как о самой себе». В их любовном «урагане» бывало все: пылкость чувств, сменявшаяся разочарованием от мысли, что у них все, как у других. Оба боялись фальши в любовных отношениях, однако решение спать порознь расценивали как начало катастрофы. В таких случаях Софья Андреевна загадывала: любит — не любит, придет — не придет. Приходил. Их счастье оказалось плодотворным и было связано с достижением материальных благ — здоровья, богатства, которое было бы не нужно без нравственного спокойствия. Вне семьи, вне жены Лев Николаевич, по его собственному утверждению, смотрел на все, словно «мертвый». Не случайно женитьбу он поставил в один ряд с рождением и смертью. Многое ими обоими — Софьей и Львом — было положено на «семейную карту». Всего двух лет им не хватило для того, чтобы отпраздновать золотую свадьбу, когда муж и жена меняют старые кольца на новые. Своей семейной жизнью они доказали, что гений может быть «парным» существом, если сумеет подобрать себе достойную половину, такую, как Софья Андреевна. Холостяцкий образ жизни, проповедуемый Вергилием, Горацием, Боккаччо, Петраркой и многими другими, был блестяще опровергнут четой Толстых, которые смело вступили на семейный путь Овидия и Данте. И путь этот оказался наиболее счастливым и бессмертным.

«Когда б вы знали, из какого сора растут стихи...» Из пресловутого повседневного «сора», из пустяшных мелочей, неприглядных деталей быта вязалась, ткалась, лепилась жизнь Толстого. Важной вариацией на эту тему явилась не во всем романтическая семейная жизнь, сотворенная, как он говорил, из банальных вещей, из материала — «самого некрасивого — дети, которые мараются и кричат, жена, которая кормит». Метафизика любви была сведена к «дешевому необходимому счас-

тью», к обыденным житейским заботам, то есть к «пошлости жизни».

Семейная жизнь Толстого являлась непосредственным отражением его яркой личности, осмысление которой убеждает, что все дело в том, как относиться к этим житейским будням, позволять ли себе говорить о прожитом, бесценном времени, как о некоем пустяке, считать ли, что смысл — *«не в этом»!*

Тем не менее повседневная жизнь может многое поведать о великом человеке, не потеряв при этом своей бессознательной достоверности. Для упорядочивания хаотичной яснополянской повседневности требовалась жрица Природы, хранительница семейного очага, дарующая мир дому, которой и стала «неутомимая Sophie».

Глава 6

Тринадцать

Гений — чудо не случайное. Он — произведение всех предшествующих поколений. Он мог быть сохранен благодаря замечательной семье, одаривающей сочувствием, пониманием, дружбой, любовью, радостью. Нас интересует все, произошедшее в жизни великого человека, в том числе и его взаимоотношения с самыми близкими людьми, его детьми. Эти отношения отражают поиск истины в оппозиции отцов и детей. Всмотримся повнимательнее в эти не совсем простые связи. Каким был Лев Толстой в соприкосновении с миром детской души?

«Если бы мне дали выбирать: населить землю такими святыми, каких я только могу вообразить себе, но только чтобы не было детей, или такими людьми, как теперь, но с постоянно прибывающими детьми, я бы выбрал последнее...» — записал Толстой в своем дневнике. Таким, населенным детьми местом, стал его дом. Созидала, охраняла этот дом, «стояла на страже», Софья Андреевна, хозяйка усадьбы, из года в год старательно составлявшая семейную «ведомость приходов и расходов». Мать тринадцати детей, перенесшая смерть пяти

малышей, неутомимая помощница в литературных делах мужа, неизменная модель его героинь. Возводил ее в ранг истовой хранительницы очага толстовского дома взлелеянный ею микрокосм семьи. Дети знали, что днем отец «занимался» обычно в своем кабинете и ему нельзя мешать, и знали, что все теперь для них должна делать мамá: она заботится о том, чтобы всех накормить, она шьет им рубашки, штопает чулки, она мастерит с ними деревянные, обшитые разноцветными лоскутами «куколки» или кропотливо составляет гербарии яснополянской флоры, она и ругает, если промочены башмаки по утренней росе. Ее легкие шаги то тут, то там раздавались во всех комнатах большого дома, и везде она успевала все сделать, обо всем позаботиться.

И откуда им было знать в безмятежном детстве, что по ночам она часто просиживает по три-четыре часа над рукописями отца, что она восемь раз переписывала несколько глав «Войны и мира» и еще больше — «Азбуку», «Книгу для чтения», роман «Анна Каренина». Они были уверены, что мамá не может устать или быть не в духе. Ведь она жила «для Сережи», «для Тани», «для Илюши», «для Лели», для всех них, братьев и сестер, и другой жизни у нее не могло и не должно было быть. Так казалось детям этой необыкновенной женщины, жены самого сложного человека среди гениальных людей XIX столетия. И только став взрослыми, они поняли, какой уникальной она была матерью и женой. Они осознали, что «не ее вина, что из ее мужа впоследствии вырос великан, который поднялся на высоты, для обыкновенного смертного недостижимые» (И. Л. Толстой).

Ее роль в воспитании детей неоценима. И этому отдавали дань в своих воспоминаниях прежде всего сами дети. Но было бы большой ошибкой оказаться в плену некоего идеального представления о семье Толстых, в которой бытовали как будто бы раз и навсегда четко определенные функции родителей: мать вся в заботах о детях, а отец поглощен своей великой литературной работой. На самом деле все было значительно сложнее, и личность отца накладывала на формирование детского сознания неизгладимый отпечаток. «В детстве у нас... было совсем особенное отношение к отцу, иное, мне

кажется, чем в других семьях. Для нас его суждения были бесприкословны, его советы — обязательны. Мы думали, что он знает все наши мысли и чувства... Я плохо выдерживал взгляд его пытливых небольших стальных глаз, а когда он меня спрашивал о чем-нибудь... я не мог солгать. Мы не только любили его; он занимал очень большое место в нашей жизни... Мы всегда чувствовали его любовь к нам». Это откровенное признание принадлежит старшему сыну писателя Сергею, которого, как уже говорилось, отец «никогда не брал на руки». «Подойдет, посмотрит, позовет его — и только. «Фунт — вдруг назовет он сына, глядя на его продолговатый череп. Или скажет: Сергулевич, почмокает губами и уйдет» (С. А. Толстая).

Было бы трюизмом называть его взаимоотношения с собственными детьми гармоничными. Но нельзя, однако, не отметить одного: неповторимая личность и здесь творила удивительный мир, строившийся на *взаимопритяжении*. Вряд ли возможно размышлять о каких-либо концептуальных различиях в его взглядах на приемы воспитания до или после перелома в собственном мировоззрении. В целом здесь все оставалось стабильным, устоявшимся и строилось прежде всего на совмещении давних традиций рода с системой толстовской этики. Наверное, какой-либо стройной педагогической системы у Толстого и не существовало. «По-видимому, у него не было особой системы воспитания», — подтверждает Сергей Львович. В его отношении к детям все лучшее и ценное, что донес его род, традиции предков, было талантливо им интерпретировано и удачно соединилось с собственным взглядом на мир, этическими представлениями, что не могло не притягивать к нему детей. «В своей семейной жизни, — писал Илья Львович, — отец видел повторение жизни своих родителей, и в нас, детях, он хотел искать повторение себя и своих братьев». Это чрезвычайно любопытное замечание, если учесть, что детство и юность самого писателя протекали без родителей. Поэтому мощным воспитательным стимулом явился идеал того не постигнутого, непознанного, того, чего он сам был лишен судьбой.

Простота и правда отношений, отсутствие какого-либо поведенческого «маньеризма», амикошонства, стремление не оставлять в лени тело, приобретение знаний не через принуждение, а посредством логики познавательного интереса — вот что являлось главным аспектом воспитания по-толстовски. У него не было привычных ласк. Он не баловал своих детей ни поцелуями, ни подарками, ни нежными словами. Он жил не только во второй, художнической реальности, в мире мыслей и слов. Он жил и миром жены и детей, приходя в семью не только ради отдыха и развлечения, но и для того, чтобы заниматься с детьми.

Дети всегда ощущали его любовь и всегда понимали, как точно он оценивает их поведение. Он не любил дарить игрушки, поскольку считал, что чем больше их появляется в доме, тем бессодержательнее становятся детские игры. К тому же купленные игрушки, по его мнению, приучали к слепому следованию избитым образцам, убивали в ребенке стремление к креативности и изобретательности. Отсюда — постоянная увлеченность толстовских детей конструированием, которым руководила Софья Андреевна. Отец поручал старшим детям, которым было от шести до девяти лет, обучать крестьянских ребят грамоте. В яснополянском доме Сергей, Таня и Илья учили своих подопечных грамоте по так называемой ланкастеровской методике. Иногда уроки заканчивались заурядной дракой «учителя и ученика». Однако все менялось местами во внеурочное время. Тогда деревенские ребяташки становились, как правило, учителями. Любимым зимним развлечением было катание на скамейках по укатанной дороге, заканчивавшееся вываливанием в снег с визгом и хохотом.

Толстой как-то заметил, что «поэт лучшее в своей жизни отнимает у жизни и кладет в свое сочинение. Оттого сочинение его прекрасно, а жизнь дурна». Слишком ригористическое утверждение. На самом деле, толстовский аскетизм, даже некая внешняя суровость, с которыми писатель приучал детей к тем или иным делам, несли магию очарования. Для отца не существовало понятий «не могу» или «устал». «Плыви», — коротко бросал Толстой маленькому Сергею, отталкивая его во

время купания на середину пруда. Внимательно следил, подбадривал, но не помогал. И только тогда скупно похваливал, когда ребенок, нахлебавшись воды, с вытаращенными от страха глазами, наконец доплывал до берега. Илья Львович вспоминал, как отец обучал его верховой езде: «Бывало, едем верхом. Отец переводит лошадь на крупную рысь. Я стараюсь за ним поспеть. Чувствую, что теряю равновесие. С каждым толчком рыси сбиваюсь все больше и больше. Чувствую, что пропал. Надо лететь. Еще несколько бесполезных судорожных движений — и я на земле. Отец останавливается. “Не ушибся?” — “Нет”, — стараюсь отвечать твердым голосом. “Садись опять”. И опять той же крупной рысью он едет дальше, как будто ничего и не произошло».

Это было воспитание мужественности. И всевозможные ушибы, и страх перед опасностями, с которыми дети сталкивались в первый раз в своей жизни, или, наконец, его удивительные рассказы и шутливые истории только усиливали тягу детей к общению с отцом. И потому, вспоминал Сергей Львович, «в детстве наше первое удовольствие состояло в том, чтобы отец так или иначе занимался с нами, чтобы он взял нас с собой на прогулку, по хозяйству, на охоту или в какую-нибудь поездку, чтобы он нам что-нибудь рассказывал, делал с нами гимнастику и т.д.».

Физическому развитию тела Лев Николаевич придавал огромное значение и всячески поощрял детей в занятиях гимнастикой, плаванием, бегом. Постоянными и любимыми играми в семье были лапта и городки. Позже увлекались крокетом, лаун-теннисом, организованным перед партером яснополянского дома, в который играли и стар и млад.

Так же как в игре и в спорте, Толстой делал ставку на раскованность, высвобождение личностного начала в образовательных практиках. Крайне редко он прибегал к системе «казенного» гимназического обучения, отдавая предпочтение добротному организованному домашнему образованию. В Ясной Поляне активно использовалась и система гувернерства, бытовавшая в дворянских семьях. Но начало, основа познавательного процесса закладывалась непосредственно родителями.

Софья Андреевна обычно давала детям базовые уроки по русскому и французскому языкам, немного по истории и географии, игре на фортепиано, а Лев Николаевич учил математике, латинскому и греческим языкам. Обучал он и русскому языку, но не грамматике. Толстой в это время увлеченно работал над своей «Азбукой», по которой могли бы обучаться все дети — «от царских до мужицких», получая от нее поэтические впечатления. В это время он «жил в десяти лицах», изучая греческую, индийскую, арабскую литературу, естественные науки, такие как астрономия и физика, излагал все прочитанное и освоенное «красиво, коротко, просто и ясно», видя в этом уважение к ученику. В общем, работы могло ему хватить «на сто лет» и только после создания «Азбуки» «мог спокойно умереть».

«Азбуку» опробовал прежде всего на собственных детях. Заклеймив старые учебники, он предложил свой собственный вариант, составленный по американскому образцу. Толстой читал фрагменты «Азбуки» Тане, Сереже, Илюше, требуя от них свободного пересказа. Он критически оценивал свои преподавательские возможности, в особенности математические. Однако это не помешало ему считать себя хорошим толкователем математических смыслов. Он был убежден, что только то, что с трудом усвоено, может быть изложено ясно и понятно. И ко всему подходил творчески, будь то обучение детей счету или таблице умножения, которую заставлял выучивать наизусть исключительно до пяти, а от шести до девяти предлагал использование пальцев. Он вычитал из каждого множителя число пять, а остаток откладывал на загнутых пальцах обеих рук. Путем сложения загнутых пальцев получал десятки производных. Незагнутые пальцы перемножались и присоединялись к десяткам. Например, чтобы умножить семь на девять, следовало вычесть из каждого множителя пять и загнуть два пальца на одной руке и четыре на другой, что в сумме равнялось шести десяткам. Незагнутые пальцы один и три умножались и в результате получалось произведение, равное 63. В своих практиках Толстой прибегал к народным загадкам, рассчитанным на детскую сообразительность. Самой любимой была за-

дача о гусях: летела стая гусей, а навстречу им — гусь, насчитавший в стае сто гусей. Вожак сказал, что их не сто гусей, но было бы сто, если бы их было столько, да еще столько, да еще полстолько, да еще четверть столько, да ты с нами. Иносказание представляло собой уравнение $100 = X + X + X/2 + X/4 + 1$, где $X = 36$. Порой его занятия обретали не совсем корректный характер: Толстой не сдерживался и начинал кричать на незадачливого ученика. Однако быстро сознавал свою неправоту и просил сына останавливать его в момент гневливого состояния.

Старших детей родители стали учить читать и писать очень рано. Софья Андреевна вспоминала: «Оттого ли, что мы лучше и больше занимались старшими детьми, чем меньшими, но старшие — Сережа и Таня, — казалось, были самые способные и умные дети, учить их было очень радостно и легко; они сами просили, чтобы их поучить», и впоследствии могли обучать крестьянских ребятишек по методикам отца, четко проговаривая буквы: бе, ре и т.д. по звуковой системе. Что ж, обучая, учишься и сам.

Пытливые и сообразительные дети, как правило, сразу же подмечали различия в учительской манере каждого из родителей, находили свои «меркантильные» интересы и преимущества. С матерью можно было часто отвлекаться, глазеть в окно, задавать повторные вопросы или делать стеклянные глаза, словно ничего не понимая. А вот с отцом, как вспоминал Илья Львович, было совсем не то, «с ним надо было напрягать все свои силы и не развлекаться ни минутки. Он учил прекрасно, ясно и интересно, но, как и в верховой езде, он шел крупной рысью все время, и надо было за ним успевать во что бы то ни стало». Напряжение, темпы, которые задавал отец во время занятий, казалось, легко могли привести к традиционному конфликту между учителем и учеником. Толстой никогда не наказывал, но ему нельзя было солгать, потому что он сразу все поймет. Он знал все детские секреты. Никогда не бил, не ставил в угол, не драл за уши, и уж крайне редко раздражался или повышал голос. «Но я не помню, — отмечал Сергей Львович, — чтобы он при этом употреблял грубые слова». И тем не

менее по тем или иным признакам дети начинали понимать его отношение к ним. Он поправлял, делал замечания, намекал на недостатки, шуткой давал понять, что поведение за столом не ахти какое, и заодно рассказывал такой случай или анекдот, который содержал соответствующий смысл. Он, наконец, мог так пристально посмотреть в глаза, что взгляд этот действовал сильнее любого наказания. Наказание обычно выражалось в «немилости»: не обращает внимания, не возьмет с собой на прогулку или обронит остроумное словечко, шуткой дав понять, что кто-то из детей совсем не так себя ведет, как хотелось бы.

Он любил подойти сзади и закрыть руками глаза кому-нибудь из детей. Позволял залезать на себя, и дети с восторгом карабкались по нему, добираясь до плеч. Часто, проходя по анфиладе комнат, поддерживая ребенка и поднося его к старинным зеркалам, он перекувыркивал его вниз головой и быстро ставил на ноги. Все это происходило под счастливый детский крик: «И меня, и меня!»

На уроках Толстой редко позволял себе говорить обидные слова, но с занятий мог прогнать. Не выносил грубости и лжи по отношению к кому бы то ни было, особенно к матери и прислуге. Любимцы у него были временные: то один, то другой, постоянных не существовало. Впоследствии особенно ценил тех, кто разделял его взгляды.

Милый детский мир требовал большого внимания и любви. Так, зимой устраивали на пруду каток, на котором «весело катались» и родители, и дети, и гости. Толстой ловко делал на одной ноге круги и всякие замысловатые туры на коньках к удовольствию детей, которые проводили на катке два часа. Если лед покрывался снегом, то взрослые и дети брали лопаты и расчищали его для катания. В конце декабря Толстой ездил в Москву за подарками, привозил елочные игрушки, платья для детей. Он делал это «охотно и весело», «торжественно раскладывал вещи, дарил кое-что детям». Раз он привез маленькой Тане плетеную соломенную колясочку и фарфоровых кукол, которые запихал себе всюду: в рукава, в ворот блузы, за пазуху, за пояс. Он вынимал их

постепенно из этих укромных мест и отдавал Тане. При каждом появлении куколки из таких неожиданных мест был общий взрыв хохота, и Лев Николаевич, и все остальные были в абсолютном восторге. Так вспоминала об этом его жена.

Юмор, розыгрыши — без них не проходило ни дня. Возможно, это зародилось еще тогда, когда смех и шутки в яснополянский дом приносили на Рождество ряженые с их играми вокруг елки, с их безудержным весельем, в которое вовлекались и родители, и дети, и прислуга, и деревенские ребята, приглашенные на елку. Когда кто-то из детей острил и каламбурил, Толстой говорил: «Твои остроты вроде лотереи, когда вместо выигрыша выпадает пустой билет, называемый “аллегри”». При очевидно глупых шутках он обычно произносил «аллегри!», что означало «ничего не вышло!».

Толстой любил заниматься с детьми гимнастикой: выстраивал их в ряд, а сам становился перед ними. Дети один к одному повторяли за отцом его движения, сгибания и разгибания, махи ногами, приседания и наклоны. Он заставлял детей бегать, плавать, играть в лапту и городки, особенно поощрял верховую езду или бег наперегонки.

Тем не менее отцовский «невроз влияния» был слишком высоким, «излечиться» от которого было не так-то просто. Толстой занимал слишком большое место в жизни детей, подавляя порой их личности. В уникальной семье сложилось особое отношение к отцу, не похожее на другие семьи. Для детей суждения отца были беспрекословными, а советы считались обязательными. Им казалось, что он знает все их мысли и чувства, только что не произносит их вслух. Никто из них не выдерживал его «стального» взгляда. Он приучал своих сыновей и дочерей к тому, чтобы слова не расходились с делом, которое необходимо было выполнять качественно. Не случайно его любимым выражением, обращенным к детям, было «лучше ничего не делать, чем делать ничего». Когда кто-нибудь из детей «нечаянно» разбивал посуду, пачкал одежду, забывал выполнить родительское поручение, он непременно говорил: «Все надо делать хорошо или вообще совсем не делать».

Суть взаимоотношений детей и отца лучше всех сформулировала Татьяна Львовна: «Как я устала быть дочерью знаменитого отца». Эти слова могли повторить и остальные дети. Идеалом Софьи Андреевны по-прежнему оставалась мать, «имеющая 150 малышей, которые бы никогда не становились большими». А ее муж был убежден, что от его жены родятся «суета, обеды, завтраки, большие и малые дети, платья им на рост».

Толстой плохо понимал своих детей в возрасте двух-трех лет, но, тем не менее, мог в самом нежном периоде их развития обнаружить в них то, что впоследствии разовьется, станет главным, доминирующим. Его характеристики малолетних детей поражают пронизательностью и глубиной. Так, в старшем белокурое малыше Сереже он увидел нечто «слабое и терпеливое и очень кроткое». Смех ребенка не был заразительным, но «когда он плакал, с трудом можно было удержать его плач». Толстой подметил в нем материнский ум, чуткость к искусству. Сергей Львович полностью соответствовал этому описанию: он окончил физико-математический факультет Московского университета, прекрасно играл на фортепиано под руководством ближайших друзей П. И. Чайковского. Характеристика Илюши больше походила на предсказание: «Думает о том, о чем не велят думать. Аккуратен, бережлив, очень важно для него “мое”, горяч и нежен, чувствителен — любит поесть и полежать. Самобытен». Склонность к сибаритству не помешала Илье Львовичу развить «самобытность» в своих «Воспоминаниях» и стать, по выражению Ивана Бунина, самым талантливым из детей писателя. Дочка Таня напоминала своими врожденными материнскими инстинктами Софью Андреевну. Она с ранних лет мечтала «иметь детей», «возилась» со своими младшими братьями. Отец был уверен, что она «будет прекрасной женой». Характерными чертами Лели, Льва Львовича, Толстой считал «ловкость и грациозность». В «болезненной, очень умной и некрасивой» Маше он нашел «одну из загадок». Портреты своих детей отец адресовал Александре Андреевне Толстой, которая была убеждена в том, что из всех его детей выйдут достойные люди. Однако Лев Николаевич думал,

что все дети очень хороши, а когда подрастают, портятся.

Писатель очень тщательно подходил к поиску гувернеров для своих детей. Они должны были быть «совестливыми», хорошими людьми, гувернантка — с прекрасным знанием французского языка, гувернер — со знанием классических языков. Очень важным представлялось родителям, чтобы гувернантка была непременно англичанкой, «хорошо говорящей по-французски». Это было «большой редкостью, подобной синей птице счастья». Только фрейлина Александрин Толстая смогла разыскать 24-летнюю англичанку с «прекрасным характером», владеющую, кроме французского и английского языков, еще и немецким. Целое утро Александра Андреевна Толстая посвятила знакомству с молодой особой, которая ей чрезвычайно понравилась, она «испытала ее с напряженной чуткостью» и поняла, что та «проста, откровенна и сердечна», «по-французски говорит без акцента, но не без ошибок». Жалованье гувернерам выплачивалось «от 500 до 1000 каждому». Появился в Ясной Поляне и Перро, который оказался «очень милым» и вполне устроил Толстого. Экзаменовалась по знанию немецкого языка еще одна англичанка, которая до этого проживала в Германии и по-немецки говорила совершенно свободно. Учить детей всем наукам она не стала, но заниматься с ними языками согласилась. Она привыкла к русскому быту. С ней вряд ли подписывали письменные контракты прежние работодатели, но отзывались хорошо. Она, как писала А. А. Толстая, «сама собой станет членом вашего семейства и будет готова на все», у нее были приятная наружность и очень хорошее здоровье. Однако супругов Толстых не устроила молодость англичанки. «Жаль, что вы отвергли англичанку, — писала фрейлина Толстая, — ее не нахвалят люди, у которых она жила».

Тем не менее Толстой был убежден в том, что «образование не зависит от места. Много есть людей, которые учились и в Гёттингене и везде, но и тот, кто всю жизнь прожил где-нибудь в Телятинках, не хуже их. Один имел общение с профессорами — глупыми и ум-

ными, видел природу — словом, это одно и то же. Думать, что умственное развитие получишь где-нибудь там-то и там-то, это то же, что думать, что религиозное настроение можно получить только в церкви. Это большое заблуждение». Лев Николаевич привел в пример Епишку, которого описал в «Казаках» под именем Ерошки и назвал его образованным человеком, потому что тот знал, «как живут кабаны и фазаны, знал всю окружающую природу».

Уроки есть уроки. Появлялась усталость, и тогда на смену приходили смешные рассказы, шутки, неудержимое балагурство, прогулки, во время которых Толстой неожиданно предлагал привычное «наперегонки». А еще была «нумидийская конница». Дело совсем простое, но очень притягательное. Толстой вставал из-за стола и, весело помахивая правой рукой, бежал вокруг стола, а уставшие от занятий ученики, тоже по-боевому взмахивая рукой, бежали за ним. Почему это называлось «нумидийской конницей», никому, в том числе и самому ее «изобретателю», было неизвестно. Но эффект от этой «конницы» был очевидным. Поднималось настроение и с успехом можно было заниматься дальше. Хорошо она действовала и после ухода скучных гостей.

Безусловно, неотъемлемой частью образования, всего воспитательного процесса было чтение. Отбору книг для детей Лев Николаевич придавал огромное значение. Он советовал не спешить читать классику, считая, что, повзрослев, они лучше смогут прочувствовать ее, не утратив при этом живого интереса. Поэтому с творчеством Пушкина, Лермонтова, Гоголя дети знакомились довольно поздно. В то же время писатель не любил чисто «русской литературы». Он старался заинтересовать детей прежде всего теми книгами, которые были равно интересны, по его мнению, и взрослому, и ребенку. Так, в семье настольными оказались книги «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо, «Дон Кихот» Сервантеса, «Путешествие Гулливера» Свифта, «Отверженные» Гюго, книги Александра Дюма-отца, Жюль Верна, Диккенса. Из русской литературы Толстой советовал детям читать прозу Пушкина и Гоголя, «Записки охотника» Тургенева,

«Записки из Мертвого дома» Достоевского. Любопытно, что свои произведения, кроме рассказов из «Азбуки» и «Книги для чтения», он никогда не рекомендовал. Впрочем, за этим следила Софья Андреевна. Именно благодаря ей трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность», когда-то открывшая миру Толстого-писателя, оказалась и одной из любимых книг его собственных детей.

В семье сложилась традиция читать вслух. Обычно по вечерам собирались в зале яснополянского дома, и отец читал вслух Пушкина или Щедрина, Дюма или Жюль Верна, читал «Илиаду» и «Одиссею» Гомера или «Анабасис» Ксенофонта. Читал увлеченно, и дети вместе с отцом перевоплощались то в одного, то в другого героя. А когда оказалось, что в одной из книг Жюль Верна нет иллюстраций, Лев Николаевич каждый день стал рисовать иллюстрации к соответствующему фрагменту. Казалось, совсем безыскусные, но в контексте с характерным отцовским чтением, они вдруг оказывались куда интереснее профессиональных рисунков. Дети гурьбой окружали отца, когда тот, прерывая чтение, доставал очередной лист. Затаив дыхание, они рассматривали незамысловатый рисунок, погружавший их в таинственный мир непредсказуемых приключений героев великого фантаста.

Взрослых и детей спланировала еще и игра в «Почтовый ящик». На протяжении недели каждый опускал в ящик свои экспромты, рассказы, стихи. Всё в этих сочинениях было «на злобу дня», здесь раскрывались все секреты, причем в добродушной шутке доставалось и старому, и малому. А по воскресеньям семья собиралась у круглого стола в зале, ящик вскрывался и его содержимое зачитывалось вслух. Обычно это делал сам хозяин дома, а одновременно и автор идеи. Так все участники, включая приезжавших родственников, гостей, прислугу, узнавали вдруг, что «тетя Соня терпеть не может разливать чай» и «не любит приживалок и юродивых», а «тетя Таня (сестра Софьи Андреевны. — *Н. Н.*) их очень любит», узнавали и о том, «чем люди живы в Ясной Поляне», знакомились с шуточным «Скорбным листом душевнобольных яснополянского госпиталя», слышали, между прочим, что один из девизов Толстого —

«сжечь все, чему поклонялся — поклониться всему, что сжигал». Все это вызывало смех или раздумья, помогало каждому открыть себя, увидеть собственные недостатки. А родители незаметно достигали главной цели: воспитывая — развлекать и развлекая — воспитывать.

Уже позднее появилась традиция домашних спектаклей, и именно на «сцене» яснополянского зала впервые была сыграна толстовская пьеса «Плоды просвещения».

Лев Николаевич решил открыть новую школу и «написать *resume* всего того, что узнал о воспитании и чего никто не знал». Детей, считал он, «не обманешь, они умнее нас. Мы им хотим доказать, что мы разумны, а они этим вовсе не интересуются, а хотят знать, честны ли мы, правдивы ли, добры ли, сострадательны, есть ли у нас совесть». Вечерами на площадке под лестницей он читал с ними «Учение Христа для детей». Дети читали по очереди, а он показывал им рисунки в хрестоматии. Толстой был убежден, что гимназия детей развратит. Дома же они смогут выучиться всему, а, главное, родители смогут отвечать на вопросы, интересные самим детям. К тому же в гимназии «языки гадко учат». А все из-за того, что «наблюдатель школ вышел в 12 с четвертью и пришел в час без четверти». «Сколько за это время он выпил водки?» — спрашивал Лев Николаевич.

Интеллектуальное в толстовской семье было неотделимо от этического. В этом и состояла особенность воспитания по-отцовски. Мужество, борьба с малодушием в самом себе, стремление закреплять в себе сознание того, что совсем рядом находятся обездоленные, много обездоленных. Это были основные этические константы, на которых строились взаимоотношения писателя со своими детьми. Маленькие дети — Ванечка и Саша, чтобы сэкономить чай и сахар для нищих, пили чай вприкуску, а потом «вприлизку». Куски сахара были красными от крови: дети обдирали себе языки. Отец был в восторге: его дети невольно продемонстрировали самопожертвование, которое не совсем легко им доставалось.

Детям запомнилось, как вечером или ночью Лев Николаевич брал их за руки, и они бегали босиком из комнаты в комнату по всему дому, прятались, а отец страш-

ным голосом спрашивал: «Кто идет? Кто идет?» — и опять дети перебегали в другой угол, и все начиналось сначала. Он сажал детей в корзину для белья, накрывал пледом и ставил корзину в разных местах, например на окно за опущенную штору, и они не знали, где находятся. Он водил их в лес с зажмуренными глазами, а когда они открывали глаза, то должны были угадать, где находятся. Однажды вечером с Козловки возвращались Таня и Маша, и когда подошли к яснополянскому саду, услышали страшный рев. Девочки перепугались, бросились бежать со всех ног и успокоились только тогда, когда их догнал отец, сконфуженный неудавшейся шуткой. С маленькими детьми играл в «зайчики»: те открывали и захлопывали дверь шкапа, чтобы поймать «зайчика», «похлопав» по нему рукой.

Эти мелкие детали повседневной жизни писателя, эмпирические подробности его взаимоотношений с детьми расширяют горизонты нашего восприятия Толстого-семьянина.

Мучил ли Толстого вопрос: что будет с его детьми, когда его не станет? Он был убежден в том, что специально устраивать жизнь детей, как и вообще всех людей, невозможно, потому что никому не дано дара предвидения. Никто не может знать, что будет с его детьми, когда они вырастут. Так, писатель очень боялся дожить до времени, когда его дочери станут невестами. Он испытывал чувство страха перед их замужеством, которое было для него «жертвоприношением, заклинанием какого-то страшного и циничного божества». Он зорко следил за ухажерами Тани, Маши и Саши, ревновал к ним, мечтал о достойных партиях для дочерей. Своя семья казалась ему «страшно благополучной» — «все дети живы, здоровы, уверен почти, умны, неиспорченны» и, конечно, образованны, поскольку родители не жалели средств на обучение своих детей и, чаще других чувств, испытывали чувство удовлетворения от общения с ними. Правда, иногда случалось так, что слова отца «тонули в заурядной болтовне его жены, детей», которые «словно и знать не хотели, что их отец, Л. Н. Толстой — неоценимый писатель, честь и слава Русской земли». И что только благодаря его гениально-

сти яснополянская повседневность превращалась в великое искусство.

Все дети, по мнению Толстого, свежи, от Бога приходят, потом понемногу портятся, а потом, как и все, исправляются. Они живут сперва животной жизнью, потом для славы людской, чтобы удивлять всех — няню, братьев, гувернеров, потом, чтобы вызвать одобрение со стороны тех, кого уважают, потом тех, кто им кажется добрым, и, наконец, начинают жить не для славы людской, а для Бога. В детстве слово «неженка» было для детей самым обидным прозвищем. «Больше всего он был недоволен нами за ложь и грубость с кем бы то ни было — с матерью, воспитателями или прислугой», — вспоминал Сергей Львович. Писатель пытался вытравить развращающее сознание «барства», присущее дворянской среде, воспитать в детях чувство самоценности жизни и необходимости трудолюбия. Характерен один случай, который Толстой не преминул превратить в поучительный урок. Как-то старушка Пелагея Ильинична, тетка писателя, поправляя лампу, взялась за горячее стекло и обожгла пальцы до волдырей, но стекло не бросила, а осторожно поставила лампу на стол. По этому поводу Лев Николаевич сказал одному из сыновей: «Вот удивительная выдержка. Ведь тетенька имела право бросить стекло на пол; стекло стоит пять копеек, а тетенька, хотя бы даже своим вязанием, зарабатывает каждый день в пять раз больше, — и то она этого не сделала. Вся обожглась, а не бросила. А ты бы бросил». Но тут же последовала обескураживающе честная и воспитующая самооценка: «Да и я, пожалуй, бросил бы».

Этическая составляющая в воспитании детей Толстых была основополагающей. Настойчиво проводилась простая, но очень важная идея: гуманистически образованный человек должен помнить о своем долге — расширять вокруг себя границы просветительства и милосердия, причем без какого-то налета сентиментальной абстрактной идеи «пострадать за народ». Получая запас знаний, дети писателя были обязаны ими делиться. Как уже говорилось, в усадьбу приходили крестьянские ребяташки, обучались азбуке, чтению, письму у своих сверстников, живших в «графском до-

ме». А став взрослыми, дочери писателя организовали вместе с отцом школы для крестьянских детей в соседних деревнях. В фельдшерский пункт, устроенный дочерью Машей в усадебном павильоне, приходили больные крестьяне из Ясной Поляны и окрестных деревень. Мария Львовна не только лечила их, но откликалась на любой их зов. И однажды, при тушении пожара в крестьянской избе, она надорвалась, после чего начались ее частые болезни, которые и привели в итоге к преждевременной смерти... Пожалуй, более всего нравственное единение всей семьи проявилось в важной социальной акции, которой явилась подвижническая толстовская кампания по борьбе с голодом, охватившим среднерусские деревни в 1890-е годы. Десятки столовых, организованных для голодающих, хлеб, одежда, дрова, врачебная помощь... Душой этого большого, нужного бедному люду дела были Толстой и его дети. Переписывались, слали телеграммы и записки друг другу, оказываясь то в одной, то в другой голодающей деревне, сыновья Сергей и Лев, дочери Татьяна и Мария. И, может быть, никогда больше сам писатель не был так близок к своему давнему идеалу «муравейных братьев», объединенных подвижнической любовью к людям и миру.

Важно было воспитать у детей чувство жизненных реальностей, сознание неизбежной «переоценки ценностей», готовность к любым трудным ситуациям. Любопытна в этом отношении дневниковая запись восемнадцатилетней Татьяны Толстой от 29 мая 1882 года: «Папá мне нынче объяснил, почему я нравлюсь: это моя деревенская дикость, детская неуклюжесть, наивность, которая нравится, а мамá говорит, что “Блажен, кто смолodu был молод, блажен, кто вовремя созрел”. Как же мне теперь созреть? Вот вопрос. И папá говорит, что к 25 годам эта дикость будет смешна. Авось это само сделается, что я вовремя созрею». Вовремя, как мы поняли выше, «сделалось». Самоотверженное участие Татьяны Львовны под руководством отца в борьбе с голодом — яркое тому подтверждение.

Бывали и сложные случаи в воспитании детей. Казалось, очень жаль было малыша, но нужно было про-

явить твердость характера. И тогда отец не отходил от принципа, даже если это был «Ваничка», как любовно называли самого младшего сына, последнего ребенка Толстых. Трехлетний Ванечка однажды принялся кормить баранками охотничью собаку. Отец, увидев это, велел вернуть баранки. Но малыш не отдавал их. Когда же пришлось насильно вернуть их, ребенок заплакал. Наконец Толстой убедил его в том, что можно давать собаке то, «чего не жалко». Ванечка успокоился, а заодно уяснил извечную ценность хлеба для человека.

С последним сыном Толстых связана особая, трагическая глава в жизни семьи. По свидетельству многих современников писателя, Ванечка был удивительным ребенком. Старейший Толстой надеялся, что именно его младший сын когда-нибудь продолжит начатое им «дело добра». Поразительно чуткий, с пытливыми глазами, мальчик был, по утверждению А. Г. Достоевской, «богато одаренным существом с нежным отзывчивым сердцем». А журналист Меньшиков, побывавший у Толстых и видевший Ванечку, позднее сказал, что малыш или рано умрет, или окажется гениальнее своего отца. Всем запомнился такой случай: после формального раздела толстовского имения в 1892 году значительная его часть по старой традиции отошла Ване, как самому младшему среди братьев. Софья Андреевна сказала ему, что теперь все это его, Ванекино, на что мальчик возразил: «Нет, не мое — всехнее». Он часто болел и умер в семь лет. Смерть Ванечки так потрясла 67-летнего отца, что через несколько дней после этой трагедии он оставил в своем дневнике поразительной силы запись: «Жить надо всегда так, как будто рядом в комнате умирает любимый ребенок. Он и умирает всегда, всегда умираю и я».

Но жизнь продолжалась, старшие дети выросли, покидали родное гнездо. Однако навсегда сохранили память о своих уникальных родителях — о главном человеке в доме — маме, от которой зависит все: обеды, прогулки, шитье рубашек, кормление грудью очередного младенца, о гениальном отце-писателе, который «умнее всех людей на свете», с ним нельзя капризничать. Они запомнили все мельчайшие подробности его по-

ведения: как он сидел за обеденным столом, непременно напротив мамы, ел суп или кашу круглой серебряной ложкой, выпив перед этим чарочку водки, как он постоянно опаздывал к трапезам, как он любил стоять на пороге у двери в гостиную, засунув одну руку за кожаный пояс, а в другой руке у него был серебряный подстаканник с чаем, успевавшим остыть за время его оживленного общения с ними. Став отцами и матерями, они играли со своими детьми в те же игры своего детства — лошадки, солдатики, куклы, прятки, пробовали иллюстрировать прочитанные книжки, не забывая отцовские рисунки, написанные пером, особенно его буддийскую богиню с множеством голов и змеями вместо рук. Дети унаследовали родительскую любовь и продолжили семейные традиции в собственных семьях. Секретарь писателя В. Ф. Булгаков, вспоминая о взаимоотношениях Толстого с внуками, тонко отмечал, что доброе влияние на них гениального деда осуществлялось неприметно, «без какого бы то ни было оттенка скучного для детей назойливого наставнического духа». И «никто, как Толстой, не обладал в такой степени способностью входить в детские интересы, общаться с детьми, что называется, на “равных правах” и создавать сразу дружеские, товарищеские отношения».

Однажды за обедом внука Толстого, дочь Татьяны Львовны, Танечка, сидела рядом с дедушкой. «Кушать сладкое, — вспоминал В. Ф. Булгаков, — они уговорились с одной тарелки, — “старенький да маленький”, как выразилась тут же Софья Андреевна. Но, когда Танечка, из опасения остаться в проигрыше, стремительно принялась работать ложечкой, Лев Николаевич запротестовал и шутя потребовал разделения кушанья на две равные части, что и было сделано. Когда же он кончил свою часть, “Татьяна Татьяновна” заметила философически: “А старенький-то скорее маленького кончил!” А Лев Николаевич довольно усмехнулся: так или иначе, у внуки появилось представление, что не она одна существует на свете, и что надо считаться с интересами и других людей». И конечно же все это сопровождалось юмором, шуткой: однажды, когда они с внучкой опять ели из одной тарелки, писатель обронил: «Когда-ни-

будь, в тысяча девятьсот семьдесят пятом году Татьяна Михайловна будет говорить: «Вы помните, давно был Толстой? Так я с ним обедала из одной тарелки!» Танечка, как и другие внучки и внуки, очень любила своих замечательных дедушку и бабушку.

В старости отягощенному драмой писателю дети, многочисленные внуки, часто гостившие в Ясной Поляне, доставляли особую радость, и он не раз в эти годы повторял слова о том, как ужасен был бы мир, если бы в нем не рождались постоянно дети, несущие с собой невинность и возможность человеческого совершенства.

У детей Толстого сложились непростые судьбы. И было бы ошибкой отделять их судьбы от «окаянного» времени, которое переживала Россия. С другой стороны, еще живуче расхожее и неверное представление о том, что между отцом и его взрослыми детьми существовали якобы непримиримые онтологические отношения. Действительно, порой Толстой обижался на сыновей: «Кроме сына Миши все сыновья имеют ко мне дурное чувство зависти», а Лев Львович, прозванный им в шутку «Тигром Тигровичем», «испытывал к нему *jalousie de métier* (профессиональную зависть. — *Н. Н.*)», а другие сыновья «украшали свое ничтожество его именем». Но все это проговаривалось писателем в недобрую минуту. Он конечно же видел в своих детях замечательных людей, которые даже в своем «русопятстве» были ему близкими и дорогими.

Поражает удивительная «прозрачность» во взаимоотношениях отца и детей: они проговаривали все в присутствии гостей, никогда «не прячась», с удивительной откровенностью и доверием ко всем, являющимися свидетелями их бесед. Несмотря на разногласия с детьми, Толстой был деликатен, терпим к любому мнению своих отпрысков, не было в этом никакой искусственности или жеманства. Сыновья и дочери не могли не оценить отцовского благородства и впоследствии внесли свой неоценимый вклад в дело сохранения памяти о гении. Они оставили свои воспоминания и дневники. Дочери Александра и Татьяна, считавшиеся наиболее «отцовскими» детьми, стояли у истоков музея, при-

ложив огромные усилия для его создания. Выдающимся хранителем музейной Ясной Поляны стала С. А. Толстая-Есенина, дело которой с успехом продолжает Владимир Толстой. Словом, у судеб и дел потомков писателя своя достойная история.

Глава 7

«Последняя любовница»

В Ясной Поляне со времен сиятельного князя особо ценились «умственные занятия», всячески поддерживаемые впоследствии его великим внуком. Интерес к просветительским проблемам, связанным с поиском добра, истины, красоты, был стабильным, составляя важнейшую часть философии жизни. Звание дворянина ассоциировалось в усадьбе с должностью воспитателя крестьян. В этом состояло «самое священное, святое дело, о котором следовало говорить серьезно».

Первая попытка Толстого заняться «святым делом» относится к лету 1849 года. Об этом времени сохранились интересные воспоминания одного из учеников первой толстовской школы Ермила Базыкина, записанные Алексеем Сергеевко: «Граф с малолетства и до последнего времени интересовался народ обучать. Когда Лев Николаевич был лет 20 от роду, он открыл в 1849 году школу, которая помещалась в старом, огромном и пустом доме. Толстой продал этот дом на своз, когда проиграл 5 тысяч рублей в карты. В доме было около сорока комнат. Здесь Лев Николаевич родился... Нас, мальчиков, было человек двадцать, учителем был не сам Лев Николаевич, а Фока Демидыч, дворовый человек. При отце Льва Николаевича должность музыканта он исправлял. Старик ничего, хороший был. Учил он нас азбуке, счету, священной истории. Захаживал к нам и Лев Николаевич, тоже с нами занимался, показывал грамоту. Ходил через день или два, а то и каждый день. Помню, мы писали на досках мелом, а он смотрел, кто из нас лучше пишет. Любил он с нами в перемену возить-ся. Был у нас через пруд плот на веревке. Вот, бывало, с

ним сядем и потащим. На середку выедем, он скажет: “Ну, кто грязи достанет?” — “Попробовали бы вы сперва, вассиательство”. Он и пробует. Нырнет в воду, потом вынырнет и держит в руке грязь. “Ну, я достал, теперь вы”. Были дворовые ребята Илья и Митрофан. Они тоже, бывало, нырнут и достанут грязь. Ну, а которые и не могут. Да мало ли он чудил. Всего не припомнишь. Обходился он с нами хорошо, просто. Нам было с ним весело, интересно, а учителю он завсегда приказывал нас не обижать. Он и об ту пору был простой, обходительный. Проучился я у него зимы две. Потом школу из большого дома перевели в “Кузминский дом”.

Этот флигель был левой частью большого яснополянского ансамбля, возведенного дедом писателя, Н. С. Волконским. С этой постройкой было связано самое «прелестное», «поэтическое» дело жизни Толстого — его школа для яснополянских детей. После шумной и бурной столичной жизни, упоения и наслаждения литературными беседами писатель стремился к уединению, к усадебной гармонии.

Всю свою долгую жизнь Толстой очень ответственно относился к своему педагогическому опыту, охарактеризовав его как вид «вечной деятельности», спасавшей его от всяческих искушений, сомнений, тревог в его жизни. Сохранился яркий рассказ другого ученика толстовской школы крестьянина В. С. Морозова: «В 1859 году ранней осенью нам оповестили по деревне Ясная Поляна о желании Льва Николаевича — “граха”, как мы тогда его называли, — открыть школу в Ясной Поляне и о том, чтобы желающие дети приходили учиться, что школа открывается бесплатная. Я помню, какая была суматоха. На деревне начались сходки, начались разные толки, суждения.

— Как? Почему? Не обман ли какой?

Машина не махонькая — учить бесплатно. Их, пожалуй, наберется пятьдесят ребят, а то и больше.

А некоторые родители даже утверждали, что если отдать своих ребят учиться, так “грах” обучит и отдаст их царю в солдаты. И они как раз попадут под турку. “Так он через наших ребят хочет выхвалиться перед царем”. А некоторые говорили умно: “Что было, то ви-

дели, а что будет, то увидим, а учить отдавать ребят надо, благо человек берется бесплатно, а то вот Иван Фоканов ходит третью зиму к дьячку, а ничего не выучил, а за плату два рубля в месяц”. — “И вы, как хотите, а я pošлю своего”, — сказал один, за ним другой, третий, помылись некоторые, согласились и все: “И я, и я своего”.

Дело оставили до вторника, как легкий день. Во вторник я встал рано, прильнул к окну, рассматривая улицу: не собираются ли ребята, не идут ли? На улице кучек ребят нет, только видно из хаты в хату перебегают товарищи. Вижу, то Данилка к Семке, то Семка к Игнатке, то Тараска к Никишке. Все уже приготовились: рубашки белые, чистенькие, лапти новые, головы промаслены деревянным маслом или коровьим, у кого какое было. Вот мелькнул мимо нашего окна Кирюшка и влетел к нам в хату второпях.

— Где же Васька? Ты что же не собираешься?

Я как бы от радости стал на дыбки перед Кирюшкой, смотрю на него. Он во всем уборе, и голова жирно намаслена.

— Кирюш, — говорю, — мне обуться не во что, лаптей нет.

— У меня, — говорит, — у самого пятка прохудилась. А я пойду. Что же барин на ноги, что ли, смотреть будет? Была бы голова в порядке.

И нырнул опять из хаты, даже дверь не затворил, только крикнул мне:

— Я готов, только кафтан найду.

— У, проваленный чертенюк, дверь расхлобучил, — прозудела мачеха.

Бог послал, скоро собрался и я. Заботливая моя сестра давно уже приготовила мне свои лапти и свой кафтан для меня, хотя и не в меру: лапти велики и кафтан длинен, потому что я из себя был худенький, тоненький, как лутошка. Но все-таки собрался: кафтан подтянул, рукава подвернул, голову промаслил квасом — масла не было. На проулок стали собираться ребята, некоторых их отцы и матери провожали, каждый своего. Шествие тронулось, и я позади всех, провожаемый своей сестрой. Через несколько минут мы стояли перед барским домом. Шушукуются ребята между собой. Родители

учат: “Как выйдет грах, надо поклониться и сказать: здоровья желаю, васятельство”.

Я стоял, как собачий объедок, чувствуя, что я хуже всех одет, даже меньше всех ростом, беднее всех и сирота. Мне мерещилось: “Ну-ка меня прогонят. Опять ма-чеха будет изъедать. Опять сестра будет плакать. А как тут хорошо! Я ведь никогда не был, не видел дома тако-го. Ух, какие окна-то большие, как наши ворота, с телегой проедешь! А кругом деревья, сады, и у крыльца песочком посыпано. А кто будет учить нас? Грах? Я его никогда не видел. Хорош он или нет? Не прогнал бы”. С такой робостью, стоя перед домом, я думал о себе. Не знаю, как мои товарищи, но я думал, что я хуже всех.

Вот решение судьбы: слышался сверху, где-то по лестнице, голос мужественный, но и как бы ласковый.

— Давно пришли?

— Давно уже.

— Почему ты мне раньше не сказал?

— Они еще собираются, — оправдывал себя кто-то, похоже, как его слуга.

Одна секунда, и на крыльце появился человек, “грах”, наш учитель. Все обнажили головы и низко поклонились. Я с замиранием сердца ухватился за сестру, держась ее сзади, и стоял за ней, как за маленькой крепостью.

— Здравствуйте! Вы привели своих детей? — обратился Лев Николаевич к родителям.

— Так точно, васятельство, — отвечали старшие с поклоном.

— Ну вот, я очень рад, — сказал он, улыбаясь и осматривая всех. И он быстро пронизал глазами толпу, отыскивая маленьких, что спрятались за отца или мать. Он вошел в середину толпы и начал спрашивать первого мальчика:

— Ты хочешь учиться?

— Хочу.

— Как тебя звать?

— Данилка.

— А фамилия твоя?

— Козлов.

— Ну вот, мы будем учиться. — И он начал обращаться к каждому мальчику:

- Тебя как звать?
- Игнатка Макаров.
- Тебя?
- Тараска Фоканов.

Поворачиваясь в другую сторону, Лев Николаевич наткнулся на мою сестру.

— Ты что, учиться пришла? Будешь учиться? И девочки приходят. Все будем учиться.

— Нет, я не учиться пришла, я вот... — слезливо, застенчиво недоговорила сестра.

Очередь дошла до меня.

— Ты что, учиться хочешь?

И глаз на глаз я стоял перед учителем, тряся, как осиновый лист.

— Хочу, — ответил я ему робко.

— Как тебя звать?

— Васька.

— А фамилию знаешь свою? — спросил он, и мне показалось, он смотрит на меня, как на заморуха.

— Знаю.

— Скажи.

— Морозов.

— Ну, я тебя помнить буду. Морозов Васька-кот. — И улыбнулся, и лицо его показалось мне одобрительным. Мы будто как виделись когда-то с ним раньше.

— Ну, Морозов, пойдем! Макаров, Козлов, идите все за мной. А вы идите с Богом домой. Я им покажу школу. Присылайте еще детей. И девочки пусть приходят. Мы все будем учиться.

...На другое утро мы как бы по сигналу собрались дружно и пошли такими же убранными, как вчера, но беседа у нас не вязалась. Каждый думал за себя: "Как-то будет мне учеба?" У дома мы не дожидались. К нам вышел слуга Льва Николаевича, Алексей Степанович, и спросил:

— Все пришли?

— Все.

— Идите в школу, граф скоро к вам выйдет.

Мы потянулись лентой по лестнице и взошли в знакомую комнату, прошли в другую, где были черные доски и где еще не были смараны вчерашние буквы. Мы свернулись клубочком, тесно стояли около черной дос-



Лев Николаевич Толстой идет по аллее «Прешпект».
Фотография А. Л. Толстой. Ясная Поляна, 1903 г.



Дом Л. Н. Толстого в Ясной Поляне.
Фотография «Шерер, Набгольц и К^о». 1892 г.

Никольская церковь в Кочаках.
На прилегающем к ней кладбище находятся могилы Толстых.





Софья Андреевна Берс — невеста.
Фотография М. Б. Тулинова. 1862 г.

Лев Николаевич Толстой — жених.
Фотография М. Б. Тулинова. 1862 г.

Венчальные свечи С. А. и Л. Н. Толстых,
флердоранжевый венок и перчатки свадебного убора Софьи Андреевны.





Дети С. А. и Л. Н. Толстых. Слева направо: Илюша, Лёва, Таня и Сережа. Фотография Ф. И. Ходасевича. Тула, 1870 г.

Ванечка Толстой.
*Фотография «Шерер,
Набгольц и К^о». 1894 г.*



Комната Софьи Андреевны.





Часы
Л. Н. Толстого.

Рояль
и старинное
вольтеровское
кресло в зале
яснополянского
дома.



Масонский перстень
отца Л. Н. Толстого,
Николая Ильича.



Золотой перстень с бриллиантами
и рубином — подарок
Льва Николаевича жене
в благодарность за переписку
романа «Анна Каренина».
В семье Толстых
перстень получил название
«Анна Каренина».

Чернильный прибор отца
Л. Н. Толстого. Писатель
пользовался им, когда работал
над романом «Война и мир».





Боевые награды Л. Н. Толстого:
знак ордена Святой Анны 4-й степени,
медаль на георгиевской ленте
«За защиту Севастополя» и медаль
«В память войны 1853—1856 гг.».

Шашка, подаренная
Льву Николаевичу Толстому
его кунаком чеченцем
Садо Мисербиевым.



Татьяна Андреевна Кузминская.
Фотография «Мейер и Пирсон».
Париж, 1867 г.



Александра Андреевна Толстая.
Фотография 1860-х гг.

Сергей, Николай, Дмитрий и Лев Толстые. Фотография 1854 г.





Комната
под сводами.

Аллея
«Прешпект»
в усадьбе
Ясная
Поляна.
Фотография
«Шерер,
Набгольц
и Ко». 1892 г.





Деревня Ясная Поляна. Фотография «Шерер, Набгольц и К^о». 1892 г.

Деревня Ясная Поляна. Фотография В. Г. Черткова. 1908 или 1909 г.





Крестьянские дети у крыльца сельской школы.
Ясная Поляна, вторая половина XIX в.

Черновые наброски и рисунки Толстого к «Азбуке» на страницах его записной книжки 1871—1872 годов. Учебники, написанные Толстым.





Флигель, в котором размещалась школа Толстого в 1859—1862 годах.
 Фотография С. А. Толстой. Ясная Поляна, 1890-е гг.

Школьные счеты, журнал «Ясная Поляна», приложение к журналу с детскими сочинениями и рисунком одного из учеников.





Афанасий Афанасьевич Фет.



Иван Сергеевич Тургенев.

Михаил Никифорович Катков.



Николай Николаевич Страхов.





Л. Н. Толстой в кругу семьи и гостей. *Ясная Поляна, 1887 г.*

Мария и Александра Толстые с крестьянками Авдотьей Бугровой и Матреной Комаровой и крестьянскими детьми. *Ясная Поляна, 1896 г.*





Лев Николаевич и Софья Андреевна. Ясная Поляна, 1895 г.

ки, посматривая на буквы. Тишина была мертвая, никто не шептался между собой, каждый думал, что Бог даст. Вдруг издали звонко, весело раздалось: “А, Б, В, Г, Д”. И частые шаги послышались по первой комнате. И к нам вошел вчерашний знакомый, наш учитель, дюжий, черный.

— Здравствуйте!

— Здравия желаем, васятельство, — ответили редкие голоса, те, которых родители раньше научили, как вести себя.

— Все пришли?

— Все, — робкими голосами отвечали на вопрос его каждый за себя.

— Как все? А что же я не вижу кесаря Морозова?

Я стоял в кучке товарищей, сжатый, как спичка. Фронт развернулся, попятиться в стороны, и я оказался на виду. Весело улыбающиеся глаза его глядели на меня.

— И Шураев пришел?

— Присол. — Этот Шураев был более всех ростом и старше всех, 17 лет, сюсюка.

— Ну, теперь будем заниматься, начнем учиться.

Он взял мелок и написал все остальные буквы.

— Ну, теперь говорите за мной.

Затем взял палочку, которая служила указкой, и воткнул указкой в первую букву.

— Ну, говорите за мной: а, бе, ве.

Переводя указку на другие буквы: ге, де, же, сделал запятую, поворачивая опять к первой букве.

— Это — а, бе...

И так далее до отметки.

Мы тянули нараспев за ним, поначалу потихоньку, без голоса, но дальше усвоили голоса, громче и громче твердили за ним. Каждому хотелось, чтобы и его голос был бы слышен, и мы до того распелись, что потеряли все приличие, — сперва боялись даже взглянуть “на гра-ха”, а то так разошлись, что его стеснили и несколько раз держались за его блузу.

— Вот и прекрасно. Кто может повторить? Я буду спрашивать, — сказал Лев Николаевич, тыкая в первую букву указкой. — Это что?

У нас вышло замешательство, хотя знали и запомни-

ли первую букву, но что-то оторвалось, будто боялись своего голоса.

— Вы забыли? Кто скажет, кто помнит? — и свой взгляд он перевел на доску. Он понял, что мешает нашему ответу. В этот момент я пропищал как бы не своим голосом, а будто чьим-то чужим, скороговоркой:

— А.

За мною дружно потянули все.

— Так, хорошо. Дальше. Это что?

Опять заминка. Я опять тявкнул, но неправильно.

— Би.

За мною слышались голоса:

— Бе.

Я, как выскочка изо всех, за свою ошибку почувствовал стыд. От зоркого глаза мой стыд не ускользнул. И вот мне уже представилось наказание, как слышал раньше, линейкой наказывали дьячки или учили отставные солдаты.

— Так, так, это хорошо! Кто сказал первый? — полусерьезно, с милой улыбкой, смотря на меня, спрашивал Лев Николаевич.

Я не отвечал, робел. Кто-то из толпы выдал меня, кажись, Кирюшка.

— Морозов, ты как сказал? Прекрасно, хорошо. Ну а за буквой бе, как называется?

Опять столбняк. Все молчали. Буква казалась мудреной.

— Ну, кто скажет? Морозов, ты помнишь?

Я молчал, боясь промаху.

— Ну, кто?

Все смотрели на букву молчком, никто не отвечал, все забыли.

— А кто знает, чем воду таскают из колодца?

— Ведром, — сказал Игнатка.

— А буква какая?

У нас будто на язык память пала. Мы дружно отвечали:

— Ве-э! — И так дальше мы твердили. Если нам не удавалось, он намекал на какой-нибудь предмет, например, железо, мы отвечали — же.

Прошла в учении неделя, за ней другая, скользнул ме-

сяц. Незаметно кончилась осень. Наступила зима. Мы успели ознакомиться хорошо со стенами школы, успели привыкнуть душою ко Льву Николаевичу. Однажды Лев Николаевич сказал нам: “Не называйте меня ‘ваше сиятельство’. Меня зовут Лев Николаевич, так и зовите меня”. И мы уж после того никогда не говорили ему “вашество”.

Не прошло и трех месяцев, а ученье у нас разгорелось вовсю. В три месяца мы уже бойко читали, а из 22 человек у нас собралось до 70 учеников. Были городские мещане, были дети лавочников, крестьяне и церковники. Вся группа была разделена у нас на три класса: старший, средний и младший. Старший класс у нас считался первым по лучшим ученикам, я значился в списке старшего класса. В старшем классе у нас было не более 10 учеников, остальные были ученики 2-го и 3-го. Все 70 учеников осаждали Льва Николаевича. Кто подходит с вопросом, кто подносит тетрадку.

— Лев Николаевич, так я пишу? — спрашивал один.

Он просматривает.

— Это так, это хорошо. Только здесь пропустил, а то все хорошо. Не торопись.

— А я так написал? — сует другой и третий, и весь класс.

Он просматривает серьезно, любезно одобряет и места делает замечания...»

Школа «в лаптях» стала огромным событием как для крестьянской детворы, так и для народного учителя, стремившегося не разработать специальную педагогическую программу, а добиться практических результатов. Пафос его воспитательной системы сводился к тому, чтобы «научить молодежь быть честной». Параллельно формировалось практическое поведение, проявляемое в умении посадить дерево, сплести лапти, написать сочинение на тему «Ложкой кормит, стеблем глаз колет». Необходимость такой школы была очевидна: она прежде всего помогала гармонизировать его взаимоотношения с крестьянами. Толстой был уверен, что кроме писательства он должен владеть еще каким-нибудь ремеслом. Ведь даже сам Павел был не только ревностным и способным апостолом, но и еще

искусным ткачом, изготовителем ковров, а любимый Толстым Руссо был не только писателем, но и переписчиком нот. Второй профессией Льва Николаевича стало учительство. Однако писательство при этом не осталось простым домашним занятием, «литературой для себя». Ему удалось школьную работу подчинить художническим задачам. Его педагогическая деятельность органично переплелась с творчеством, став особым жанром литературы. Толстовская школа была не просто школой, как и Лев Николаевич — не просто учителем. Он, как тонко подметил П. В. Анненков, относился к своим ученикам, как к живым персонажам, как к воображаемым лицам своих произведений. Художническое отношение к школе являлось приоритетным, и Ясная Поляна стала, по выражению Анненкова, «питомником натуральных поэтов», где писатель подсматривал за своими даровитыми учениками, доверяя их врожденным эстетическим вкусам. «Кому у кого учиться писать — крестьянским ли ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?» — отнюдь не софистское ухищрение, а убеждение, подсказанное толстовским инстинктом.

Яснополянская школа размещалась в двухэтажном каменном флигеле. У подъезда было написано: «Вход и выход свободный». Свобода стала ключевым понятием в толстовской учительской программе. Дети приходили сюда без учебников и тетрадей, приносили только одно: желание знать. Сидели где попало — кто на полу, а кто на подоконнике. Здесь верили в то, что не может быть плохих учеников, могут быть только плохие учителя. Атмосфера школы была на редкость симпатичной, обстановка классов простой и удобной: «Посередине комнаты стояли длинные скамейки и такие же длинные столы. На стене висели черные доски. Тут же на полочке лежал мелок. В углу стоял шкаф с какими-то книгами, бумагами и грифельными досками. На стенах висели старые потемневшие портреты. Некоторые из детей, глядя на них, хотели креститься, подумав, что это — “боги”. Но Лев Николаевич заметил это и сказал: “Это не боги, а люди, мои родные и знакомые”».

Совершим вместе с учениками экскурсию по дому, где Лев Николаевич разместил свою школу: «Две комнаты заняты школой, одна кабинетом, две — учителями. На крыльце, под навесом, висит колокольчик с привешенной за язычок веревочкой, в сенях, внизу, стоят бары и рек (гимнастика), наверху, в сенях, — верстак. Лестница и сени истоптаны снегом или грязью: тут же висит расписание. Порядок учения следующий: часов в восемь учитель, живущий в школе, любитель внешнего порядка и администратор школы, посылает одного из мальчиков, которые почти всегда ночуют у него, звонить.

На деревне встают с огнем. Уж давно виднеются из школы огни в окнах, и через полчаса после звонка, в тумане, в дожде или в косых лучах осеннего солнца, появляются на буграх (деревня отделена от школы оврагом) темные фигурки по две, по три и по одиночке. Табунное чувство уже давно исчезло в учениках. Уже нет необходимости ему дожидаться и кричать: “Эй, ребята, в училищу!” Уж он знает, что училище среднего рода, много кое-чего другого знает и, странно, вследствие этого не нуждается в толпе. Пришло ему время, он и идет. Мне с каждым днем кажется, что все самостоятельнее и самостоятельнее делаются личности и резче их характеры. Дорогой почти никогда я не видал, чтобы ученики играли — нешто кто из самых маленьких или из вновь поступивших, начинавших в других школах. С собой никто ничего не несет — ни книг, ни тетрадок. Уроков на дом не задают.

Мало того, что в руках ничего не несут, им нечего и в голове нести. Никакого урока, ничего, сделанного вчера, он не обязан помнить нынче. Его не мучает мысль о предстоящем уроке. Он несет только себя, свою восприимчивую натуру и уверенность в том, что в школе нынче будет весело так же, как вчера. Он не думает о классе до тех пор, пока класс не начался. Никогда никому не делают выговоров за опоздание, и никогда не опаздывают, — нешто старшие, которых отцы другой раз задержат дома какой-нибудь работой. И тогда этот большой рысью, запыхавшись, прибегает в школу. Пока учитель еще не пришел, они собираются кто около

крыльца, толкаясь со ступенек или катясь на ногах по ледочку раскатанной дорожки, кто в школьных комнатах. Когда холодно, — ожидая учителя, читают, пишут или возятся. Девочки не мешаются с ребятами. Когда ребята затевают что-нибудь с девочками, то никогда не обращаются к одной из них, а всегда ко всем вместе: “Эй, девки, что не катаетесь?”, или “Девки-то, вишь, замерзли”, или “Ну, девки, выходи все на меня одного”.

Положим, по расписанию в первом младшем классе — механическое чтение, во 2-м — постепенное чтение, в 3-м — математика. Учитель приходит в комнату, а на полу лежат и пищат ребята, кричащие: “Мала куча”, или “задавили, ребята”, или “будет, брось виски-то” и т. д. “Петр Михайлович, — кричит снизу кучи голос входящему учителю, — вели им бросить”. “Здравствуйте, Петр Михайлович”, — кричат другие, продолжая свою возню. Учитель берет книжки, раздает тем, которые с ним пошли к шкафу; из кучи на полу верхние, лежа, требуют книжку. Куча понемногу уменьшается. Как только большинство взяло книжки, все остальные бегут к шкафу и кричат: “И мне, и мне! Дай мне вчерашнюю; а мне кольцевую” и т. п. Ежели останутся еще какие-нибудь два разгоряченные борьбой, продолжающие валяться на полу, то сидящие с книгами кричат на них: “Что вы тут замешались? Ничего не слышно. Будет...” Дух войны улетает, и дух чтения воцаряется в комнате. С тем же увлечением, с каким он драл за виски Митьку, он теперь читает кольцевую (так называется у нас сочинение Кольцова) книгу, чуть не стиснув зубы... ничего не видя вокруг себя, кроме своей книги. Оторвать его от чтения столько же нужно усилия, сколько прежде — от борьбы. Садятся они, где кому вздумается: на лавках, столах, подоконниках, полу и кресле. Девки садятся всегда вместе. Друзья, односельцы... — всегда рядом...

Два меньшие класса разбираются в одной комнате, старший идет в другую. Учитель приходит и в первый класс, все обступают его у доски или на лавках, ложатся или садятся на столе вокруг учителя или одного читающего. Ежели это писание — они усаживаются попокойнее, но беспрестанно встают, чтобы смотреть тетрадки друг у друга и показывать свои учителю. По расписанию

до обеда значится 4 урока, а выходит иногда три или два, и иногда совсем другие предметы. Учитель начнет арифметику и перейдет к геометрии, начнет священную историю, а кончит грамматикой. Иногда увлечется учитель и ученики, и вместо одного часа класс продолжается три часа. Бывает, что ученики сами кричат: “Нет, еще, еще!” — и кричат на тех, которым надоело. “Надоело, так ступай к маленьким”, — говорили они презрительно. В класс Закона Божия, который один только бывает регулярно, потому что законоучитель живет за две версты и бывает два раза в неделю, и в класс рисования все ученики собираются вместе. Пред этими классами оживление, возня, крики и внешний беспорядок бывают самые сильные: кто тащит лавки из одной комнаты в другую, кто дерется, кто домой (на дворню) бежит за хлебом, кто пропекает этот хлеб в печке, кто отнимает что-нибудь у другого, кто делает гимнастику, и опять так же, как и в утренних вознях, гораздо легче оставить их самих успокоиться и сложиться в свой естественный порядок, чем насильно рассадить их. При теперешнем духе школы остановить их физически невозможно. Чем громче кричит учитель — это случалось, — тем громче кричат они: его крик только возбуждает их. Остановишь их или, если удастся, увлечешь их в другую сторону, и это маленькое море начнет колыхаться все реже, реже — и уляжется. Даже большею частью и говорить ничего не нужно. Класс рисованья, любимый класс для всех, бывает в полдень, когда уже проголодались, насиделись часа три, а тут еще нужно переносить лавки и столы из одной комнаты в другую, и возня поднимается страшная. Но, несмотря на то, как только учитель готов, — ученики готовы, и тому, кто задерживает начало класса, достанется от них же самих...» Так вдохновенно передать уникальный дух яснополянской школы мог только сам ее создатель — Лев Толстой.

В розовых и голубых комнатах школы писатель много рассказывал ученикам о Крымской войне, о 1812 годе, о Хаджи-Мурате. Преподавать ему помогали одиннадцать студентов-учителей. Весной 1861 года Толстой решил расширить школу, увеличив число классных комнат и устроив музей. Комнаты нижнего этажа фли-

геля были оборудованы для занятий гимнастикой. Здесь были ввернуты кольца, устроены перекладины, стояли стенки, гири. «Так как она (школа. — *Н. Н.*) переделывается, — писал Лев Николаевич Александре Андреевне Толстой, — то классы рядом в саду под яблонями... Дом школы теперь почти отделан. Три большие комнаты — одна розовая, две голубые заняты школой. В самой комнате, кроме того, музей. По полкам кругом стен разложены камни, бабочки, скелеты, травы, цветы, физические инструменты». Во флигеле происходили совещания учителей, на которых обсуждались школьные вопросы. Иногда совещания с учителями писатель проводил в маленькой гостиной или столовой, которые, по воспоминаниям Софьи Андреевны Толстой, «наполнялись сразу таким дымом от куренья шести мужчин, что у меня темнело в глазах, я убегала, поднималась рвота, и я ложилась у себя в спальне одна, огорченная, что не могу участвовать в интересах и делах Льва Николаевича».

Лето 1862 года Толстой провел в Самарской губернии, занимаясь кумысолечением и обучением грамоте двух учеников яснополянской школы. Расположившись в большой войлочной кибитке вблизи речки Каралык, он продолжал свои педагогические штудии с яснополянскими ребятами, одетыми в башкирскую одежду: чапан, шляпу, сапоги и пестрядинные рубахи. Они писали короткие сочинения о «солдатском житье», о крестьянском быте. Учитель просматривал их, исправлял, объяснял.

Толстой пил кумыс, занимался гимнастикой, совершал прогулки, купался, состязался в борьбе, угощал водкой башкир, писал свои педагогические статьи для журнала «Ясная Поляна», редактором и издателем которого он сам и был.

В это время, в его отсутствие в Ясной Поляне, по доносу сыщиков, был произведен обыск: «Приехали три тройки с жандармами, не велели никому выходить, должно быть, и тетеньке, и стали обыскивать. Что они искали — до сих пор неизвестно». Какой-то полковник перечитал письма и дневники Толстого, просмотрел две переписки, за тайну которых их автор мог бы «от-

дать все на свете». В Ясной Поляне искали типографские и литографические станки для перепечатывания прокламаций Герцена, которые Толстой «презирал и не имел терпения дочесть от скуки». Обыск продолжался два дня, представляя собой «целое нашествие» — почтовые тройки с колокольчиками, подводы, исправник, становые, сотские, понятые, жандармы. В доме были раскрыты ящики столов, шкафов, комодов, сундуков, шкатулки. В конюшне ломом были подняты полы, в прудах сетью пытались выловить типографский станок, но вместо него попадались караси да раки. Школу перевернули «вверх дном». Учителя-студенты были помещены во флигель. Жандармы тщательно простучали стены дома. Никаких тайн в нем не оказалось, потому что сообразительная горничная Дуняша Орехова успела вовремя выбросить в траву толстовский портфель, в котором, возможно, хранились письма и фотографии Герцена, являвшегося *persona non grata* для царя. Отложенные при обыске документы были изъяты из жандармской папки все той же предусмотрительной спасительницей Дуняшей.

Возвратившись в Ясную Поляну, Толстой очень болезненно воспринял обыск и о нанесенном ему невыносимом оскорблении оповестил фрейлину А. А. Толстую: «Дела этого оставить я никак не хочу и не могу. Вся моя деятельность, в которой я нашел счастье и успокоенье, испорчена. Тетенька больна так, что не встает. Народ смотрит на меня уже не как на честного человека, — мнение, которое я заслуживал годами, а как на преступника, поджигателя или делателя фальшивой монеты, который только по плутоватости увернулся... Выхода мне нет другого, как получить такое же удовлетворение, как и оскорбление (поправить дело уже невозможно), или экспатриироваться, на что я твердо решился. К Герцену я не поеду; Герцен сам по себе, я сам по себе. Я и прятаться не стану. Я громко объявлю, что продаю именья, чтобы уехать из России, где нельзя знать минутой впереди, что меня и сестру, и жену, и мать не скуют и не высекут, — и уеду.

Но вот в чем дело, и смешно, и гадко, и зло берет. Вы знаете, что такое была для меня школа с тех пор, как я

открыл ее? Это была вся моя жизнь, это был мой монастырь, церковь... Я оторвался от нее для больного брата... У меня был журнал, была школа... Я выписал студентов и, кроме всех других занятий, возился с ними. Все из 12, кроме одного, оказались отличными людьми; я был так счастлив... Все это шло год — посредничество, школа, журнал, студенты и их школы, кроме домашних и семейных дел. И все это шло не только хорошо, но отлично. Я часто удивлялся себе, своему счастью и благодарил Бога за то, что нашлось мне дело тихое, неслышное и поглощающее меня всего... Я твердо уверен, что ни один петербургский дворец в 1/100 долю не оказался бы так невинен при обыске, как невинна оказалась Ясная Поляна. Мало того, они поехали в другую мою Чернскую деревню; почитали бумаги покойного брата, которые я как святыню берегу...

...Я часто говорю себе, какое огромное счастье, что меня не было. Ежели бы я был, то верно бы уже судился как убийца... Теперь представьте себе слухи, которые стали ходить после этого по уезду и губернии между мужиками и дворянами... Слухи были такие положительные, что я в крепости или бежал за границу... У студентов отобрали билеты... Школы не будет, народ посмеивается, дворяне торжествуют... У меня в комнате заряжены пистолеты, и я жду минуты, когда все это разрешится чем-нибудь... Так жить невозможно».

Толстой все-таки надеялся, что «гнусное дело», творимое жандармами в Ясной Поляне, не было санкционировано «высочайшей властью». 22 августа 1862 года он послал письмо на имя Александра II. Он ждал сатисфакции, но ее не последовало. Попытка Толстого создать совершенный мир в границах своей усадьбы изначально была обречена на неудачу. Школа была закрыта. Тем не менее Толстой дела своего не оставил. Неформальное общение с коллегами и учениками теперь происходило вне стен школы. Чаще всего это было во время музыкальных вечеров, организованных Толстым в другом, «том доме». Музыка, как сверхчувственная гениальность, помогала объединиться всем — от мала до велика. Вдохновенная игра Льва Николаевича очаровывала благодарных слушателей. Студентам

особенно запомнилось, как он исполнил «Лешего» Шуберта, сопровождая игру своим пересказом поэтической легенды Гёте. Учеников напугал «страшный «Леший», и они хором умоляли Толстого исполнить «Ключ по камушкам течет» или «Херувимскую». Потом дети уходили спать в кабинет писателя: кто засыпал на ковре, а кто-то под письменным столом на полу в живописных позах. Студенты ночевали, как правило, в нижней комнате. Не спал только хозяин дома, дописывавший своих знаменитых «Казakov».

Кроме музыкальных вечеров происходили еще и жаркие дискуссии, на которых обсуждались ни много ни мало вопросы наилучшего обустройства человеческой жизни. Инициатором обсуждений был, конечно, Толстой, горячо проповедовавший преимущества сельского образа жизни перед городским. Любой горожанин — воин, купец, чиновник и т. д., с точки зрения яснополянского руссоиста, обречен переболеть всевозможными мыслимыми и немыслимыми урбанистическими недугами, так как только в гармонии с природой, а не в переписке канцелярских бумаг человек может оставаться здоровым.

Толстой доказывал праведность семейной жизни, во многом зависимой от правильного выбора своей половины. По его глубокому убеждению, городская барышня, стянутая с утра до ночи в узкий корсет, представляет собой анемичное создание, не подходящее для супружеской жизни. Пройдет всего лишь месяц, и Толстой благополучно забудет об этой шахматной игре ума, влюбившись «старым, беззубым дураком» в московскую барышню — Соню Берс, еще раз продемонстрировав таким образом свое любимое утверждение о «текучести» любого из нас, — никому не дано знать, что будет через месяц. А пока он вполне искренно предлагал студентам совершить экскурсию по усадебному пространству, чтобы выбрать подходящее место для организации колонии однодворцев, своеобразной декларации новой формы жизни, где сеять, пахать и косить предполагалось сообща, общими усилиями. Этим фантазмам, напоминавшим воздушный замок, не суждено было реализоваться. Кроме воздушных и призрачных путей су-

ществуют вполне реальные и земные, требовавшие материальных ресурсов.

Работа студентов в школах, как, впрочем, и их статьи для журнала «Ясная Поляна» должны были своевременно оплачиваться. Так, В. П. Попов, негласный редактор и секретарь педагогического журнала, слал из Москвы в Ясную Поляну требования об оплате Каткову типографских расходов, а студенты-учителя каждую субботу просили авансы на личные нужды и гонорары за свои публикации. Яснополянский староста тем временем регулярно докладывал графу о проделанных работах в саду, огороде, поле. Каждую субботу контора выплачивала деньги поденным работникам. Проблемы в экономической политике Толстого стали очевидны — конторская касса была пуста.

Управляющий, немец Ауэрбах, слывший ученым-агрономом, в ответ на все финансовые вопросы постукивал двумя медяками, намекая таким ироничным образом на то, что в этом и заключается графское казначейство. Студенты не на шутку были испуганы. Им стало известно не только о продаже издателю и книгопродавцу А. И. Давыдову за тысячу рублей прославленной трилогии, но и об уплате Каткову авторских долгов и типографских расходов за счет гонораров за «Поликушку» и «Казаков». Ситуация осложнялась еще и тем, что Толстой не мог пользоваться услугами кредитных учреждений или земских земельных банков. Их заменяли удачливые купцы, подобные Копылову, тульскому монополисту в области «купил — продал». Он скупал все: зерновой хлеб, лес, торговал скотиной. Этот расчетливый купец облюбовал яснополянскую дивную рощу и «заказник», которые пошли на сруб. К финансовым сложностям прибавились вскоре и служебные, связанные с должностями мирового посредника и издателя педагогического журнала.

Свалившийся на голову Толстого комплекс проблем вызвал у него бессонницу, хандру, страх смерти, боязнь наследственной болезни чахотки, от которой недавно скончался брат Николай. Лев Николаевич отправился в путешествие по самарским степям, где жил словно дитя степей: ел баранину, пил кумыс и кирпичный чай, жа-

рился под солнцем, но, не выдержав полного курса кумысолечения, вернулся в Ясную Поляну. Он привез с собой бурдюк, мешок, изготовленный из лошадиной шкуры, в котором хранилась целебная закваска кумыса. Толстой выбрал подходящую кобылу, пустил ее на сочные травы, а приставленный к ней человек доил ее, сливая молоко в бурдюк, который и теперь находится в комнате для приезжих. Полученным кумысом, чуть кисловатым, освежающим, хозяин усадьбы Толстой угощал гостей и наслаждался сам, забыв о чахотке.

Однако не так-то просто было забыть школу, свое любимое детище, как и талантливых молодых коллег — Н. П. Петерсона, В. М. Попова, А. А. Эрленвейна, А. К. Томашевского, А. П. Сердобольского, С. Л. Гудима, М. Ф. Бутовича и других, с энтузиазмом работавших в селах Головеньки, Кривцово, Житово, Подосинки, Богучарово, Плеханово, Головля. Все они приехали с «революционными мыслями в голове», но уже спустя неделю оставили их, с большой любовью обучая крестьянскую детвору священной истории и молитвам, делая все это «не по предписанию, а по убеждению».

Толстой гордился ими. Студенты-учителя, кажется, также были в восторге от общения с первоучителем, как и от своего участия в таком полезном и важном деле. Сохранились их воспоминания, в которых они живо передают свои незабываемые впечатления о днях, проведенных в толстовской вселенной. Один из студентов, Николай Петерсон, так писал о своей педагогической деятельности в Ясной Поляне: «Впервые я увидел Льва Николаевича в начале 1862 года, в Москве, на Лубянке, в гостинице, кажется, “Лабади”, куда я пришел к нему со своими товарищами как один из согласившихся на его предложение ехать учительствовать в одной из сельских школ, которые Лев Николаевич предполагал тогда открыть, будучи мировым посредником.

Несколько школ в ближайших к Ясной Поляне селениях были открыты Толстым раньше. Была школа и в Ясной Поляне, на барской усадьбе. В этой школе учительствовал и сам Лев Николаевич... Я, как и все, откликнувшиеся на приглашение Льва Николаевича, с радостью пошел за ним... Для меня было величайшей

радостью приезжать по субботам и перед праздниками в Ясную Поляну и проводить целый день вместе с остальными товарищами, которых было человек десять, в беседах с Львом Николаевичем и слушать его рассказы. Некоторых потом я встретил в его “Казаках” и “Войне и мире”.

Для меня было еще большим наслаждением слушать его дневную игру на рояле. Особенно запечатлелся в моей памяти “Лесной царь” Шумана, сопровождаемый словами баллады Жуковского.

В Ясной Поляне нам было необыкновенно приятно. Все относились к нам с редкой добротой, не исключая и тетушки Льва Николаевича Татьяны Александровны Ергольской, хотя мы, вероятно, и не могли не шокировать ее своими манерами и своими несовершенными (за неимением средств) костюмами. Впрочем, и сам Лев Николаевич не блистал тогда костюмами. Мне помнится, что у него был только один сюртук, в котором он ездил на съезды мировых посредников, но и тот с короткими рукавами и с талией не на своем месте; а ваточное пальто Льва Николаевича было даже с прорванной подкладкой, и из-под нее лезла вата...

После съезда мировых посредников Лев Николаевич всегда бывал не доволен и очень нелестно отзывался о своих сотоварищах по съезду, из которых я ни одного не видел в Ясной Поляне.

Впрочем, Лев Николаевич недолго оставался мировым посредником. В апреле или мае 1860 года он подал в отставку.

Недолго, однако, мы учительствовали. С началом весенних работ наши школы опустели. И некоторые из нас, в том числе и я, должны были поселиться в Ясной Поляне в ожидании, когда по окончании полевых работ снова соберутся ученики в наши школы.

Жить в Ясной Поляне было хорошо. Но сам Лев Николаевич что-то заскучал. Он взял с собой двоих учеников яснополянской школы и уехал с ними в мае месяце в самарские степи, откуда возвратился только месяца через два. Без него приезжали жандармы и производили обыски, но, конечно, безрезультатно. Лев Николаевич был чужд политике и нас всех отчуждил от нее.

Жандармы были направлены в Ясную Поляну, вероятно, по неудовольствию, которое Лев Николаевич возбуждал против себя как мировой посредник.

После возвращения Льва Николаевича из самарских степей приезжал, я помню, в Ясную Поляну Е. Л. Марков, бывший тогда учителем тульской гимназии, впоследствии известный публицист и литератор. Е. Марков приезжал в Ясную Поляну вскоре после того, как вышла книжка “Русского вестника” с его статьей о яснополянской школе и о журнале “Ясная Поляна”. В этой книжке Марков весьма критически отнесся к педагогическим идеям Льва Николаевича и этим всех нас возбудил против себя. Тем не менее, Лев Николаевич принял его весьма любезно; и когда мы слишком яростно нападали на Маркова, в особенности после его отъезда, Лев Николаевич, не соглашаясь с Марковым, заявил, однако, что Марков очень умен и статья его — очень умная статья. Тем и были сдержаны наши нападки.

В августе 1862 года Лев Николаевич поехал в Москву по делам редакции журнала “Ясная Поляна”, которой заведовал один студент. Окна квартиры этого студента были вровень с тротуаром. Лев Николаевич входил к этому студенту через окно. Говорили также, что Лев Николаевич, приехав в Москву, остановился в этот раз не в гостинице, а на студенческой квартире. Но скоро мы услыхали, что он переехал в одну из лучших тогдашних гостиниц в Москве — к Шевалдышеву, а затем и в самую лучшую к “Шевалье” в Газетном переулке. Не могу, однако, утверждать, что все это именно так происходило, но все это так сохранилось у меня в памяти...

Потом мы узнали, что Лев Николаевич решил жениться. А в сентябре 1862 года он приехал в Ясную Поляну уже со своей супругою Софьей Андреевной. Ко времени приезда Льва Николаевича в Ясную Поляну с молодой женою все учителя разъехались по своим школам... Я должен был с осени заниматься в яснополянской школе. Но по приезде его с женою занятия в школе что-то не начинались. Я спрашивал Льва Николаевича:

— Когда же мы будем заниматься?

Он каждый раз отвечал:

— Будем, будем!

В конце концов, брат Льва Николаевича, Сергей Николаевич предложил мне давать уроки его сыну, который жил с матерью в Туле. И я переехал в Тулу...»

Прежние, такие органичные, тесные связи между учителем школы, его коллегами и учениками постепенно ослабевали. С душевной болью все смотрели на то, как обожаемый ими учитель все более и более стремиться на противоположный берег реки — в уединенный мир семейных наслаждений. Как известно, неудача — лучший учитель, чем удача. Именно она вернула Толстого к писательству посредством «запроданного» «Русскому вестнику» его «Кавказского романа». Писательство вновь стало для него превыше всего. Каждый его подъем, в том числе и педагогический, сопровождался непременным охлаждением. Школьное дело из прелестного превратилось для него в «фарсерство молодости».

Школа «формировала» Льва Николаевича, а семейная жизнь «преобразовывала», свидетелями чего были его студенты-учителя. После посещения Ясной Поляны семьей Берсов Лев Николаевич в своем разговоре со студентами очень верно охарактеризовал Соню Берс: «примерная жена, мать и домовитая хозяйка». Будущий муж был убежден в том, что она, «выйдя замуж, будет нежной, доброй, плодотворной матерью, радовать сердце своего хозяина, одаривая ежегодным приплодом. Хозяйство, семья, дети — ее призвание и назначение». Ураган любви невольно разлучил тридцатичетырехлетнего опытного мужчину с прежними увлечениями, которые в той или иной степени давали о себе знать. Так, например, желание Льва Николаевича жениться на крестьянке не раз аукнулось ему упреками жены в том, что «крестьянских» детей он любил бы больше, чем своих собственных. Не только дети приносились в жертву, но и школа, семья, сам автор становились заложниками художественного гения.

Несмотря на это, школа продолжала жить в благодарных сердцах яснополянских учеников, запомнивших все подробности своего «легкого, интересного обучения» и веселых игр с учителем. Повзрослев, ученики с особой теплотой вспоминали свои школьные занятия: как Лев Николаевич всегда безотлучно был с ними, как охотно отвечал на все их вопросы, как читал

«вечернюю» книгу — «Робинзона Крузо», как развозил всех по домам на лошадях, как заглядывал в их окна, как проводил соревнования с ребятами из Тульской гимназии, как яснополянцы одержали победу над горожанами, как играли в лапту до упаду, как пели песни и как шутил Лев Николаевич, как придумывал детям прозвища и как они писали письма о своей жизни, как ему однажды не понравилось одно качество в них — мечта о деньгах, о богатстве, как спали в его спальне на полу, как использовали рукопись в качестве хлопушки, как праздновалась широкая Масленица, на которой собиралось народу — «пушкой не прошибешь», как жарили блины на кипящем масле, как всех угощал Лев Николаевич, подавая то сметану, то творог, как все наелись на славу.

В 1870-е годы Толстой вновь занялся организацией семинарии для сельских учителей, которые должны были по его плану не только учить крестьянских детей, но и воспитывать молодое поколение в его исконном пространстве. Толстовская идея предусматривала разумное воспитание крестьян с детского возраста. Но для этого учителя должны были в себе воспитать любовь к «мозольному труду». Для учительского семинара в Ясной Поляне был подготовлен целый двухэтажный флигель. Но этого оказалось недостаточно. Чтобы начать интересное дело, потребовалось 30 тысяч рублей. Как стало известно Толстому, такая сумма была выделена правительством на педагогическое народное дело в Тульской губернии. Лев Николаевич подал прошение, однако на общем съезде было решено направить эти деньги на сооружение памятника Екатерине II. Так, идея организации «университета в лаптях» потерпела фиаско, и Толстой больше никогда к ней не возвращался.

Глава 8

Мифология денег

Взаимоотношения с самой, пожалуй, мистической стихией — деньгами у писателя складывались непросто. В финансовых страстях и расчетах Льва Толстого

угадывается нечто фамильное, идущее от предков. Многие черты и поступки этого удивительного человека и, в частности, его отношение к деньгам, возможно, были предопределены еще задолго до его рождения.

По-видимому, вкус к жизни на широкую ногу Толстой получил от своего деда по отцовской линии. Илья Андреевич Толстой был владельцем 1200 крепостных душ, четырех тысяч десятин земли, трех винокуренных заводов, поставлявших вина на российский рынок. Он был человеком довольно ограниченным, но веселым и мягким. Этот легендарный сибарит и мот посылал слуг на юг Франции за фиалками, дорогими винами, а за стерлядью — в Астрахань. По его велению подводы с бельем для стирки отвозились в Голландию (впрочем, как веком позже и князя Куракины, убедившиеся на горьком опыте, что русские прачки так и не научились деликатному обращению с дорогой тканью). Промотав полумиллионное состояние, дед писателя на исходе жизни стал губернатором Казани. Молодого Толстого поражали естественная способность и всегдашняя готовность деда жить *en grand* (на всю катушку), и, похоже, именно Илья Андреевич стал прототипом старого графа Ростова в романе «Война и мир». Отцу писателя, получившему по наследству, как мы уже знаем, лишь грусть в глазах, пришлось выкупать родовые имения, отобранные за долги. Став же человеком семейным, солидным и именитым писателем, Лев Толстой, по всеобщему убеждению, больше всего напоминал деда по материнской линии — князя Н. С. Волконского, для которого подлинным богом был порядок. Вспоминали и прадеда Льва Николаевича, Николая Ивановича Горчакова, обладателя огромного состояния, человека чрезвычайно скупого. Любимым занятием старика Горчакова было пересчитывание денег, хранившихся в заветной шкатулке. Изю дня в день слепой старец перебирал мятые бумажки, даже не подозревая о том, что слуга-прощелыга и вор давно половину из них подменил на газетную бумагу.

В апреле 1847 года между братьями и сестрой Толстыми состоялся раздел родительского имущества. Льву достались деревни Ясная Поляна, Ясенки, Ягодная, Пус-

тошь Мостовая Крапивенского уезда и Малая Воротынка Богородицкого уезда Тульской губернии. В общей сложности он получил 1470 десятин земли и 330 душ мужского пола. В «дополнение выгод» братья выделили ему 4 тысячи рублей серебром.

Земля в Ясной Поляне была «плодовитая, хлеб и покосы посредственные, лес дровяной, крестьяне на пашне». Иными словами, средненькая усадьба. Да вдобавок заложенная родителями в Опекунском совете. Первым делом Лев Толстой попытался вызволить имение из опекунства в свою полную собственность. А заодно озаботился проектом лесонасаждения в России и освобождения яснополянских крестьян от барщины. Подумывал, и всерьез, о службе в Министерстве иностранных дел. Однако чаще всего размышлял: «Что я такое? Один из четырех сыновей отставного подполковника, оставшийся с семилетнего возраста без родителей под опекой женщин и посторонних, не получивший ни светского, ни ученого образования и вышедший на волю семнадцати лет, без большого состояния, без всякого общественного положения и, главное, без правил... Я дурен собой, неловок, я раздражителен, скупен для других, нескромен, нетерпим и стыдлив, как ребенок... Я умен, но ум мой еще никогда ни на чем не был основательно испытан».

Как видим, автопортрет вышел уж слишком самокритичным, без каких-либо прикрас, почти без светлых тонов. «Страсть к наукам», наслаждение «счастьем артиста», «намерение поступить на службу в Министерство иностранных дел», открытие школы для крестьянских детей в Ясной Поляне, написание «Правил вообще», мечта взять в аренду почтовую станцию или «написать книгу: жизнь Татьяны Александровны Ергольской», любовь к Зинаиде Молоствовой — все это в одночасье теряло смысл. «Проклятая страсть» к картам, приводящая к большим проигрышам, становилась чем-то вроде запоя.

Мифы затемняют подлинный образ Толстого, в котором сверхчувственное смешалось с заурядно-бытовым. Энергия молодечества была в нем ключом, позволяя наслаждаться поэзией случая. Карточная игра являлась

привычным атрибутом дворянского общества и была практически канонизирована. Она привлекала Толстого неким демонизмом, непредсказуемостью, фатальностью. Карточный выигрыш становился метафорой реализации вожделений и надежд.

Более практичные старшие братья были убеждены, что Лев — «самый пустяшный малый», не думавший о «состоянии — вещи очень важной, особливо, кто к нему привык». Но он пропускал мимо ушей сентенции братьев, эпатируя близких своим молодеческим «презрением к деньгам», прожигая «пропасть денег» в одночасье, продавая на ярмарках породистых лошадей почти за бесценок. Он посещал самый дорогой ресторан Дюссо, оплачивая счета в 12 рублей, на которые можно было купить корову и молодого рысака. Он был завсегдатаем наимоднейшего салона, которым заведовал кутюрье Шармер. В общем, о его поведении можно было бы сказать следующее: «Le sou — est travail des autres» (копейка — это чужой труд). А когда оставался без копейки, бросался распродавать свои же деревни и даже одно время был близок к тому, чтобы продать половину своей «милой Ясной». На вопросы французского литератора Вогюэ, какую жизнь он вел в молодости — светскую? И когда начал работать? — он ответил: «С 18 лет до 24-х была игра в карты и охота... и перед женитьбой». Можно сказать, что в это время, как выражался в подобных случаях Вяземский, ум Толстого напоминал колоду карт.

Как и следовало ожидать, все его усилия шли прахом и проекты оставались всего лишь на бумаге. Тогда выручали карты. Живший «безалаберно, без службы, без занятий, без цели», он целиком отдался «проклятой страсти» к игре. Проигрыши становились все более впечатляющими: 850, 3 тысячи, 5 тысяч рублей... Чтобы расплатиться с долгами, спустил Малую Воротынку за 18 тысяч рублей, Ягодную за 5,7 тысячи рублей. Ясная Поляна к тому времени пришла в полный упадок. Сказывалась не только неопытность молодого помещика, но и «бессовестный грабеж» со стороны управляющего и старосты, «дурака набитого». Будучи не в силах справиться с ворьем, Толстой вновь возвращался за карточ-

ный или билиардный стол. Разумеется, безуспешно. Старший брат предложил продать старый тридцатидвухкомнатный дом и построить новый. Семейный «дом-сувенир» ветшал, и его хозяин решился все-таки расстаться с этой самой «последней вещью». Дом был продан в 1854 году соседнему помещику Горохову за 5 тысяч рублей. «Два дня и две ночи играл в штос. Результат понятный — проигрыш всего яснополянского дома». Он умолял кредиторов об отсрочке, изворачивался как мог, тянул до последнего. Но урожай вновь подкачал, и денег по-прежнему не было. Жизнь пустяшная, зряшная, протекавшая в прожигании денег, стала надоедать Толстому. Всё невольно подталкивало его к решительным действиям. Его судьба, как он считал, всегда находилась в какой-нибудь фазе. Теперь наступала фаза перемен. Дела требовали хозяйского глаза, и нужно было срочно преодолевать знаменитую «толстовскую лень». Прожигатель жизни явно стремился стать кем-то иным. Появилось желание заняться тем, что ему предрекали в детстве, называя «маленьким Мольером», — литературой, «более интересным занятием, чем офицерство», и к тому же хорошо оплачиваемым.

Восемь лет Толстой задавался в своих дневниках вопросом: «На что я назначен?» Между картами, конными ярмарками и гульбой он выкраивал часы для литературного творчества. Но лишь 7 марта 1851 года записал в дневнике: «Заняться для завтра... роман». И начал писать, увлекся — и довел до конца повесть «Детство». С этого момента он стал зарабатывать себе на жизнь исключительно литературным трудом. «Все, кроме завязтых болванов, всегда писали только из-за денег» — эти слова английского писателя XVIII века Сэмюэла Джонсона, как и знаменитая сентенция первого профессионального поэта России «Не продается вдохновение, но можно рукопись продать», стали для Толстого руководством к действию. Жизнь доказала, что оценить шедевр Милтона в пять фунтов — это нонсенс, а гений Бальзака и Диккенса никак не пострадал от того, что они получали за свой труд вознаграждение. Неприязнь к гонорарам, характерная для людей 1820—1830-х годов, канула в Лету. Для Толстого сочинительство стало не только спо-

собом «мысль разрешить», но и возможностью заработать деньги.

Писательская карьера Толстого во многом зависела от того, как сложится его «роман» с лучшим журналом России — «Современником», имевшим тогда около пяти тысяч подписчиков. 2 июля 1852 года Толстой написал письмо редактору этого издания с просьбой опубликовать «Детство». Втайне мучился: «Напечатают — значит, поощрят к сочинительству, и тогда изменится вся моя жизнь, а нет — так сжечь все то, что уже было начато».

Рукопись была принята, и Толстой радовался «до глупости». Отклики редакции были лестными, и дебютант ответил адекватно — в категорической форме потребовав выслать гонорар, поскольку очень нуждался в деньгах. С первых же шагов на новом поприще Лев Толстой рассматривал писательство не как барскую прихоть, а как профессию со всеми вытекающими экономическими последствиями. В переписке с издателями выяснилось, что «Современник» дебютов не оплачивает, но Некрасов пообещал Толстому за последующие произведения «лучшую плату — 50 рублей серебром за печатный лист».

Толстой был категорически не согласен, например, с Иваном Тургеневым, утверждавшим, что подлинный художник не способен заниматься материальными вопросами. «Нет человека, — писал Толстой, — который мог бы обойти материальную сторону жизни». И только усиливал давление на Некрасова, который впоследствии был готов предоставить писателю процент от доходов журнала, а взамен потребовал обязательства не сотрудничать с другими изданиями. Письма Толстого к Некрасову пестрят денежными расчетами и больше напоминают бухгалтерские калькуляции. Автор «Детства» ждал от редактора больше денег и был недоволен назначенным ему гонораром. Поэтому после «Записок маркера» ему платили уже 75 рублей серебром за лист, а после «Набега» и «Святочной ночи» — 100 рублей за лист. Дело дошло до того, что за лист статьи на педагогическую тему Лев Николаевич выбил сначала 150, а потом и 250 рублей. Впоследствии ему были обещаны «какие угодно денежные условия», вплоть до намерения

«засыпать золотом». Однако Толстой остался недоволен выплатой дивидендов, назвав их «неладными», и вскоре ушел из журнала.

Он никогда не скрывал от издателей своего намерения «драть сколь можно больше». В 1850-е годы Лев Толстой успешно договаривался с издателями и книготорговцами об издании своих сочинений в сборнике «Для легкого чтения» — «Военных рассказов», «Записок маркера», поручал им выпуск «Детства» и «Отрочества», обговаривал для себя десять процентов с выручки.

Однако деньги, не успев появиться у незадачливого автора, модного «пуще кринолина», тотчас же исчезали из его бумажника. Сказывалась натура заядлого игрока. Острый дефицит денег ощущался постоянно. Размышления о их отсутствии приводили к выводу о том, что деньги — «гадкая вещь, имеющая такое большое влияние на поступки и на счастье людей».

Молодой Толстой видел в картах один из способов поправить свое запутанное материальное положение, но нрав Фортуны оказался непредсказуемым. В роковой схватке с судьбой не помогали разработанные им правила игры, как и Германну из «Пиковой дамы» «три верные карты» — «расчет, умеренность и трудолюбие», и он снова понтировал, играя за ломберным столом всю ночь до утра и проигрывая.

Но ничего в жизни не бывает случайного. Она, как всегда, опережала искусство, создавая прецедент для подражания. Свой многократный поединок со Случаем он гениально отрефлексировал в своих художественных текстах, поведав, например, в «Двух гусарах» о психологическом механизме самообмана, заставляющего молодого игрока Ильина убеждать себя в том, что его азартная страсть на самом деле есть точный расчет: «Лухнов придвинул к себе две свечи, достал огромный, наполненный деньгами коричневый бумажник, медлительно, как бы совершая какое-то таинство, открыл его на столе, вынул оттуда две сторублевые бумажки и положил их под карты.

— Так же, как вчера, — банку двести, — сказал он, поправляя очки и распечатывая колоду.

— Хорошо, — сказал, не глядя на него, Ильин между разговором, который он вел с Турбиным.

Игра завязалась. Лухнов метал отчетливо, как машина, изредка останавливаясь и неторопливо записывая или строго взглядывая сверх очков и слабым голосом говоря: “Пришлите”. Турбин помещик говорил громче всех, делая сам с собой вслух различные соображения, и мусолил пухлые пальцы, загибая карты. Гарнизонный офицер молча, красиво подписывал под картой и под столом загибал маленькие уголки. Грек сидел сбоку банкомета и внимательно следил своими впалыми черными глазами за игрой, выжидая чего-то. Завальшевский, стоя у стола, вдруг весь приходил в движение, доставал из кармана штанов красненькую или синенькую, клал сверх нее карту, прихлопывал по ней ладонью, приговаривал: “Вывези, семерочка!”, закусывал усы, переминался с ноги на ногу, краснел и приходил весь в движение, продолжавшееся до тех пор, пока не выходила карта. Ильин ел телятину с огурцами, поставленную подле него на волосяном диване, и, быстро обтирая руки о сюртук, ставил одну карту за другой. Турбин, сидевший сначала на диване, тотчас же заметил, в чем дело. Лухнов не глядел вовсе на улана и ничего не говорил ему: только изредка его очки на мгновение направлялись на руки улана, но большая часть его карт проигрывала.

— Вот бы мне эту карточку убить, — приговаривал Лухнов про карту толстого помещика, игравшего по полтине.

— Вы бейте у Ильина, а мне-то что, — замечал помещик.

И действительно, Ильина карты бились чаще других. Он нервно раздражал под столом проигранную карту и дрожащими руками выбирал другую. Турбин встал с дивана и попросил грека пустить его сесть подле банкомета. Грек пересел на другое место, а граф, сев на его стул, не спуская глаз, пристально начал смотреть на руки Лухнова.

— Ильин! — сказал он вдруг своим обыкновенным голосом, который, совершенно невольно для него, заглушал все другие. — Зачем рутерок держишься? Ты не умеешь играть!

— Уж, как ни играй, все равно.

— Так бы наверно проиграешь. Дай я за тебя попонирую.

— Нет, извини, пожалуйста: уж я всегда сам. Играй за себя, ежели хочешь.

— За себя, я сказал, что не буду играть; я за тебя хочу. Мне досадно, что ты проигрываешься.

— Уж, видно, судьба!

Граф замолчал и, облокотясь, опять так же пристально стал смотреть на руки банкомета.

— Скверно! — вдруг проговорил он громко и протяжно.

Лухнов оглянулся на него.

— Скверно, скверно! — проговорил он еще громче, глядя прямо в глаза Лухнову.

Игра продолжалась.

— Не-хо-ро-шо! — опять сказал Турбин, только что Лухнов убил большую карту Ильина.

— Что это вам не нравится, граф? — учтиво и равнодушно спросил банкомет.

— А то, что вы Ильину семпеля даете, а углы бьете. Вот что скверно.

Лухнов сделал плечами и бровями легкое движение, выражавшее совет во всем предаваться судьбе, и продолжал играть.

— Блюхер, фю! — крикнул граф, вставая. — Узи его! — прибавил он быстро.

Блюхер, стукнувшись спиной об диван и чуть не сбив с ног гарнизонного офицера, выскочил оттуда, подбежал к своему хозяину и зарычал, оглядываясь на всех и махая хвостом, как будто спрашивая: “Кто тут грубит? А?”

Лухнов положил карты и со стулом отодвинулся в сторону.

— Этак нельзя играть, — сказал он, — я ужасно собак не люблю. Что ж за игра, когда целую псарню приведут!

— Особенно эти собаки: они пиявки называются, кажетсЯ, — поддакнул гарнизонный офицер.

— Что ж, будем играть, Михайло Васильич, или нет? — сказал Лухнов хозяину.

— Не мешай нам, пожалуйста, граф! — обратился Ильин к Турбину.

— Поди сюда на минутку, — сказал Турбин, взяв Ильина за руку, и вышел с ним за перегородку...

— Что ты, ошалел, что ли? Разве не видишь, что этот господин в очках — шулер первой руки.

— Э, полно! Что ты говоришь!

— Не полно, а брось, я тебе говорю. Мне бы все равно. В другой раз я бы сам тебя обыграл; да так, мне что-то жалко, что ты продуешься. Еще нет ли у тебя казенных денег?

— Нет; да и с чего ты выдумал?

— Я, брат, сам по этой дорожке бегал, так все шулерские приемы знаю; я тебе говорю, что в очках — это шулер. Брось, пожалуйста. Я тебя прошу, как товарища.

— Ну, вот я только одну талию, и кончу.

— Знаю, как одну; ну, да посмотрим.

Вернулись. В одну талию Ильин поставил столько карт и столько их ему убили, что он проиграл много.

Турбин положил руки на середину стола.

— Ну, баста! Поедем.

— Нет, уж я не могу; оставь меня, пожалуйста...

И игра продолжалась».

Толстой мастерски описал психологию карточных игроков. Рискованный поединок понтера с банкометом сродни схватке дуэлянтов. Желание отыгаться заставляет незадачливого понтера увеличивать ставки. Его положение безнадежно. Оказавшись в проигрыше, он не может расплатиться, прервать игру, ставка которой превышает финансовые возможности. Понтеру остается надеяться на счастливый случай отыгаться. Читатель «Войны и мира» помнит драматическое противостояние Николая Ростова в роли отчаянного понтера и Долохова в роли банкмета, взявшего власть над волей противника. Гениальный художник, сам не раз оказывавшийся в подобных ситуациях, очень тонко описывает стрессовое состояние проигравшего: «Шестьсот рублей, туз, угол, девятка... отыгаться невозможно!.. И как бы весело было дома... Валет на пе... Это не может быть!.. И зачем же это он делает со мной?.. Ведь он знает, — говорил он сам себе, — что значит для меня этот проигрыш. Не может же он желать моей гибели? Ведь он друг был мне. Ведь я его любил...» Соприкосновение с

карточным кодексом позволило Толстому осознать неразрывную связь игры с жизнью, пройти проверку на прочность и выйти победителем.

О толстовском азарте ходили анекдоты в литературных кругах. Как известно, во время игры, например в штосс или в фараон, считавшиеся у знатоков наиболее азартными играми, каждый из понтеров имел право брать отдельную колоду. Использованные карты бросались под стол. Слуги собирали их с пола, чтобы играть ими в дурака. В куче карт валялись деньги. Это было характерно для крупных игр, в которых участвовал, например, Некрасов, являвшийся, по воспоминаниям современников, фанатичным и азартным игроком. Поднимать деньги с пола считалось *mauvais ton* (дурным тоном). Это удел лакеев. Комичным выглядел «умнейший Фетушка» (А. А. Фет. — *Н. Н.*), слывший большим любителем денег, когда искал под столом упавшую купюру небольшого достоинства, а Толстой, запалив от свечи сотенную, светил ему, чтобы облегчить поиск. В этом остроумном пассаже передан кураж игрока, свойственный в немалой степени Льву Николаевичу Толстому. «Тройка, семерка и туз» не раз пробуждали в нем страсть к игре, к этой «плотской, мелочной стороне жизни», которая, как считали близкие, «может привести к беде». Ведь все это, по убеждению тетушки Ергольской, «происходило от праздности, безделья и беспечности».

Тетенькины укоры были им услышаны. Он заставлял себя вести более правильный, уединенный образ жизни, заботясь о здоровье, играя в шахматы, читая книги. Самое главное: он «понемногу занимается литературой», «не из честолюбия, а по вкусу», называя свой труд уже не «работой Пенелопы», а чаще — манией. Кажется, толстовский ригоризм не знал границ: «Писать за деньги. Это как есть, когда не хочется, или как проституция, когда не хочется предаваться разврату». Однако на протяжении 60 лет он предавался писательскому разврату, объясняя это так в своей «Исповеди»: «Я вкусил уже соблазна писательства, соблазна огромного денежного вознаграждения и рукоплесканий за ничтожный труд и предавался ему как средству своего ма-

териального положения и заглушению в душе всяких вопросов о смысле жизни моей и общей».

Став мужем и отцом, поставив все на семейную карту, Толстой кардинальным образом изменил и свое отношение к собственности. Видимо, наконец в нем «заговорили» другие гены, полученные, возможно, от прадеда Николая Горчакова, слывшего человеком очень богатым и чрезвычайно скупым. Он был влюблен и счастлив. И наконец, прав Владимир Набоков, считавший вершиной романа «Анна Каренина» страницы, посвященные семье, ее позитивным ценностям, во многом зависящим от тончайшего сосуда наслаждений, которыми считались деньги с момента их появления. В это время Лев Николаевич озаботился приумножением своего состояния и стал скупать земли вокруг Ясной Поляны, а со временем и вдали от нее — на Волге, в самарских степях. Оставшиеся после карточных проигрышей родительские 750 десятин спустя несколько лет увеличатся в шесть раз. В Бузулукском уезде писатель приобрел более шести тысяч десятин, полагая, что впоследствии они станут хорошим приданым для его дочерей.

Он намеревался также купить казенный участок на Черноморском побережье. Однако сделка не состоялась по независящим от Толстого причинам. Ради «тучных» башкирских земель он вновь был готов «драть сколько можно больше за свое писание».

В те годы писатель превратился в богатого и рачительного барина. Хозяйство его насчитывало около трехсот свиней, десятки коров, сотни породистых овец и тьму-тьмущую разной птицы. Плюс пасека, огромный фруктовый сад. Толстой построил маслобойню, продукция которой бойко расходилась на московских рынках по 60 копеек за фунт. Избавившись, наконец, от бестолкового управляющего, он доверил контору и кассу самой ответственной и надежной помощнице — своей жене.

Но главным источником доходов оставалась конечно же литература. Если Достоевскому с трудом удавалось выбивать из редакторов журналов и книгоиздателей по 150—250 рублей за печатный лист, а Тургеневу —

и того меньше, то Лев Николаевич в полном соответствии со своей доктриной «драть как можно больше» продал М. Н. Каткову, владельцу «Русского вестника», эпопею «Война и мир» по 500 рублей за лист и сам занялся подготовкой ее отдельного издания. В 1863 году он получил от Каткова финансовый отчет за публикацию «Казаков» и «Поликушки» и остался им очень «недоволен». Писатель продиктовал свои условия: за семь листов он хотел получать тысячу рублей, а за остальные листы требовал больше чем по двести рублей за лист. Полученный гонорар Толстой был вынужден отдать в счет погашения долга пехотному капитану, которому он проиграл в феврале 1862 года в билиард. Каткову пришлось оправдываться перед Толстым, он напомнил, что в конторской книге было зафиксировано условие писателя — «150 рублей за печатный лист».

В 1864 году Толстой стал добиваться гонорара в 300 рублей за печатный лист, а вскоре «охотно отдавал» Каткову романы «Война и мир» и «Анна Каренина» по 500 рублей за печатный лист. Толстой лично занимался подготовкой отдельного издания «Войны и мира», вел учет затрат на типографию, контролировал деятельность издателя, продажу книг и их состояние и движение на складах, рассчитывал тираж, стоимость отдельного экземпляра и даже «свое спокойствие», стоившее ему, как он считал, лишних 5 процентов. Согласно калькуляции Толстого, издатель получал при этом 10 процентов от издания, а книгопродавцы — 20 процентов. Не забывал практичный писатель и об изучении книжного рынка, как мы бы сегодня выразились, маркетинга. В его голове беспрестанно роились мысли: «Куда лучше послать — в “Вестник Европы” или в “Русскую мысль”? Лучше в “Ниву” — у ней огромный круг читателей, и есть средства. В “Северном вестнике”, боюсь, они, пожалуй, бедны средствами, а мне обыкновенно платили по 500 рублей за лист». Толстой предлагал «Русскому вестнику» 20 печатных листов по 500 рублей с выплатой всех денег вперед, однако это соглашение не состоялось. Начав с вознаграждения в 50 рублей, он за последний свой роман «Воскресение» получил от издателя «Нивы» Маркса тысячу рублей за лист и отдал их

на переселение в Канаду духоборов, которых считал «людьми XXV столетия».

Тем не менее Толстой ни на минуту не забывал о семье, в которой уже было 13 детей, и об обслуживающем ее персонале — учителях, гувернерах, прислуге, конюхах, кучерах и т.д. Его дворники и повара получали по восемь рублей в месяц наличными. Людям преклонного возраста барин платил пенсию. Ежемесячный «неизбежный» расход составлял 1457 рублей. Он включал жалование воспитателей — 203 рубля (в том числе сюда были включены две учительницы и две гувернантки, которым ежемесячно выплачивалось по 30 и более рублей), траты на дом — 547 рублей; жалование людям в количестве 11 человек — 98 рублей, прочие расходы (в том числе «всем еда» в сумме 300 рублей) — 609 рублей. Общую сумму расходов аккуратно рассчитывала Софья Андреевна, которая не раз вспоминала, что ее муж после удачной продажи «Войны и мира» владельцу типографии Ф. Ф. Рису и получения от него гонорара в 37 тысяч рублей отдал по 10 тысяч каждой из двух своих племянниц — В. В. Нагорновой и Е. В. Оболенской в качестве их приданого.

Для содержания семьи нужны были немалые средства, и Толстой спешил заключить выгодный договор на издание своих сочинений в 11 томах. Получив за это 25 тысяч рублей вперед, писатель погасил долг за купленный на Волге участок земли площадью 4028 десятин. Отдал сразу же 20 тысяч, остальные деньги выплачивал два года из расчета 6 процентов годовых. Внакладе не остался, поскольку земля была куплена по низкой (по меркам того времени) цене — 10 рублей 50 копеек за десятину. Попутно рассчитал, сколько придется отдать за уборку и пахоту для будущего года: приблизительно — от двух до трех тысяч рублей. Лев Николаевич надеялся, что он получит от продажи пшеницы «назад от 2-х до 3-х тысяч рублей и кроме того, обзаведу хутор так, что на будущий год можно будет приехать, и будет совсем независимое хозяйство».

Для организации такого хозяйства он занял у своего приятеля Перфильева тысячу рублей, чему был неска-

занно рад и сообщал жене 27 сентября 1867 года, что он «будет богат, и купит шапку, и сапоги, и все, что велишь».

Итак, затраты на обработку земли и уборку урожая вполне окупались выручкой от продажи пшеницы. Еще более успешной оказалась сделка в Самарской губернии, где Толстой приобрел 1,8 тысячи десятин земли по восемь рублей за десятину. Его сестра, в отличие от него, продавала крестьянам землю по 90 рублей за десятину, и в результате этого ее дети оказались бедны, а крестьяне благоденствовали. Он также получал большой доход от Абрамовской посадки на протяжении 40 лет. Крестьяне обрабатывали землю и зарабатывали с каждой десятины по 6—7 рублей в год. По подсчетам писателя, он мог получать с этого надела доход в 500 рублей за год и хворост в придачу.

Оперируя суммами, которые не снились ни Гоголю, ни Достоевскому, ни даже Тургеневу, Лев Толстой заключал договоры и сделки с издателями как автор жесткий, бескомпромиссный и предельно прагматичный. Ни о каком соглашении и речи быть не могло, если, например, в нем не предусматривалась выплата гонораров авансом. Лев Николаевич диктовал размеры гонораров, отказывался от прежних обязательств, «разрывал союзы», если бывал недоволен текущими условиями или расчетами причитававшихся ему дивидендов. «Что наш расчет и дивиденд?» — сухо вопрошал автор «Войны и мира», торопя издателя «прислать то, что следует, в Москву».

Возможно, многим покажется циничной его игра с Катковым и Некрасовым, каждому из которых он пообещал рукопись объемом в 20 листов. И даже, уже отдав рукопись Каткову (500 рублей за печатный лист, причем 10 тысяч рублей получил вперед) и оставив за собой право на издание романа отдельной книгой, он продолжал двойную игру: «манил надеждой» Некрасова, отдавая себе отчет в том, что такие условия слишком тяжелы для «Современника» и Некрасову не по карману.

Впрочем, собственные издательские дела Толстого шли неважно. Книгопродавцы, по его мнению, были плутами, из-за которых «книжки продавались, но не слишком». Вопрос о гонорарах по-прежнему оставался актуальным для писателя, и он часто заводил об этом

разговоры. Он знал, что француз Бурже получал за роман 30 тысяч франков от журнала, а кроме того, еще и от самого издателя книги, а Тургенев с Достоевским — много меньше самого Толстого. Но были и другие примеры: Леониду Андрееву платили тысячу рублей за лист плюс писатель получал проценты от прибыли за издания своей книги. В этой связи Толстой любил цитировать философа И. Канта: «Есть только одно наслаждение — отдых после труда (прогулки, музыка); блага, получаемые за деньги, — не настоящее наслаждение».

«Стыдно, — как бы вторил Толстой Канту, — за свое ремесло, которое считалось почтенным, получать деньги. Как только деньги вменяются в творческое дело, делается самое гадкое». Он напоминал, что 70—150 лет тому назад существовал небольшой кружок людей, которые ценили тонкое искусство; из него выделялись те, которым авторы хотели угождать, а теперь авторы стараются угождать толпе. Английские и американские писатели находятся в зависимости от издателя, им надо либо дать взятку, либо писать так, как продиктует издатель. Удивительное развращение богатого общества! — сокрушался Лев Николаевич по поводу деградации издательских и авторских вкусов.

В имущественных вопросах, когда жизнь стала казаться «под гору», Толстой стремился сохранить любовные отношения. Он был уверен в том, что, если бы по его инициативе не состоялся раздел имущества между близкими, он озлобил бы их против себя — хотел «сохранить их чувства (жены и детей. — *Н. Н.*) ко мне, а потерял свое чувство к ним».

Лев Толстой любил деньги, но с возрастом отношение к ним у него менялось. В период семейного счастья, например, он был твердо убежден в том, что писательский труд должен хорошо оплачиваться; высоко ценил свое имя — «Лев Толстой» и повесть «Детство» публично оценивал не ниже «Илиады» Гомера.

В 1880-е годы начался духовный поиск или кризис писателя, приведший к кардинальной переоценке многих критериев и постулатов, которыми он прежде руководствовался. Жизнь в условиях избытка материальных ценностей стала казаться ему невыносимее жизни како-

го-нибудь бродяги. Близкие вспоминали о его матери, которая до замужества была склонна к шокирующим поступкам: могла, например, подарить подруге-компаньонке тысячи рублей в качестве приданого. Покойная маменька писателя была, конечно, тут ни при чем. Толстой кардинально изменился по экзистенциальным причинам: в глубинах своей души, на уровне мировоззрения. Если, скажем, Фет по прочтении мрачного Шопенгауэра написал самые светлые стихи в своей жизни, то Лев Николаевич почерпнул у прославленного немца лишь отвращение к жизни во всех ее «гадких» проявлениях. В 1883 году он выдал жене доверенность на ведение всех имущественных дел, а спустя девять лет «подписал и подарил то, что давно уже не считал своим». По раздельному акту вся недвижимость, оцененная в 550 тысяч рублей, перешла к его жене и детям. Это было четкое осознание пагубности денег, этой опьяняющей фатальности, съедающей жизнь и счастье. Он теперь был убежден в их греховности и считал, что гений и деньги — не совместимы. Рукопись — не товар. Она — не продаваема. Многие годы Толстой упорно копил деньги, скупал дешевые башкирские земли, а подводил итоги полным отрицанием денег, считая их величайшим развратом, преступлением. Писатель рассуждал об опасности богатства, вреде денег, но имел при этом полумиллионное состояние; говорил о трех аршинах земли, а сам при этом имел 8 тысяч десятин. Его семья за одну неделю проживала больше, чем любая крестьянская семья могла прожить за год.

Многие считали, что его теория о деньгах явилась результатом пребывания семьи в Москве. Писатель не раз выражал недовольство этим фактом, хотя идея покупки дома в Долго-Хамовническом переулке принадлежала, по словам Софьи Андреевны, ему. Колкости сыпались на него в печати и в корреспонденциях за то письмо, которое он опубликовал в прессе об отказе от собственности и в этой связи просил более не обращаться к нему за денежной помощью. Это письмо было напечатано 20 сентября 1907 года в «Русских ведомостях». В распоряжении Толстого находилось небольшое количество денег, несколько сотен рублей. В своей будничной жизни писатель пользовался состоянием Со-

фьи Андреевны. По этому поводу существовал даже анекдот: «Лев Николаевич ехал в вагоне поезда по железной дороге, и к нему подошла девица, как он называл, “из кофточек” и спросила:

— Вы Лев Николаевич Толстой?

— Да.

Девица:

— Я счастлива, что вас встретила. Я хотела давно спросить вас о деньгах, которые вы ругаете.

Лев Николаевич:

— Что вам надо узнать?

Девица:

— Деньги вам не нужны. А за какие деньги вы взяли билет, по которому едете?

Лев Николаевич:

— Жена дала.

Девица:

— А вот говорят, вы сапоги шьете. Откуда деньги берете, чтобы покупать товар?

Лев Николаевич:

— Жена дает.

Сидящий в углу офицер воскликнул:

— Однако вы все это ловко придумали!»

Собственный ежегодный доход Толстого составлял в последние годы его жизни от 600 до 1,2 тысячи рублей — это был гонорар, получаемый им от Императорских театров за спектакль «Плоды просвещения». Кроме того, на черный день он берег около двух тысяч рублей.

Он жил уже вне этих — материальных по большей части — отношений, может быть, изредка вспоминая Вольтера, которого вообще-то недолюбливал: «С большим багажом в вечность не уходят».

Глава 9

Лит-те-ратор

Лев Толстой всячески стремился сбросить пыль повседневности со своего отнюдь «не гармонического прошлого», когда был самым «пустяшным малым». Для

этого он придумал правила, как играть в карты, не проигрывая, как попасть в высший свет, как найти выгодную службу, как занять денег, как стать *comme il faut* (таким, как надо). Суть их сводилась к следующему: «играть только с людьми состоятельными, у которых денег больше моего»; «искать общества с людьми, стоящими в свете выше, чем сам, — с такого рода людьми, прежде, чем видишь их, приготовить себя, в каких с ними быть отношениях. Не менять беспрестанно разговора с французского на русский и с русского на французский. Помнить, что нужно принудить себя, главное сначала, когда находишься в обществе, в котором затрудняешься. На бале приглашать танцевать дам самых важных». Так выглядела толстовская концепция успеха, больше похожая на синекуру. Для ее реализации требовались соответствующие средства: «1) Попасть в круг игроков и при деньгах — играть; 2) Попасть в высокий свет и при известных условиях жениться; 3) Найти место выгодное для службы». Но даже в этот, еще «до-литературный» период своей жизни писатель прикладывает максимум усилий для устройства своей литературной судьбы, понимаемой им как основное жизненное дело. Литература изначально была страстью, главной формой самореализации Толстого.

Повседневная жизнь всегда подвергалась мутации, провоцируя к творчеству. В этом смысле жизнь Толстого была двойственной. Уникальность натуры непрерывно побуждала к самоанализу и вызывала разочарование. Так и не став дипломированным гуманитарием, он направил все свои силы на то, чтобы стать гениальным художником. Для этого писатель завел дневник, который был и своеобразным кондуитом, где отмечались все «слабости» молодого человека, решившего покорить мир. Днем он был многоликим актером, а вечером — рассудительным режиссером. Дневник, словно стенограмма быта и бытия: «С утра читать, потом до обеда дневник и расписание на воскресенье дел и визитов; после обеда читать и баня, вечером, ежели не устану очень, повесть, читать, сделать покупки (калоши) и книги о музыке; обедать, читать и заняться сочинением музыки или повести». Речь идет о повести из цыганского

быта, романтикой которого Толстой был очень увлечен. Литературные замыслы при этом чередовались с практическими делами, например как арендовать тульскую почтовую станцию.

Однако душевные и бытовые импресии не являлись чем-то исключительно индивидуальным, присущим только Толстому. Они были вполне типичной характеристикой всей дворянской среды. Многие ровесники Толстого, такие, как С. П. Колошин, Б. Н. Алмазов, тоже родились в усадьбах, не закончили университета, посвятили себя литературной карьере, увлекались философией, юриспруденцией, картами, цыганами. Однако в случае с Толстым все это носило гиперболический характер: круглый сирота, не имевший попечительства, выходец из патриархальной среды, с провинциальными корнями, правда, свободный от эдипова комплекса, тетенька Т. А. Ергольская была для него наивысшим авторитетом.

Живя в столицах, Петербурге и Москве, Толстой быстро осознал перспективность литературы. Изящная словесность становилась привычным занятием для дворянской молодежи. Любая эпоха имеет своих кумиров: одно время ими являлись рыцари, потом — «донжуаны». Во времена Толстого — литераторы. Переход от великосветского дилетантизма к высокой специализации в полной мере проявился в позиции М. Лермонтова и В. Соллогуба. «Вообще все, что я писал, было по случаю, по заказу, — для бенефисов, для альбомов и т. д. “Тарантас” был написан текстом к рисункам князя Гагарина, “Аптекарьша” — подарком Смирдину. Я всегда считал и считаю себя не литератором *ex professo*, а любителем, прикомандированным к русской литературе по поводу дружеских сношений. Впрочем, и Лермонтов, несмотря на громадное его дарование, почитал себя не чем иным, как любителем, и, так сказать, шалил литературой», — писал автор «Тарантаса».

Толстой всегда делил писателей на художников и литераторов. Это являлось для него концептуальным понятием. В числе художников слова он чаще всего называл себя и Лермонтова. Все остальные, по его мнению, относились к литераторам. В свои 22 года Лермонтов,

его великий предшественник, уже был прославленным поэтом, а Толстой в этом возрасте только разучивал генерал-бас и пытался написать «повесть из цыганского быта», «ежели не очень устану». Справедливости ради, сделаем оговорку: прозаик в сравнении с поэтом, как правило, значительно позже появляется на звездном небосклоне, и Лев Толстой в этом отношении оказался лидером среди своих собратьев по перу.

Чтобы стать успешным, он занимался литературой, прикрываясь «надеждой прогнать скуку, получить навык к работе и сделать удовольствие Татьяне Александровне», своей любимой «тетеньке». Он упорно продолжал свои занятия без надежды быть опубликованным. Правда, одну вещь, которую из-за суеверия писатель даже не называет, он успел уже три раза переделать и не только для того, чтобы самому быть довольным, но и чтобы напечататься в журнале «Современник». Толстой «завалил» себя литературным делом и вскоре выслал в Петербург первую часть трилогии — «Детство». Он мечтал не только о публикации, но и о гонораре, о котором редактор не обмолвился и словом. После выхода в свет «Детства» родные писателя были в восторге, считая, что их Лёвочка пишет «лучше самого Панаева». Грандиозный успех помог Толстому подняться над самим собой.

Писательство стало для него своеобразной формой *comme il faut*, понимаемой не так, как думали его тетки: жить «как надо», «как следует» означает иметь много рабов, вступать в связь с замужней женщиной и т. д. *Comme il faut* в понимании их гениального племянника означало нечто иное, сверххамбициозное, с трудом вмещающееся в «наполеоновскую» формулу — сорок веков смотрят на меня с высоты пирамид, если остановиться, весь мир погибнет. Но для этого предстояло еще многое преодолеть, в том числе безмерное увлечение окололитературной повседневностью петербургского бомонда. Так, оказавшись в литературной среде, Толстой с головой ушел в неизведанное: в клубные литературные обеды с застольными многочасовыми речами, офицерскими остротами, цыганскими песнями, враньем, бдением до ночи за карточным столом. Он был то «милейшим» человеком, то «остервенелым» троглодитом, то

буйным башибузуком (разбойником, сорви-головой. — Н. Н.), не признававшим Шекспира из-за того, что этот англичанин «пропитан фразой».

Толстой с трудом вживался в литературную среду, стараясь убедить своих коллег по перу в том, что невозможно быть только литератором, так как это противоречит человеческой натуре, что «литература — не костыль и не хлыстик», она — «не нормальное явление» и на ней «нельзя построить жизнь, это — противозаконно». Свои декларации он подтверждал выездами за город, на петербургские дачи, в частности на дачи «у Галлера», где «упивался нектаром», которыми являлись устраиваемые литераторами балы с приглашенными гризетками. Там вели «умные» литературные разговоры, которые чаще всего оказывались «скучными», отнюдь «неполезными». Балы эти чаще всего завершались так. В самом их разгаре являлась полиция, сразу же тушили свечи и «прогоняли музыку». Хозяйка спешила всех успокоить, говорила, что все образуется и танцы продолжатся. В то время Толстой был увлечен некой Сашей Жуковой, молодой особой, не очень строгого поведения. И собратья его не только по перу, но и по пиру «опасались за болезни Толстого и за юную особу». Чаще всего светские рауты, проводимые, например, в Шахматном клубе или у Тургенева с «ураганом обедов, собраний, вечеров и мотовством», заканчивались башибузукской дикостью.

Обедали, действительно, хорошо. Пили ром и шампанское, «было весело, неизбежное лото, ужин и опять шампанское, пение и музыка». Толстой, Тургенев, Соллогуб, Дружинин, Панаев, Некрасов часто проводили время в *Hotel «Napoleon»*, где Толстой любил кутить, «давая вечера у цыган на последние свои деньги». С ним Тургенев, «в виде скелета на египетском пире», Долгорукий и Горбунов. «Пение, танцы, вино... Цыганки целуются и садятся на колени. Все это хорошо бы на полчаса, но, к сожалению, тянулось до двенадцати часов ночи... Не ощущалось удовольствия и на двугривенный», — признавался Дружинин, участвовавший в подобных вечеринках. Тургенев также пребывал в «великом озлоблении на башибузука за его мотовство и нравственное

безобразия». Но порой, по воспоминаниям Григоровича, «играли в лото, курили, ужинали тонко». Подобное буйство плоти требовало активных сублимаций, способствующих качественным преобразованиям пульсирующей энергии в творчество.

Толстой был целостен и в самом низком, и в самом высоком. Реальность, окружавшая его, благодаря гениальным интуициям, становилась бессмертной. Непубличное, вполне интимное становилось предметом откровения.

Его воспарению вверх способствовала принадлежность к хорошей крови, *bien nés*. Неслучайно известный историк Ключевский как-то подметил, что почти каждый дворянский род, возвысившийся при Петре и Екатерине, вырождается, за исключением рода Толстых, оказавшегося самым живучим. В роду Толстых, начиная с Петра Андреевича, стольника Петра I, до Сергея Львовича, старшего сына писателя, Лев Николаевич насчитал семь поколений с историей в 200 с лишним лет. «Живучесть» Толстого сказалась прежде всего в его долгой литературной жизни, продлившейся 60 лет. История литературы знает иные примеры, когда литературная смерть опережала физическую.

Окружающие не раз отмечали в Толстом аристократизм, хотя он его никогда публично не демонстрировал, но вместе с тем придавал огромное значение наследственности. Под аристократизмом писатель понимал благовоспитанность, образованность, сдержанность и великодушие. Не выносил фамильярности, называя ее амикошонством, «свиной дружбой». Благовоспитанность, полагал Толстой, помогает облегчить, а не усложнить взаимоотношения между людьми. Он часто в качестве примера приводил такой анекдот: Людовик XIV как-то решил испытать одного человека, прославившегося своей учтивостью. Король предложил ему войти в карету вперед него. Тот повиновался и сел в карету. Людовик приветствовал его заслуженным восклицанием: «Вот истинно благовоспитанный человек!» Противоположной иллюстрацией для Толстого служил другой образ — известный пассаж из гоголевских «Мертвых душ», изображавший толкущихся у дверей

Чичикова и Манилова, уступавших друг другу дорогу. Писателя раздражали дурные манеры собственных детей, когда за обедом они могли есть с ножа или разрезать рыбу ножом. В таких случаях он говорил: «Он не то что нигилист, а ест с ножа». Не любил, когда дети сутулились. «Сядь прямо!» — приказывал он им, подталкивая при этом в спину. Не любил, когда они «совали нос не в свои дела», «боясь пропустить» узнать что-либо, не касавшееся их во время разговоров взрослых. Толстой учил их хорошим манерам. Например, когда ребенок, рассказывая что-нибудь остроумное, сам при этом смеялся, он объяснял, что существуют три вида рассказчиков смешного: самый низший тот, когда во время рассказа исполнитель сам смеется, а слушатели нет, средний — когда все смеются, высший — когда смеются только слушатели.

Гордость Льва Николаевича была «чисто барской» — благородной, от которой он страдал еще в молодости, когда у него не хватало денег во время игры в карты, когда он пробивал себе литературную карьеру, вызывая на дуэль Тургенева, и когда после жандармского обыска в усадьбе, устроенного в его отсутствие, оскорбленный, едва не эмигрировал в Англию.

Реальные лица часто вживаются в свои литературные тени. Так, еще в детстве Толстому казалось, что он может сочинять. И как-то ему живо представилось, что «Параша-Сибирячка», повесть Полевого, была написана им, и он хотел ее написать еще раз. Он, создатель образа князя Андрея, старика Болконского, старался походить на своего деда: та же аристократическая гордость, почти спесь, та же внешняя суровость, та же трогательная застенчивость в проявлении нежности и любви. Таким запомнился великий отец своим детям: «...никогда не выражавшим свои чувства любви открыто, ни лаская, как бы стыдился своих чувств, проявлений, называя их “телячьими ласками”. Бывало ушибешься — не плачь, озябнешь — слезай, беги за экипажем, живот болит — выпей квас с солью. Никогда не жалел, не ласкал». За ласками дети бежали к матери, которая и компресс положит, приласкает и утешит. Способность к эмпатии, к глубокому чувству миру души, заглядыванию

«внутри души», была всегда свойственна Толстому. Отсюда — ностальгия по прошлому, сопровождавшая его постоянно. Чтение романов представлялось ему чем-то вроде некоего дубликата действительности. Для того чтобы походить на одного из своих романых героев с густыми бровями, писатель вздумал их подстричь, и вскоре волосы подросли и брови стали еще гуще, как у любимого героя.

Все прекрасное должно быть исключительно раритетным, штучным, как, например, благовоспитанность, присущая людям *comme il faut*, лишенным каких-либо смехотворных претензий и которым не нужно становиться на цыпочки, чтобы чувствовать себя выше. Они и так являются таковыми. В молодости Лев Толстой, как и его герой из трилогии, делил всех людей на две группы — на *comme il faut* и на *comme il ne faut pas* (на благовоспитанных и не таковых. — Н. Н.). Его, толстовское, «*comme il faut*» заключалось прежде всего в великолепном знании французского языка, в его произношении. «Человек, дурно выговаривавший по-французски, тотчас же возбуждал во мне чувство ненависти, — говорил писатель. — Второе условие *comme il faut* были ногти — длинные, полированные и чистые; третье было умение кланяться, танцевать и разговаривать; четвертое, и очень важное, было равнодушие ко всему и постоянное выражение некоторой изящной, презрительной скуки. Кроме того, у меня были общие признаки, по которым я, не говоря с человеком, решал, к какому разряду он принадлежит. Главным из этих признаков, кроме убранства комнаты, печатки, почерка, экипажа, были ноги. Отношение сапог к панталонам тотчас решало в моих глазах положение человека. Сапоги без каблука с угловатым носком и концы панталон узкие, без штрипок — это был простой; сапог с узким круглым носком и каблуком и панталон узкие внизу, со штрипками, облегающие ногу, или широкие, со штрипками, как балдахин стоящие над носком, — это был человек *mauvais genre* (дурного типа. — Н. Н.), и т. п.»

Толстому, как и его герою, «стоило огромного труда, чтобы приобрести это *comme il faut*, ...которое было не только важной заслугой, прекрасным качеством, совер-

шенством, которое я желал достигнуть, но это было необходимое условие жизни, без которого не могло быть ни счастья, ни славы, ничего хорошего на свете. Я не уважал бы ни знаменитого артиста, ни ученого, ни благодетеля рода человеческого, если бы он не был *comme il faut*». Комильфо был наполнен чрезвычайно важным смыслом в повседневном стиле жизни Толстого. «Ежедневно по утрам, в обязательном порядке, но иногда и в течение дня, мыл руки ногтевой щеткой — особой полукруглой, с ручкой, отлично очищающей концы пальцев. Даже перед смертью, уйдя из дома и забыв щеточку уложить в дорожные вещи, тотчас внес ее в список забытых вещей», — констатировал доктор Д. П. Маковицкий. Во всем облике Толстого ощущалась утонченность, даже в том, как он «отставлял мизинец левой руки на бумаге во время писания; как читал письмо, как держал его с двух сторон в обеих руках; как складывал руки пальцами между пальцев или как клал руку на руку; как глядел на солнце, делая “козырек” над глазами» (П. А. Сергеев). По словам Стасова, он и умывался как-то по-особому, «по-иностранному», из лохани, а не из кувшина, сильно фыркая носом и ртом, одновременно мотая головой.

Но случалось, что под воздействием прочитанного, например, очередного философского трактата, Толстой настолько входил в образ запомнившегося персонажа, что стремился к ассимиляции образа в усадебную вольницу. Он стремился к простору во всем, в том числе и в одежде, и в обстановке: в молодости хотел походить на Диогена, даже сшил себе длинный парусиновый халат, у которого полы пристегивались пуговицами внутрь. Халат вышел многофункциональным: одновременно служил ему и одеялом, и постелью. Было время, когда писатель одевался очень просто, боясь, что крестьяне могут назвать его «господушкой». Некоторое время Толстой носил на шее вместо нательного креста медальон с портретом Руссо, которого боготворил. Мог, невзначай, появиться в светском обществе в сабо, немало изумив всех своей выходкой и проигнорировав рафинированный вкус присутствующих. Как видим, комильфотное поведение, скованное приличиями светского

общества, системой поведенческой моды, в том числе и театральностью жестов, на языке которых происходило общение, вызывало в писателе протест. Все характерные жесты Льва Толстого были продолжением его «тонкокожести», которую подмечали в нем окружающие.

Однако семейных традиций он неукоснительно придерживался. Известно, что мать писателя знала родной язык не хуже французского, что противоречило тогдашним канонам: дворяне обучались русскому языку как иностранному. Помните: «И в их устах язык родной // Не обратился ли в чужой»? Общепринятый тип поведения исключал какую бы то ни было индивидуальность. Род Толстых сумел ее отстоять.

Однако, как Лев Толстой ни старался соответствовать образу человека *comme il faut*, он не мог избавиться от комплекса неполноценности, вызванного, как ему казалось, некрасивым лицом. Писатель пробовал корректировать недостатки природы, выстригая брови, но эффекта не было. Для преодоления комплекса требовались освоенные механизмы — некрасив, зато умен.

Закон компенсации. Он стал писать из-за своей вербальной страсти к самовыражению. В толстовских фантазиях мир преображался и подчинялся иным законам, приближавшим его к той гармонии, о которой он мечтал. В этом и заключалась святость писательского труда. Все, что радовало или печалило его самого, претворялось в образы, бывшие фрагментами яснополянской повседневности.

Писатель всегда был озабочен вопросом: «Нельзя ли как-нибудь перелить в другого свой взгляд при виде природы? Описания недостаточно. Зачем так тесно связана поэзия с прозой, счастье с несчастьем? Как надо жить? Стараться ли соединить вдруг поэзию с прозой, или насладиться одною и потом пуститься жить на произвол другой?» «В мечте есть сторона, которая лучше действительности; в действительности есть сторона, которая лучше мечты. Полное счастье было бы соединение того и другого», — записал Толстой в своем дневнике 3 июля 1851 года. Кажется, ему удалось соеди-

нить в творчестве мечту с действительностью. Таким образом, поиск идентификации состоялся.

Легко и охотно писалось только в Ясной Поляне. Тишина и одиночество — такие идеальные условия дарила только усадьба, наполненная сонмом запахов, особенно чуждым яблочным ароматом.

Толстой любил свой дом, любил в нем все: звон посуды, детский смех, женское вибрирующее сопрано, шелест платья, бой старинных дедовских часов, звяканье ключей, светлые комнаты с низкой мебелью и мелкими вещичками. Здесь всюду царил аромат старины, усиливаемый присутствием любимых теток, сидящих, как обычно, в старинных креслах, в своих суконных платьях и черных кружевных чепцах и раскладывающих *grand пасьянс*. Их племянник в это время лежал на «счастливом» кожаном диване, на котором рождались все Толстые, с папиросой в руке. Порой он приходил в зал, чтобы со всеми домашними «посерьезничать» за круглым ампирным столом из красного дерева, а когда надоедало, то охотно переключался на легкомысленные забавы — игры в лото или буриме, прерываемые громким призывом: «Сядем-ко!», что означало: пора играть в безик или в винт. После этого беспрестанно слышалось: «Четыре черви, пять пик»... Если Лев Николаевич раскладывал пасьянс, близкие знали: это начало очередного романа. Творить можно было только в присутствии своеобразных «героев» писательского быта: звонка-черепахи, часов-календаря, пробковых ручек, чернильного флакона, в который постоянно обмакивалось любимое перо № 86 и «оставлялась частица сердца».

В халате и шапочке, Толстой раскладывал правильными рядами карты, а вокруг него радостно прыгала любимая собака Дора. Пожалуй, нет ничего сложнее, чем описание кресла, на котором любило сидеть столько дорогих и близких людей: «тетенька» Татьяна Александровна Ергольская и «вселенская жена», которой все женщины доходили лишь «до колена», — фрейлина Александрин Толстая, и тетенька Пелагея Юшкова, добродушная, озабоченная воспитанием «комильфотности» в своем племяннике. Яснополянский интерьер немислим без стильных антикварных зеркал. Толстой, как и его герой Пьер

Безухов, любил, сидя в уютной гостиной с зеркалами и семейными портретами, смотреть на Сонино отражение в зеркалах. Вечерами писатель «садился к клавишам», брал «тихие, грустные аккорды», которые не могла заглушить даже «стрельба» паркета. Иногда свой легкий венский стул с монограммой «Л. Т.» он подвигал к шахматному столику. Игра в шахматы — «лучший умственный отдых» после «каторжного» труда. Но только в кабинете он становился интровертом, «схимником», погруженным внутрь себя, чтобы познать «диалектику души», игру полутонов, поток сознания, пограничные состояния, полуявь-полусон, все то, что составляет «ультрафиолетовое» — «чего не знал анатом». Чтобы открыть в человеке «хаос добра и зла», Толстой должен был «сам себя интересовать чрезвычайно». Для него даже небо было не так прекрасно, как бездна человеческой души, о которой он знал, кажется, все, бесконечно «щупая пульс своих отношений с людьми и собственными ощущениями».

Лев Толстой был глубоко убежден, что «можно выдумать все, что угодно, но нельзя выдумать психологию». Не поэтому ли с самого начала его литературная карьера была по достоинству оценена критикой за «гипертрофию психологизма»? «Душевная жизнь, выражающаяся в сценах», стала самой главной для писателя. Ему не было равных в способности «высоко подниматься душою и низко падать». Он был, кажется, знаком с любыми состояниями человеческой души, позволявшими ему «жить в воображении, жить жизнью людей, стоящих на разных ступенях». Так он и жил, то жизнью Николеньки Иртеньева, то Ерошки, то Пьера Безухова, то Анны Карениной, то Нехлюдова, то Хаджи-Мурата.

Писатель всю свою жизнь изучал человека в самом себе, и это позволило ему думать и жить мыслями своих персонажей, «дрожать той дрожью», которой дрожит, например, разбойник, сидящий под мостом на большой дороге в ожидании своей очередной жертвы. Только тогда, был убежден он, получится истинное изображение действительности.

Великий романист не раз говорил о том, что можно ловко придумать любую фабулу, герой которой, например, отправился на Северный полюс, встретил там воз-

любленную и обвенчался с ней. Выдумка вполне допустимая. Но психологическая фантазия необходима при описании душевного состояния человека, осужденного на казнь. Только истинный художник «сможет сам прийти в то состояние, которое описывает».

Однако мы не можем пройти мимо одного парадокса. Толстого, столь тонко понимавшего жизнь, знание психологии порой подводило. Это случалось в обыденной жизни. Вспомним, например, его советы государю о разрыве с Церковью или Столыпину — о реализации аграрных проектов Генри Джорджа. Свою семейную драму он во многом создал сам, но не без помощи Демона, мучившего его всю жизнь. В нем переплелось, казалось, несовместимое: бесконечность интеллекта и практическая беспомощность. Но пока жив человек, он будет благодарен Толстому-сердцеведу за его «диалектику души». Писатель мастерски совмещал в себе сонм разностей: был офицером, охотником, помещиком, лошадником, лесоводом, лингвистом, наконец, семьянином... Всего не перечислишь. Но во всех своих ипостасях он оставался прежде всего художником, в котором одна часть существа следила за другой: критик за мыслителем, аскет за сладострастником, интроверт за экстравертом.

Вся его долгая жизнь была овеяна духом писательства, самой важной формой его сублимированной личности. Его утренний гений не знал покоя, особенно весной: март и апрель — любимые рабочие месяцы Толстого, когда он мог исписать до 18 листов в день. Летом писательские страсти уравнивались хозяйственными делами. Осенью «глупел», было не до писаний. Каждый художник черпает вдохновение из различных источников. Гоголь, например, воодушевлялся дымом. Писал, сжигал написанное и снова писал. Шиллер не мог писать, если не вдыхал запаха гнилых яблок, а Ибсен, как и Толстой, — гиацинтов.

Великие писатели бывают меньше или больше своих шедевров. В этом и состоит их различие. Писатели, которые меньше своих сочинений, как правило, не имеют биографий. Здесь человек умирает в книге и остается лишь автор. Гейне, Гюго, Флобер, Бальзак, Тургенев — подвижники литературы, всю свою жизнь подчинившие писа-

тельству, ставшему для них всем. Ради литературы они не встречались с любимыми, не наслаждались всеми прелестями повседневной жизни. Они были подобны механизму, работавшему до 16 часов в сутки, не отрываясь от конторки или письменного стола. Страсть к писательству иссушила их сердца. Жизнь становилась исключительно литературной, избегавшей человеческой повседневности. Не в одном писателе художник «съел» человека. Вместо того чтобы мечтать о любимой, он мечтал о сонете, в поцелуе искал новеллу, а в любви — романский шедевр.

Но есть художники, которые больше своих сочинений. Они живут, одновременно наслаждаясь и первой и второй реальностями. Среди них бесспорно лидирует Лев Толстой, сам себе создавший большую биографию. Всю свою жизнь он балансировал между аскетизмом и сладострастием, между чуткой совестью и сверхчувственной природой, наблюдая за быстроменяющимся культурно-литературным ландшафтом. Бывшие литературные шедевры превращались в некие музейные ценности, убеждая его в том, что форма романа устарела. Толстой убеждался в очевидном: в невозможности написания длинной поэмы или романа. Ему казалось, что художественные произведения отомрут, и сочинительство — про выдуманного Ивана Ивановича или Марью Петровну — окажется просто бесполезным.

Традиционное «персональное» художественное письмо, с его точки зрения, кануло в Лету: все пишут теперь «на одно копыто». «Сначала, — размышлял Толстой, — превосходное описание природы — идет дождик, — и так написано, что и Тургенев не написал бы так, а уж обо мне и говорить нечего. А потом девица — мечтает о нем... И все это: и глупое чувство девицы, и дождик — все нужно только для того, чтобы Б. написал рассказ. Как обыкновенно, когда не о чем говорить, говорят о погоде, так и писатели: когда писать нечего, о погоде пишут, а это пора оставить. Ну, шел дождик, мог бы и не идти с таким же успехом. Я думаю, что все это в литературе должно закончиться. Ведь просто читать больше невозможно», — констатировал Лев Толстой начало конца литературы, сопровождаемое «смертью автора». Литература напоминала ему теперь исписанный лист бумаги,

который следовало перевернуть, чтобы начать другой. Когда-то почетное звание писателя — «Автор» превратилось теперь в весьма будничным и слегка потрепанный титул. Не всякий пишущий человек может быть удостоен звания «писатель». В лучшем случае он получит название «человека литературы», живущего за счет своего быстрого пера. Сам Толстой в последние годы жизни увлекся компиляциями — «Мысли мудрых людей на каждый день», «Круг чтения», «Путь жизни». Время превращало его в целомудренного аскета, и он убирал «плоть» отовсюду, предпочитая ей чистоту краткоречия, а авторству — анонимность. Его увлекла «танцующая мысль», которую он открыл в афоризмах.

Многие писатели занимались коллекционированием: Гюго собирал на аукционах чернильницы своих собратьев по перу, Гёте и Рескин — античные слепки и камни древности. Толстого увлекли совсем иные «экспонаты» — афоризмы. Собранную коллекцию он разместил в своих антологиях, доказав очевидное: литература «уже была». Гоцци насчитал 36 трагических ситуаций, используемых драматургами, а Жерар де Нерваль сократил их до 24, добавив, что все они являются следствием семи смертных грехов.

Борьба «великого интроверта с сильным экстравертом» завершилась сокрушительной победой последнего, устремленного к слиянию со всем человечеством. Он больше не хотел писать великие книги о смысле человеческого бытия. Но если бы где-то там, где завершается земное, нас спросили, как мы понимаем нашу жизнь на земле, нам не осталось бы ничего иного, как протянуть магические книги Льва Толстого о тайне человеческой души.

Глава 10

Охота пуще неволи

Самое молодецкое удовольствие, от которого замирало сердце, конечно, охота. Лев Толстой запомнил это чувство с малолетства, когда радостные эмоции были

омрачены состоянием любимой собаки Берфы, «миллой, коричневой с прекрасными глазами и мягкой, курчавой шерстью», у которой была сломана лапа и она уже не была пригодна для охоты. Об этом прямо и решительно заявил гувернер Федор Иванович: «Не годится. Повесить ее. Один конец». Маленький Лёва на подсознательном уровне расценил это как дурной поступок взрослого человека. Несмотря на это, охота на протяжении многих лет оставалась для писателя увлекательным, азартным занятием. Инстинктом охоты, который, без сомнения, являлся родовым, он был пронизан насквозь, считая его настоящим мужским делом, сопровождавшимся сонмом удовольствий. Охота представляла собой не только гордость, торжество мужского величия, но и чувство стыда за содеянное убийство животных. С самого начала Толстой был преисполнен дуальных чувств к охоте, которые впоследствии разлучили его с подобным образом жизни. Она перестала быть одной из составляющих его повседневности, главной страстью и прелестью усадебной жизни.

В молодые годы писатель предпочитал охотиться на волков в Веневском и Каширском уездах, в имениях знакомых — братьев князей Черкасских. После одной удачной охоты он написал шутливый рассказ «Фаустина и Паулина», над которым мужчины много смеялись. Героини юморески являлись гувернантками господина Глебова. В качестве зрительниц они выезжали на охоту, чем дали повод Толстому к безобидной шутке. Позже многие из его бывших знакомых с трудом могли узнать в аскете, отрекшемся от молодеческой страсти, заядлого охотника, несущегося во весь опор по лесам и полям со своей «неизменной Милкой».

Заметим, что охота была связана прежде всего с собаками, непременным атрибутом «военного похода». Они подразделялись на два типа. Для обычной охоты требовалась стая гончих, не менее шести, хотя бы одна свора борзых в количестве двух-трех собак в одной связке. Но обычно брали с собой три-четыре своры. Собаки для Толстого были предметом гордости, заботы и даже страсти. Особых хозяйских «почестей» удостоивалась любимица Милка, черно-пегая английская краса-

вица-борзая, которая постоянно находилась около писателя. Она никогда не бросалась за зверем просто так, а «настигала» его, идя наперерез, чтобы сэкономить силы. Если не было других собак, она старалась вовсю. Однажды Толстой остался с одной Милкой между двух островов на перемышке, и она вчистую расправилась с тремя зайцами. Лев Николаевич, по свидетельству охотников, был чрезвычайно суеверным, как и большинство его партнеров-соперников. Он всегда молился, когда долго не шел зверь, чтобы тот наконец появился.

Толстой во всем был своеобразным, не похожим ни на кого, в том числе и на обычного охотника. Он выделялся внешностью: одевался нетипично, не как другие. Например, стремена у него были деревянные, а не железные. Уже тогда он носил блузу, являвшуюся сначала охотничьей любимой одеждой, а впоследствии ставшей еще и писательской — «толстовской». Охоту он всегда сравнивал с войной: «Как от сметки и находчивости охотника часто зависит удача охоты, так и успех войны — от сообразительности военачальника. Диспозиция, иногда прекрасно задуманная, из-за какого-нибудь непредвиденного пустяка не достигала цели. Все тогда спутывалось, и в результате — полная неудача».

В 1857 году Толстой прибыл в Тифлис для определения на службу и успел «поохотиться с собаками, которых там купил (в станице Старогладковской). «Охота здесь — чудо, — писал он брату Сергею. — Чистые поля, болотца, набитые русаками, и острова — не из леса, а из камыша, в котором держатся лисицы. Я всего девять раз был в поле, от станицы в 10—15 верстах, и с двумя собаками, из которых одна отличная, а другая дрянь; затравил двух лисиц и русаков с 60. Как приеду, так попробую травить коз. На охотах с ружьями на кабанов, оленей я присутствовал неоднократно, но ничего сам не убил. Охота эта тоже очень приятна, но, привыкнув охотиться с борзыми, нельзя полюбить эту». Возвратившись с Кавказа в Ясную Поляну, Толстой в своем рабочем нижнем кабинете повесил оленьи рога и чучело оленьей головы. На рога он обычно вешал полотенце и шляпу, используя их в качестве вешалки.

«Все земное идет мимо, все прах и суета, кроме охоты», — говорил Тургенев. Под этими словами могли бы подписаться многие его собратья по перу. Так, поэт Афанасий Фет любил вспоминать, как известный вожак медвежьих охот, Осташков, явился к Толстому: «Его появление в среде охотников можно только сравнить с погружением раскаленного железа в воду. Все забурило и зашумело. Ввиду того, что каждому охотнику на медведя рекомендовалось иметь с собой два ружья, граф Лев Николаевич выпросил у меня мою немецкую двустволку, предназначенную для дробы. В условленный день наши охотники (Лев Николаевич и Николай Николаевич. — *Н. Н.*) отправились на Николаевский вокзал». Это происходило в декабре 1858 года близ Вышне-го Волочка. О той охоте впоследствии рассказывал и сам Лев Николаевич. В мельчайших подробностях запомнил это и А. Фет, воспроизведя в своих воспоминаниях: «Когда охотники, каждый с двумя заряженными ружьями, были расставлены вдоль поляны, проходившей по изборозженному в шахматном порядке просеками лесу, то им рекомендовали пошире отоптать вокруг себя глубокий снег, чтобы таким образом получить возможно большую свободу движений. Но Лев Николаевич, становясь на указанном месте чуть не по пояс в снег, объявил отаптывание лишним, так как дело состояло в стрелянии в медведя, а не в ратоборстве с ним. В таком соображении граф ограничился поставить свое заряженное ружье к стволу дерева так, чтобы, выпустив свои два выстрела, бросить свое ружье и, протянув руку, схватить мое. Поднятая Осташковым с берлоги громадная медведица не заставила себя долго ждать. Она бросилась к долине, вдоль которой расположены были стрелки, по одной из перпендикулярных к ней продольных просек, выходявших на ближайшего справа ко Льву Николаевичу стрелка, вследствие чего граф даже не мог видеть приближение медведицы. Но зверь, быть может, учуяв охотника, на которого все время шел, вдруг бросился по перечной просеке и внезапно очутился в самом недалеком расстоянии на просеке против Толстого, на которого стремительно помчался. Спокойно прицелясь, Лев Николаевич спустил курок,

но, вероятно, промахнулся, так как в клубе дыма увидал перед собой набегающую массу, по которой выстрелил почти в упор и попал пулею в зев, где она завязла между зубами. Отпрянуть в сторону граф не мог, так как неотоптаный снег не давал ему простора, а схватить мое ружье не успел, получивши в грудь сильный толчок, от которого навзничь повалился в снег. Медведица с разбега перескочила через него.

“Ну, — подумал граф, — все кончено. Я дал промах и не успею выстрелить по ней другой раз”. Но в ту же минуту он увидел над головою что-то темное. Это была медведица, которая, мгновенно вернувшись назад, старалась прокусить череп ранившему ее охотнику. Лежащий навзничь, как связанный, в глубоком снегу, Толстой мог оказывать только пассивное сопротивление, стараясь по возможности втягивать голову в плечи и подставлять лохматую шапку под зев животного. Быть может, вследствие таких инстинктивных приемов зверь, промахнувшись зубами раза с два, успел только дать одну значительную хватку, прорвав верхними зубами щеку под левым глазом и сорвав нижними всю левую половину кожи со лба. В эту минуту случившийся поблизости Осташков, с небольшой, как всегда, хворостинной в руке, подбежал к медведице и, расставив руки, закричал свое обычное: “Куда ты, куда ты?” Услыхав это восклицание, медведица бросилась прочь со всех ног, и ее, как помнится, вновь обошли и добились на другой день».

Охота в семье Толстых была не пустой забавой, а настоящим культом, главным помещичьим делом. Маленькому Лёве с детства прививалось умение «всю энергию направить на молодечество охоты». Подготовка взрослых к охоте, их разговоры, собаки, лошади — все приводило его в восторг. Когда он подрос и сам стал принимать участие в охоте, его первый опыт оказался не слишком удачным. Он протравил зайца, как это описано в повести «Детство».

Охота — это особый мир, требовавший к себе серьезного отношения. По традиции перед охотой, как перед битвой, мужчины тщательно брились, надевали белоснежные рубашки, потом выпивали из серебряного

кубка охотничью запеканочку, закусывали и запивали бордо. Иногда брали с собой на охоту шутов. Многие помещики, как дядюшка Наташи Ростовой, всю свою жизнь посвящали только охоте.

Лев Толстой считал, что только охотник, как и земледелец, может испытать чувство восторга, даруемое красотой природы. Он брал с собой на охоту растертый с маслом зеленый сыр и укладывал его в продолбленный белый хлеб.

В пору страстного увлечения охотой Толстой без жалости убивал животных. Подстрелит, например, птицу, выдернет из ее крыльев перо и вонзит его ей прямо в голову. Опьяненный азартом, он испытывал порой истинное наслаждение при виде страдающего, умирающего животного. С годами инстинкт охотника угасал, но иногда в нем вдруг невольно просыпался охотник, и руки его тотчас же подымались в тоске по выстрелу при виде прыгающего по полю зайца. Но Толстой научил себя побеждать такие желания.

Собак у Толстого было не так уж много. Ими заведовала Агафья Михайловна, «собачья гувернантка», как в шутку называли ее все в Ясной Поляне из-за любви к собакам. Лев Николаевич предпочитал охотиться с борзыми и гончими, особенно в огромных, безлюдных, диких засечных лесах, окружавших усадьбу. У него был чудный ирландский сеттер — удивительно умная, ласковая собака по кличке Дора, названная, как и другие его собаки, именами диккенсовских героев. С Дорой Лев Николаевич ходил на болота за вальдшнепами, тетеревами и утками.

Толстой любил самую охотничью погоду — теплый морозящий дождь, шум падающей листвы. Собакам было хорошо бегать в такую погоду, а заяц, как говорил Лев Николаевич, в это время крепко лежал в поле.

Но охота не всегда была для Толстого удачной. Однажды он упал с лошади и сломал правую руку, которую потом трижды выправляли ему опытные врачи.

На тетеревов, рябчиков Толстой охотился в Новгородской, Брянской, Курской и прочих губерниях. На волчью охоту отправлялся в Шаховское и Никольское Тульской губернии, ходил на лосей под Серпуховом.

Не случайно многие толстовские герои, особенно Ростовы, страстные охотники. Вспомним сцену охоты, описанную в «Войне и мире» почти как военное сражение в миниатюре, полное внутреннего драматизма: «В поле вышло около ста пятидесяти собак и двадцати пяти конных охотников. Каждая собака знала хозяина, кличку, каждый охотник знал дело, знал свое место и назначение. Весь этот хаос визжавших собак, окрикивающих охотников, собравшихся на дворе дома, без шума и разговоров равномерно и спокойно расплылся по полю, как только вышли за ограду. Только слышно было изредка подсвистыванье, храп лошади или взвизг собаки и, как по пушному ковру, шаги лошадей и побрякивание железки ошейника. Едва выехали за Чепыж, как по полю показались еще пять охотников с борзыми и два с гончими».

Толстой любил это состояние, дарящее «радость жизни и ожидания», позволяющее забывать про все на свете. На «чудных болотах» с бекасами и дупелями Толстой охотился, как и его герой Левин, с чувством «сосредоточенного волнения»: «Вбежав в болото, Ласка тотчас же среди знакомых ей запахов кореньев, болотных трав, ржавчины и чуждого запаха лошадиного помета почувствовала рассеянный по всему этому месту запах птицы, той самой пахучей птицы, которая более всех других волновала ее... В десяти шагах, с особенным дупелиным выпуклым звуком крыльев поднялся один дупель. И вслед за выстрелом тяжело шлепнулся белою грудью о мокрую трясиину. Другой не дождался и сзади Левина поднялся без собаки. Когда Левин повернулся к нему, он был уже далеко. Но выстрел догнал его. Пролетев шагов двадцать, второй дупель поднялся кверху колом и кубарем, как брошенный мячик, тяжело упал на сухое место. “Вот это будет толк!” — думал Левин, запрягивая в ягдташ теплых и жирных дупелей... Когда Левин... тронулся дальше, солнце... уже взошло. Месяц, потеряв весь блеск, как облачко, белел на небе; звезд не видно было уже ни одной. Мочежинки, прежде серебрившиеся росой, теперь золотились. ...Синева трав перешла в желтоватую зелень. Болотные птички копошились на блестящих росой и клавших длинную тень

кустиках у ручья. Ястреб проснулся и сидел на копне. Галки летели в поле...»

Охотничья горячка начиналась с сентября, с появлением зазимок, утренних легких морозцев, сковывающих тонким льдом землю, устланную павшей листвой.

Толстой любил охотиться вместе со своими братьями в Никольском-Вяземском, Пирогове. Иногда к ним присоединялись Фет и Тургенев, тоже заядлые охотники. В этих местах травили лисиц, волков и зайцев. В Ясной Поляне охотились на болотах в Дегатне или Малахове, стояли на тяге в Старом Заказе. Но особенно любили охотники леса за рекой Воронкой, на месте Старого пчельника и Круглого осинника, на болотистой поляне.

В мае 1880 года Толстой с Тургеневым охотились здесь на вальдшнепов. Ружейную охоту знатоки называли «охотой по перу». В этом виде охоты Льву Николаевичу не было равных.

Иногда охота становилась для Толстого веселым занятием, особенно если к нему присоединялась любимая свояченица Таня Берс. «Травля за зайцами. Езжу с Лёвочкой через день на охоту верхом с борзыми собаками, то есть такое наслаждение я никогда не испытывала. Затравила несколько зайцев, скачу за ними, как угорелая, раз слетела с лошади, не ушиблась, но очень испугалась. Перепрыгиваю канавы, кусты, делаю по 45 верст в день. С утра до вечера ездим, теперь ждем пороши». Порой подключались и племянницы писателя. Одна из них, Варя Нагорнова, вспоминала впоследствии об осенней псовой охоте: «Дядя Лёвочка, страшно любивший охоту, часто ездил с борзыми, иногда даже в отъездное поле. Таня почти всегда сопровождала его. Это было ее любимое удовольствие. Она говорила: "Охота сближает с природой, которую я так страстно люблю". Я и сестра Лиза тоже принимали участие в охоте верхом, а чаще в санях. Нам особенно нравилась осенняя природа. Эта яркая окраска леса в солнечный день, когда желтые листья осыпались с деревьев и, медленно крутясь в воздухе, падали на землю.

Не стану описывать самой охоты, она была уже описана несколько раз, скажу только, что удачная травля

вызывала истинную радость охотников, выраженную всеми общим говором, смехом и оглушительным не то визгом, не то криком Тани, который далеко несясь по полям».

Князь Д. Д. Оболенский рассказывал, что однажды «после охоты на Льва Николаевича нашел какой-то особенный стих, и он начал читать на память стихи, восхитив своим чтением». Когда хозяин был на охоте, гостей принимала его жена. «Стройная, изящная, простая в манере, в каждом движении, — вспоминал граф Соллогуб. — А туалет — проще простого: белый капот и поношенные деревенские башмаки. Потом, когда появилась фигура Наташи («Война и мир»), я не представлял себе ее домашнего туалета иначе, как на лад графини Софьи Андреевны». Вскоре приехал хозяин, легко соскочил с лошади: «...сухой, широкоплечий, в неопределенного цвета блузе, в болотных сапогах, с ружьем за плечами, окруженный собаками». Толстой и Соллогуб вошли в дом, где гостя поразило обилие книг и собачьих следов.

Псовая охота являлась типичным дворянским занятием. Для нее был нужен особый азарт, кураж — сродни ночной карточной игре, также являвшейся характерной приметой времени.

Охотиться отправлялись «по пороше» — свежавшему снегу, на котором легко «читались» заячьи следы. В поле охотники выбирали подходящее место — группу деревьев или небольшую рощицу. Ловчий расставлял охотников вокруг нее, а псари во главе с доезжачим пускали в лес гончих, задачей которых было спугнуть зайца, выгнать его из леса и гнать по открытому полю. Заяц попадал в зону действия одного или нескольких охотников. Тогда с привязи спускали борзых. Героем охоты являлся тот, чья борзая первой настигала зайца, ему отдавалась добыча. Удачной охотой признавалась такая, которая приносила добычу в 15—17 зайцев за день. Успех зависел не только от удачи, но и от умения ловчего выбрать место охоты, от количества борзых и способности гончих догнать добычу.

Порой Лев Николаевич устраивал охоту в честь важной персоны. Однажды он организовал такую охоту,

посвятив ее А. М. Исленьеву, деду жены, старику весьма колоритному — хранителю живой истории. Поехали с борзыми в наездку. Толстой взял с собой восьмилетнего сына, который уже вполне хорошо ездил верхом на высокой, зато смирной «Каширской». Лев Николаевич с малых лет приучал детей ездить верхом без седла и без стремян. Он дарил им то легавую собаку, то ягдташ и часто говорил детям в шутку: «Когда вы вырастаете большими, у вас будет три ружья, кинжалы, собаки, верховая лошадь».

Лев Николаевич был убежден, что собака «сердцем бежит, а не ногами», так же как люди делают дело не умом, не руками, а сердцем. Собаки, как и лошади, были излюбленной темой разговоров в семье писателя. Например, как у охотников называются хвосты разных животных: у лисицы — труба, у волка — полено, у зайца — цветок, у борзой — правило, у гончей — гон, у сеттера — перо, у пойнтера — прут, у дворняжки — хвост. Когда у Льва Николаевича было отличное настроение, он говорил: хвост закорючкой.

Трудно было представить, что страстный охотник, медвежатник, борзятник когда-нибудь станет противником охоты и назовет ее *«гонянием собак»*. Однажды знакомый Льва Николаевича сказал, что не понимает, как такие люди, как Тургенев, Хомяков и Толстой, охотились. Ведь в этом кроме немилосердия есть еще и нарушение красоты, гармонии природы: птица летит, а ты ее убиваешь. Лев Николаевич согласился, сделав при этом оговорку, что существует другая красота, которая захватывает охотника, — это собаки, их движение. А то, что стрелял без сострадания, так ведь весь переносишься в это состояние, которое тебе кажется истинным, как солдату на войне. Но на войне есть опасность, а здесь, на охоте — шутка. Очень тяжело убивать. Софья Андреевна добавила: «Заяц орет, как дитя». У русака лапки маленькие, у беляка — плоские и широкие. Об охоте и об убийстве животных ради пропитания Лев Николаевич сказал, что на охоте убивать менее ужасно — не видишь страданий. Но добывать птиц на охоте всегда тяжело. И вспомнил, как недавно индюшки плакали о смерти своей подруги,

которая попала под кухонный топор ради обеденного стола.

К старости Толстой был глубоко убежден в том, что охота является варварством. Он не раз говорил о том, как трудно ему было отказаться от врожденного охотничьего азарта. Ведь и отец, и дед по отцовской линии были заядлыми охотниками, считая это занятие чрезвычайно важным. Не так давно он увидел, как собаки гнались за зайцем. Если поймают, подумал он, будет жалко. Но, слава богу, не поймали.

Как-то раз, гуляя, писатель услышал выстрел и догадался, что стрелял сын Илья. Лев Николаевич нарочно пошел другой дорогой, чтобы только не видеть убитой дичи. Он нередко советовал молодым людям бросить эту забаву. «Нехорошее дело! Нельзя убивать! Все живое хочет жить. Мне совестно говорить это потому, что я сам до 50 лет охотился на зайцев и на медведей. Вот это у меня след от медведя», — и показал рубец на правой стороне лба.

Теперь он был убежден, что охота — атавизм и что люди скоро откажутся от этого занятия. Моду на охоту он считал очень жестокой. Например, Самарин охотился без всякой к тому склонности, а племянница Толстого Варя Нагорнова, с 15 лет охотившаяся вместе с писателем, всего-навсего следовала обычаю. Читая рассказ Чехова о борьбе охотника с волком (рассказ «Волк». — *Н. Н.*), Толстой вспомнил о бешеном волке, укусившем его бульдога, который вскоре взбесился. Этот случай с любимой собакой Булькой он описал в рассказе «Булька и волк». А еще вспомнил о бешеном волке, который покусал урядника и мужика, и как баба задушила волка, когда тот бросился на ее сына. Она сунула волку в пасть свою руку почти по локоть. Теперь, приходя с прогулки, Толстой рассказывал, что видел рябчика и что совестно было бы стрелять в него.

Итак, охота со временем потеряла свою привлекательность. Погоня за хищником, жажда его крови более не возбуждали писателя, не ассоциировались с жертвоприношением. Почти 30 лет он поэтизировал охоту, с античных времен считавшуюся прерогативой избранных. Но наступила пора переосмысления, и то, что ког-

да-то казалось романтической забавой, привычным от вечности, он расценивал теперь как варварство и зло. Правда, иногда инстинкт охотника все же в Толстом просыпался: при виде бегущего волка он не выдерживал и по инерции начинал кричать. Волк останавливался. Тогда Толстой начинал свистеть, и хищник убегал прочь. Лев Николаевич понимал, что вся привлекательность охоты заключалась для него в способности перехитрить опасного зверя, это и заставляло его во время схватки забывать о жестокости.

В каждом четвероногом существе Толстой теперь видел личность, воплощение божества. Ведь Бог, как полагал яснополянский пантеист, «един для всех, и он — везде». О собаках он знал все: как они «улыбаются» и как не выдерживают человеческого взгляда. Как-то за обедом, когда под столом сновали собаки, Лев Николаевич припомнил, что в Москве на Смоленском базаре сидевшие за решеткой огромные псы могли выдержать его взгляд три минуты.

Во время прогулок по окрестностям Ясной Поляны Толстого непременно сопровождали собаки, и он считал совершенно справедливым решение Артура Шопенгауэра включить в завещание в качестве наследника своего «умного пуделя» и назвал это достойным поступком. На прогулку Толстой обычно брал с собой состарившуюся сибирскую лайку, которую ценил за «ум и оригинальный, самостоятельный характер и за приятный лай». «Ну что, Белка, пойдем гулять?» — говорил он, и она медленно поднималась на своих слабых лапах и, виляя хвостом, прихрамывая, следовала за хозяином. Белку, как и других собак, Толстой очеловечивал, считал, что у них особый характер. Он дорожил ласковым, смышленным Шариком, приносившим ему из передней шапку и радостно тыкавшимся в него мокрым носом. А Толстой подбадривал своего питомца: «Ну, поговори со мною, Шарик!» Собаки любили его, даже недоверчивая Жучка часто ластилась к нему. Он разговаривал с ними, гладил и жалел их. Лаявшей собаке обычно ласково говорил: «Не сердиться».

Свою любовь к братьям меньшим Толстой передал детям и внукам. Когда пропал пес Найденный, его друж-

но поехали искать на двух санях и стар и млад. Дочь писателя Саша, узнав об осиротевших щенятах, сидящих в будке, перевезла их в усадьбу, но Софья Андреевна приказала прислуге утопить их. Было очень жалко щенят, особенно маленьким внукам. И дед рассказал им историю из своего детства, о том, как он с братьями нашел в овраге убитых деревенскими ребятами щенят и как долго после этого плакал. И тотчас же последовал вывод: «Кто губит собак — тот губит себя». Дедовские рассказы бросили свое семя. Когда щенок Мушка попал в колодец, его спасали совместными усилиями, словно это был ребенок. Попутно рассуждали, что бы было, если бы не топили щенят и не убивали домашних животных. Все сошлись в одном: необходимо ограничить размножение, нужна саморегуляция, а Толстой добавил еще, что надо есть фрукты, а не яйца и дичь. Только так, по его мнению, можно было бы восстановить баланс между природой и человеком, как это было во времена Франциска Ассизского, когда дикие птицы садились на плечи людей. Толстой рассказал, что на Соловецких островах звери и птицы не боятся людей, потому что здесь действует общий для всех закон — и для монахов, и для паломников — не трогать животных.

Удивительное дело: Толстой умел открывать для себя что-то новое повсюду, в том числе и в воспоминаниях. Повседневность во всем своем будничном разнообразии брала реванш за дистанцированность от нее в момент творчества, когда он писал сцену охоты в «Анне Карениной», которой всегда гордился, потому что считал, что в ней нет фальши, и она правдива. Повседневность бесцеремонно вторгалась в его творческое пространство, заставляя путешествовать во времени, поднимая из глубин памяти то, что казалось ему окончательно похороненным. Так, однажды сын Михаил принес детям медвежонка, чтобы они поиграли с ним. Медвежонок оказался на редкость смышленным и быстро привязался ко всем домашним. После всего этого сын писателя не смог больше ходить на медведя, решив и медвежонок отпустить на волю в один из ближайших казенных лесов. Лев Николаевич просил этого не делать, потому что в яснополянских лесах никогда мед-

ведь не водился, говорил, что его следует отпустить там, где водятся его собратья.

Случай с прирученным медвежонком напомнил Толстому о днях молодости, о схватке с медведем, следы от которой остались на лице.

«Шагах от меня в пяти весь мне виден: грудь черная, иловища огромная с рыжинкой. Летит прямохонько на меня лбом и сыплет снег во все стороны. И вижу я по глазам медведя, что он не видит меня, а с испугу катит благим матом, куда попало. Только ход ему прямо на со-сну, где я стою. Вскинул я ружье, выстрелил, — а уж он еще ближе. Вижу, не попал, пулю пронесло; а он и не слышит, катит на меня и все не видит. Пригнул я ружье, чуть не упер в него, в голову. Хлоп! — вижу, попал, а не убил.

Приподнял он голову, прижал уши, осклабился и прямо ко мне. Хватился я за другое ружье; но только взялся рукой, уж он налетел на меня, сбил с ног в снег и перескочил через. “Ну, — думаю, — хорошо, что он бросил меня”. Стал я подниматься, слышу — давит меня что-то, не пускает. Он с налету не удержался, перескочил через меня, да повернулся передом назад и навалился на меня всюю грудью. Слышу я, лежит на мне тяжелое, слышу теплое над лицом и слышу, забирает он в пасть все лицо мое. Нос мой уж у него во рту, и чую я — жарко и кровью от него пахнет. Надавил он меня лапами за плечи, и не могу я шевельнуться. Только подгибаю голову к груди, из пасти нос и глаза выворачиваю. А он норовит как раз в глаза и нос зацепить. Слышу: зацепил он зубами верхней челюстью в лоб под волосами, а нижней челюстью в мослак под глазами, стиснул зубы, начал давить. Как но-жами режут мне голову; бьюсь я, выдергиваюсь, а он то-ропится и как собака грызет — жамкнет, жамкнет. Я вы-вернусь, он опять забирает. “Ну, — думаю, — конец мой пришел”. Слышу, вдруг полегло на мне. Смотрю — нет его: соскочил он с меня и убежал.

Когда товарищ и Демьян увидали, что медведь сбил меня в снег и грызет, они бросились ко мне. Товарищ хотел поскорее поспеть, да ошибся; вместо того, чтобы бежать по протоптанной дорожке, он побежал целиком и упал. Пока он выкарабкивался из снега, медведь

все грыз меня. А Демьян, как был, без ружья, с одной хворостиной, пустился по дорожке, сам кричит: “Барина заел! Барина заел!” Сам бежит и кричит на медведя: “Ах ты, баламутный! Что делает! Брось! Брось!”

Послушался медведь, бросил меня и побежал. Когда я поднялся, на снегу крови было, точно барана зарезали, и над глазами лохмотьями висело мясо, а сгоряча больно не было... Доктор зашил мне раны шелком, и они стали заживать. Через месяц мы поехали опять на этого медведя; но мне не удалось добить его. Медведь не выходил из обклада, а все ходил кругом и ревел страшным голосом. Демьян добил его. У медведя этого моим выстрелом была перебита нижняя челюсть и выбит зуб.

Медведь этот был очень велик и на нем прекрасная черная шкура.

Я сделал из нее чучелу, и она лежит у меня в горнице. Раны у меня на лбу зажили, так что только чуть-чуть видно, где они были». Что ж, все хорошо, что хорошо кончается. После этого случая, произошедшего с ним, можно было стать фаталистом. Толстой второй раз родился после того, как был сражен медведем и усмотрел в этой случайности Судьбу, почувствовал поцелуй Бога.

Часто, гуляя по Ясной Поляне, писатель видел на «не продавленном следе человека продавленный след собаки. Зачем у ней точка опоры мала? Чтоб она съела зайцев не всех, а ровно сколько нужно. Это премудрость Бога; но это не премудрость, не ум. Это инстинкт божества. Этот инстинкт есть в нас. С страшной ясностью, силой и наслаждением пришли мне эти мысли». Да, инстинкт сильнее ума. Но бывали с ним такие случаи, как, например, медвежья охота, когда все выходило совсем наоборот — ум побеждал инстинкт.

Глава 11

О-ля-ля!

Кроме охоты была еще одна страсть — спорт. Лыжи, коньки, верховая езда, плавание, крокет... Не перечислить всего, без чего немыслима была яснополянская повседневность.

Усадебный мир Ясной Поляны вполне узнаваем в толстовских шедеврах. Множество раз писатель оживлял свои воспоминания, перевоплощая их в бессмертные тексты. Игра вымысла и реальности, как игра света и тени, — излюбленный прием писателя. Но порой силой своего воображения он создавал такие выразительные образы, что они казались живее самой реальности.

Именно так произошло с описанием игры в теннис на страницах романа «Анна Каренина». Теннис, появившийся в 1873 году в Англии, стал очень популярен и в России. В лаун-теннис играли на крокетных, твердых или покрытых дерном площадках. Но еще раньше, например, старинные короли у Шекспира и Сервантеса, по словам Владимира Набокова, играли в эту замечательную игру в закрытых помещениях. Играли, конечно, не только царственные особы. Так, в Ясной Поляне совсем «по-королевски» играл в непогоду в волан Толстой в зале своего дома. Обитатели Ясной Поляны теннисом стали увлекаться уже после того, как в него сыграли на страницах романа толстовские герои. Так жизнь романная повлияла на жизнь реальную. Описанная романистом с мастерством и азартом модная спортивная игра в загородном имении Вронского предопределила теннисную «лихорадку», вспыхнувшую несколько лет спустя в Ясной Поляне.

Толстой, ни разу не бравший ракетку в руки, описал новомодную игру как опытный и заядлый теннисист: «Стали играть в lawn-tennis. Игроки, разделившись на две партии, расстановились на тщательно выровненном и убитом крокетграунде, по обе стороны натянутой сетки с золочеными столбиками... Свияжский и Вронский оба играли очень хорошо и серьезно. Они зорко следили за кидаемым к ним мячом, не торопясь и не мешкая, ловко подбегали к нему, выжидали прыжок и, метко и верно поддавая мяч ракеткой, перекидывали за сетку».

В Ясную Поляну теннис пришел не сразу после написания романа. Только во второй половине 1890-х годов в усадьбе появилась обширная теннисная площадка с твердым покрытием на месте старого партера перед домом: между старыми березами Прешпекта и

дорожкой, проходившей к Клинам. Точность, расчет, быстрая реакция, которых требовал теннис, — это как раз то, что соответствовало характеру писателя. Именно поэтому он увлекся игрой. С. А. Толстая записала в своем дневнике: «Лев Николаевич сегодня часа три играл с азартом в lawn-tennis».

Однажды сын писателя, Илья, назвал младшего Раевского первым знаменитым русским игроком в лаун-теннис.

— Какой знаменитый? — удивился Лев Николаевич. — Спросите англичанина: «Играете в теннис?» Он ответит небрежно: «Играю», а играет лучше всех нас. Для них это неудивительно.

В семье Толстого увлекались не только лаун-теннисом, но и крокетом. Шурин писателя С. А. Берс так вспоминал об игре в крокет в Ясной Поляне: «В ней участвовали все, и взрослые, и дети. Она начиналась обыкновенно после обеда и кончалась со свечами. Игру эту я и теперь готов считать азартной, потому что я играл в нее с Львом Николаевичем. Удачно сыграет противник или кто-нибудь из его партии, одобрение и замечания его вызывали удовольствие сыгравшего и энергию противников.

Ошибется кто-нибудь — его веселая и добрая насмешка вознаградит промах. Простое слово, всегда вовремя сказанное им и его тоном, поселяло во всех тот *entrain* (задор. — *Н. Н.*), с которым можно весело делать не только интересное, но и то, что без него было бы скучно. В игре в крокет, в прогулке он оживлял всех своим юмором и участием, искренне интересуясь игрой и прогулкой. Не было такой простой мысли и самого простого действия, которым бы Л. Н. не умел придать интереса и вызвать к ним хорошего и веселого отношения в окружающих».

До глубокой старости Толстой любил верховую езду. Верховые прогулки писатель совершал почти каждый день перед обедом. «В своих пеших и верховых прогулках по засекам, — вспоминал старший сын писателя, — Лев Николаевич особенно любил бывать в таких местах, где он раньше еще не бывал, следовать по еле заметным незнакомым тропинкам, не зная, куда они приведут, и блуждать по мало проходимым и безлюд-

ным местам, — искать новых путей». И. Н. Крамской говорил, что писатель в охотничьем костюме, верхом на лошади был самым красивым мужчиной, которого ему когда-либо доводилось видеть. Отказаться от прогулки на лошади Толстой мог только в самом крайнем случае. Секретарь писателя В. Ф. Булгаков рассказывал: «Если шел дождь, Лев Николаевич надевал непромокаемое пальто, но все-таки ехал; то же самое во время легкого недомогания; он мог ехать тихо, мог поехать недалеко, но совсем отказаться от поездки ему было трудно».

Прогулки верхом вызывали у Толстого настоящий восторг, особенно когда совершал их на Сашином полуарабском коне, на Делире, у которого ноги были крепкие, и он почти никогда не спотыкался. Характер у Делира к тому же был веселый. Чаще «выезжал к Козловке, не доезжая до железной дороги и сворачивал влево, к шоссе, к мосту, потом к лесу, к купальне и оттуда нашим лесом домой», — вспоминал постоянный попутчик Толстого Д. П. Маковицкий. Получался круг в десять верст. Иногда Лев Николаевич выезжал на коне по кличке Мухорный, смирном и добром. А однажды заблудился — поехал на Делире по шоссе через Кудяров Колодец на Рвы, потом к Засеке и сбился с пути. Уже наступили сумерки, когда Толстой выехал к Угрюмам и вернулся домой к шести часам вечера. В общей сложности он проехал 26 верст за три часа, и почти все рысью.

На Косой Горе жил знакомый Толстого, кузнец, к которому он часто приезжал, чтобы подковать лошадь. Сам же в это время ходил пешком на Рудакову Гору. Лев Николаевич гордился тем, что верхом на лошади в общей сложности он проездил целых семь лет. Верховой ездой увлекся в 17 лет и в среднем проводил в седле три часа в день, в молодости — по восемь-десять часов. Считал верховую езду «самым лучшим условием для отличной душевной работы». Литератор Сергеев-Волкозьев как-то спросил Толстого: «Лучше, чем пешком?»

— Пешком устаешь, — признался писатель.

— А править лошадью не отвлекает?

— Нет, отвлекаешься на велосипеде. Ехал сегодня из

Деминки лесом пять верст к Козловке и к Овсянникову. Как хорошо! Правда, надо было смотреть на дорогу, везде — ямы, которых лошадь боится.

Лев Николаевич хорошо знал нрав каждой своей лошади. Был не в духе, когда с ней происходило что-то неладное. Однажды писатель поехал на Делире, а В. Г. Чертков сопровождал его на санях. По дороге домой Лев Николаевич решил пересест в сани, Делир побежал за санями и вдруг схватил хозяина за башлык зубами — не любил его отпускать, бегал за ним словно собака.

И в старости Толстой оставался отличным наездником и учил этому мастерству других: показывал, как надо примерять стремя, натягивать его, как держать в стремени ногу, как пользоваться поводьями. Сам же держал их следующим образом: пропускал между безымянным пальцем и мизинцем, потом под средним и указательным, выводил между указательным и большим пальцами. Писатель любил лошадей, с удовольствием вдыхал их запах, смешанный с ароматом сена. Когда Лев Николаевич с сыновьями появлялся на конюшне, кучер Филипп седлал для младших Толстых белого с розовыми глазами Колпика и небольшого резвого киргизенка Шарика, а огромную английскую кобылу Фру-Фру, названную так в честь одноименной популярной французской комедии, для самого писателя. Как мы знаем, лошадь Вронского в романе «Анна Каренина» тоже зовут Фру-Фру. На Запорожье Толстой обычно ездил в Тулу, чтобы подстричь себе волосы и бороду. Кстати, стригся обычно в полнолуние, взяв пример с магометан, когда был на Кавказе.

Любимцем Толстого был Делир, путавшийся тени травы и из-за этого часто шарахавшийся из стороны в сторону. Верхом на нем писателю лучше думалось. С прогулки он возвращался помолодевшим и вдохновленным. «Чудная прогулка», — говорил он и всегда хвалил Делира за его тихий размеренный шаг.

Толстой не только гениально перевоплощался в любой человеческий характер, в любую человеческую индивидуальность, но и мог проникнуть в субстанцию животного мира. Не случайно же он написал «Холстомера».

Когда Лев Николаевич страдал муками творчества, когда у него что-то не получалось, он все бросал и приказывал тотчас же оседлать лошадь. В седле он сидел как влитой, никогда не горбился. Правда, одно плечо было приподнято выше, другое — опущено. Примерно так же он сидел за письменным столом, когда работал над своими произведениями. Садился на маленький детский стульчик странным образом: будто присел ненадолго — правая рука лежала на столе, а левая только касалась стола одними пальцами.

Толстой любил обсуждать скачки, проходившие в самарском хуторе, в которых преимущественно участвовали киргизские лошади. Знакомый писателя Воронцов привез на соревнования отменных английских скакунов, которые оставили далеко позади местных лошадей. «Если ставить целью скорость, — говорил Толстой, — то тут не приходится обижаться, английские лошади в этом случае будут первыми». Он и сам бывал инициатором и вдохновителем скачек. Разве могли его оставить равнодушным дикие самарские скакуны, «прекрасный воздух, который нельзя понять, не испытавши», прелесть ночной степи, напоминавшей о скифах и Геродоте, кибитки, звезды, запах трав?

В 1875 году Толстой поехал на ярмарку в Покровку, чтобы купить лошадей для башкирских скачек «с призами на 25 верст». По возвращении в Ясную Поляну у Толстого «налаживается писать», и он вновь берется за «скучную, пошлую» «Анну Каренину» для того, чтобы «спихнуть ее как можно скорее с рук, чтобы опростать место — досуг, очень... нужный... для других, более забирających занятий». Но «забрало» его все-таки описание скачек в «Анне Карениной», вдохновленное «скифскими» степями и яркими башкирскими звездами. Вспомним, как Вронский успешно вел скачки, а потом сделал одно непростительное движение — опустил на седло и «положение его изменилось, и он понял, что случилось что-то ужасное... Вронский касался одной ногой земли, и его лошадь валилась на эту ногу. Он едва успел выпростать ногу, как она упала на один бок, тяжело хрипя, и, делая, чтобы подняться, тщетные усилия своею тонкою, потною шеей, она затрепыхалась на земле у его

ног, как подстреленная птица...». Эта сцена стала одной из главных метафор романа. Лев Николаевич был солидарен с А. Шопенгауэром, утверждавшим: «Думать, что животные не чувствуют, и не сочувствовать им — важнейший признак варварства».

Некоторых людей очень интересовало: на какой лошади Толстому удалось ускакать от чеченцев?

«Ехали в Грозный с Садо, мирным чеченцем, — отвечал он. — Я только что купил кабардинскую лошадь, темно-серого окраса, с широкой грудью, очень красивую. Сзади меня ехал Садо на светло-серой лошади, ногойской, степной, с длинными ногами, с большой головой, поджарой, очень некрасивой, но резвой, и Садо предложил мне обменяться лошадьми. Мы пересели, и тут выскочило из леса восемь-десять человек, что-то кричащих. У меня была шашка, а у Садо незаряженное ружье, которым он грозно махал, прицеливался и таким способом ускакал от них. Я же ускакал на лошади раньше».

Верховая езда не помешала Толстому увлечься велосипедом. В конце XIX века велосипеды только входили в моду, и Толстой не замедлил, приобретя себе эту новинку. Кататься он начал в большом московском Манеже зимой 1895 года. Шестидесятисемилетний писатель регулярно посещал Манеж, спровоцировал появление целого ряда статей на тему, как «Граф Лев Николаевич Толстой осваивал уроки езды на велосипеде». Уже в первый день «...после первого круга, сделанного графом с помощью вахтера, для всех стало очевидно, что Л. Н. Толстой овладеет скоро способностью управления велосипедом: он, подобно многим новичкам, не раскачивался отчаянно в седле, а сидел на нем покойно и прямо; его ноги на педалях работали ровно и не спеша, а руль при помощи вахтера делал, где следовало, соответственные повороты. Таким порядком вахтер Самойлов сделал по Манежу с графом два круга, и затем, при помощи же вахтера, Л. Н. Толстой сошел с велосипеда, причем лицо графа выражало полное удовольствие: видно было, что езда на велосипеде его заняла и очень понравилась ему...

Делая последний круг, граф, как бы чувствуя в себе

уверенность, попросил вахтера пустить его проехать одного.

— Еще рано, не привыкли, можете упасть.

— А когда вы пустите меня одного?

— Попробуем завтра, а на сегодня довольно и этого: сделали шесть кругов — будет пока».

Когда Толстой научился хорошо ездить на велосипеде, он решил его купить. Обошел лучшие московские велосипедные фирмы и остановился на одной из них, предлагавшей велосипеда фабрики И. К. Старлей. В магазине Абачина и Орлова один из велосипедов Толстому очень понравился. Велосипед был доставлен в Манеж, но граф так и не объявился там. Пошли слухи: одни говорили, что он отправился за границу с целью там приобрести велосипед, другие уверяли, что петербургские велосипедисты решили преподнести писателю особенный, «почетный велосипед», с посеребренными деталями, а третьи утверждали, что облюбованный Толстым велосипед уже был продан из Манежа другому покупателю.

На самом же деле в марте 1895 года писатель купил за 210 рублей английский велосипед фирмы «Ровер Старлей и К^о» за номером 97011. Вскоре он получил в подарок другой велосипед. Торговый дом Абачина и Орлова обратился к писателю с просьбой уступить купленный им велосипед, и граф согласился.

Вместе с отцом к езде на велосипеде пристрастились и его дочери — Татьяна и Мария. Поэтому в скором времени московская мастерская Н. А. Коробанова приняла заказ от семьи Толстого о переделке мужских велосипедов на дамские, обошедшейся в 12 рублей 50 копеек.

До самой старости Толстой оставался очень активным человеком: любил играть с молодежью в городки в аллеях парка, в крокет, лаун-теннис. Шестидесятилетний писатель бегал наперегонки с детьми, проезжал на велосипеде по 30 с лишним верст за день. Когда начинались подвижные игры, требующие силы и ловкости, он глаз не сводил с играющих. Часто не мог сдержать свой азарт и быстро включался в игру, проявляя при этом ловкость и грацию.

О феноменальной ловкости Толстого ходили легенды. Шурин писателя вспоминал, как седовласый Лев Николаевич, прогуливаясь с ним по залу и подсмеиваясь над чем-то, вдруг вскочил к нему на плечи. Современники отмечали поразительную спортивную форму Толстого, которую он сохранил до старости. Лев Николаевич любил упражнения с гантелями и не без гордости вспоминал о том, как он крестился в молодости двухпудовыми гирями.

Гимнастикой Толстой занимался ежедневно — по утрам в своем кабинете. Любовь к спорту пронес через всю свою жизнь: верховая езда, фехтование, бокс, плавание и пр. Спорт был его стихией, дарящей здоровье, ощущение полноты жизни. Крепость тела рождает бодрость духа — этот древний постулат был его кредо. Понимая огромное значение физических упражнений для полноценного и гармоничного развития человека, писатель стремился привить любовь к спорту и своим детям: он поставил для них на площадке перед домом «шаги» — своеобразную детскую карусель, «гимнастику» — гимнастический снаряд с кольцами и трапецией. Сам он все умел, все знал, и притом основательно.

Приехал как-то в Ясную Поляну один иностранец. Беседуя с писателем, он подошел к «гимнастике», на которой упражнялись дети Толстого, и проделал на снарядах какой-то незамысловатый трюк.

— Вот это искусство вам, граф, уж наверно незнакомо, — не без иронии сказал он Толстому.

Лев Николаевич засмеялся и показал, как надо заниматься гимнастикой. Иностранец был в полном восторге от ловких, профессионально проделанных Толстым упражнений.

Состязаясь в гимнастике с молодежью, Толстой любил демонстрировать свой «коронный» номер — «Ивана Михайловича». Так называлось тяжелое упражнение, суть которого состояла в том, чтобы повиснуть на руках на перекладине, просунув между ними ноги, и, приподнявшись кверху, сесть на перекладину. Пятидесятилетний Лев Николаевич делал это упражнение очень ловко, как молодой гимнаст! Но, бывало, задумывался: «Зачем я это делаю? Ведь духовной работе лучше спо-

собствует вегетарианство, правильное пищеварение, чем работа мышц». Перед смертью, 24 октября 1910 года Толстой записал в своем дневнике: «Начал делать не свойственную годам гимнастику и повалил на себя шкаф. То-то дурень». А чуть позже отметил в карманной записной книжке: «Совестно даже в дневнике признаться в своей глупости. Со вчерашнего дня начал делать гимнастику — помолодеть, дурак, хочет — и повалил на себя шкаф и напрасно измучился, то-то дурак 82-летний». Это было за 15 дней до его кончины.

До глубокой старости купался в пруду и в реке Воронке. Больше всего любил это делать после Ильина дня, когда люди обычно переставали купаться. Порой ездил верхом к друзьям Николаевым, жившим на даче у Красноглазовой, чтобы искупаться в пруду Ливенцова.

Большой пруд Ясной Поляны зимой представлял собой каток. О том, как катались на коньках по льду Большого пруда, сохранился рассказ одного из сыновей писателя: «Едим торопясь и пулей бежим вниз одеваться. Полушубки, валенки, шапки с наушниками, берем коньки, и начинается беготня. Дорожки на пруду расчищены большим кругом, но мы сами проделали лабиринты, переулочки и тупички и по ним вертимся. Приходят папá и мамá и тоже надевают коньки. Ноги зябнут, пальцы онемели, но я молчу, потому что боюсь, что пошлют домой греться. Увлекаются все. Давно пора идти, но мы выпрашиваем еще несколько минут, еще немножечко. С деревни прибежали ребятишки и дивуются на нашу ловкость. Щекочет самолюбие, и начинаешь выкидывать всякие фокусы, пока не упадешь и не расшибешь себе нос».

Из настольных игр в семье Льва Николаевича самой любимой были шахматы. Он считал, что лучше всех в шахматы играют музыканты. При этом писатель ссылался на Танеева, Гольденвейзера и своего старшего сына Сергея. Садясь за шахматный стол с Танеевым, обговаривал с ним условия игры: если проиграет он, то будет читать вслух главы из своих произведений, а если Танеев, — тот будет исполнять свои музыкальные композиции.

О шахматных турнирах Толстой говорил: «Как отличаются наши русские шахматы! К каким высотам может привести память и опыт! Чипорин, например, мог сыграть 30 партий сразу по памяти, не глядя на доску». Секретарь Толстого В. Ф. Булгаков рассказывал: «Если находился партнер, Лев Николаевич садился после обеда сыграть партию в шахматы. Как и пасьянс, шахматы были средством отдыха от напряженной умственной работы». Только с одним Гольденвейзером Лев Толстой сыграл около 700 партий в шахматы. О своем партнере, шестидесятилетнем М. С. Сухотине, писатель говорил: «Мы с ним играем равно. Но только он играет спокойно, а я, вот, по молодости лет, увлекаюсь!» Льву Николаевичу в это время было 82 года.

А однажды восьмидесятилетний Толстой сказал некой юной особе: «Ах, как мне хотелось вчера с вами прыгать с лестницы. Обидно, но никто из вас не сумел спрыгнуть как следует. Ведь надо немножко присесть, когда прыгаешь вниз».

Еще одним любимым времяпровождением в Ясной Поляне была игра в городки. Как только весной высыхала земля, на одной из аллей, соединяющих дом с флигелем, устраивалась площадка для городков. Как вспоминал один из современников, «иногда целые дни гулко разносились по яснополянскому парку звуки выбивавшихся рюшек. В игре участвовала... толстовская молодежь... а также приезжавшие сыновья Льва Николаевича и гости». Не было случая, чтобы Лев Николаевич, проходя мимо играющих, не сворачивал к площадке. Иногда он сразу же включался в игру, порой же ограничивался тем, что делал несколько метких ударов по фигурам, и шел дальше по своим делам.

Глава 12

Страсти по хозяйству

Жизнь в Ясной Поляне была мало похожа на идиллическую пастораль или на мифическую Аркадию. Сельская усадьба вряд ли пригодна для тотального безделья

или для череды забав, праздничных приключений «на природе». На самом деле большинство помещиков были обременены ежедневными хозяйственными заботами, по крайней мере многие из них так думали.

Лев Толстой изначально был обречен на прагматическое восприятие своего пребывания в родовой усадьбе. Образ деда, столь много здесь успевшего сделать, вдохновлял его гениального внука, и он тратил немало сил и денег, почти не получая при этом выгоды. Возможно, это происходило оттого, что уж слишком он романтизировал свои предпринимательские проекты, больше ценя в них мечту, нежели прибыль. Так, при виде симпатичных свиной японской породы Толстой мог умиляться, забывая при этом о главном — о получении с них денег.

Как же все-таки функционировал сложный хозяйственный механизм Ясной Поляны? Ведь яснополянская усадьба представляла собой огромное хозяйство, требовавшее не только постоянного развития, присмотра, пристального ухода, но и, как выражался ее хозяин, «запоя». Не случайно в его «Дневнике помещика» появлялись такие записи: «Не пишу, не читаю, не думаю. Весь в хозяйстве». На самом деле он успевал делать все — и первое, и второе, и третье. Ездил по сельскохозяйственным выставкам с целью приобретения породистых овец, телят, поросят, разводил элитные сорта персиков, чинил плотины, сажал лес и яблоневый сад, увлекался пчеловодством, устраивал цветники, строил на паях винокурный завод, осуществлял постоянный контроль над управляющими, собирал сходы крестьян. Время пролетало незаметно, потому что Толстой с головой уходил в работу.

Его собратья по перу считали своим призванием одну лишь литературу. У Льва Николаевича была иная точка зрения. Он был убежден, что помимо писательской должности существует еще и помещичья. О его усадебной жизни можно было бы сказать пушкинской строфой:

Под сень черемух и акаций
От бурь укрывшись, наконец,
Живет, как истинный мудрец,

Капусту сажит, как Гораций,
Разводит уток и гусей
И учит азбуке детей.

Работу Толстой планировал на весь год. «Зима, — говорил он, — это наша барская пора, и стоит она летней мужицкой работы». «Лёвочка все читает из времен Петра Великого исторические книги и очень интересно записывает разные характеры, черты, быт народа», — констатировала С. А. Толстая. Зимняя интеллектуальная деятельность уравнивалась летними делами. Толстой вставал в шесть утра и отправлялся на гумно. Традиционно его день делился на две части: до обеда занимался хозяйством или писал и только вечером позволял себе отдых. Полевые работы являлись мужской прерогативой, домашние же хлопоты входили в круг обязанностей женской половины. Поддержанием чистоты в доме, уходом за любимыми курами-брамапутрами, заготовкой солений и варений, вышиванием, вязанием и многим другим занималась неугомонная *Sophie*.

Но все по порядку. Став хозяином Ясной Поляны, Толстой продал княжескую «поливную, сажен на 50» мельницу, находившуюся «внизу, влево от дороги, вверх по реке», рушалку, более 250 кадок персиковых деревьев, груш, слив, произраставших в оранжерее, о чем не преминули сообщить «Тульские губернские ведомости» 17 мая 1858 года.

А вскоре, по прошествии двух месяцев, писатель вновь был в состоянии хозяйственного подъема, что отразилось в «Дневнике помещика»: «Весь в хозяйстве». Он завел плуги, скоропашки (нечто среднее между плугом и сохой. — Н. Н.), железные бороны, посадил в оранжерее деревья, читал книги по сельскому хозяйству, искал удобрения для полей и лугов, заботился о разумной эксплуатации леса, чинил мосты и плотины. «Целое лето с утра до вечера пахал, сеял, косил», — сообщал он в письме к А. А. Толстой, все более убеждаясь в том, что смысл его жизни заключается в труде, облегчении жизни крестьян и «добре, которое он может делать своими сочинениями». Толстой отпускал дворовых с выкупом и впоследствии признавался, что хоть отпус-

кал он их не за деньги, но был грех на его душе из-за того, что брал с крестьян оброк. В 1857 году писатель приобрел на сруб участок казенного леса, отпустил на волю крестьянского парня и садовника, уговорил многих крестьян работать у него в качестве вольнонаемных. Изменил модель хозяйствования — перевел крестьян на оброк. Параллельно брал консультации у ученого-агронома Ф. Х. Майера с целью разработать проект о лесонасаждении в России, писал «злые письма» в Специальный по лесной части комитет, который нашел его проекты для казны невыгодным.

Толстой создал в Ясной Поляне свой собственный мир «поэзии и привязанностей», гордился тем, что в его усадьбе «ни становой, ни бургомистр не мешают» ему играть Баха и проливать слезы умиления, читать Гомера, жить в мире придуманных героев и «марать» бумагу. Он с энтузиазмом принялся за организацию хозяйства на артельных началах. Мужики восприняли это в штыки, не доверяя усовершенствованной форме землепользования и новым сельскохозяйственным орудиям. Позже Толстой об этом расскажет на страницах «Анны Карениной», опишет сходки крестьян, на которых решались всевозможные артельские проблемы, в том числе способы косьбы.

Так он выстраивал «свой честный мирок среди всей окружающей застарелой мерзости и лжи», и это одарило его чувством «гордой радости» и «огромным новым содержанием». «Он весь теперь погрузился в агрономию, — писал Тургенев, — таскает там снопы на спине, влюбился в крестьянку и слышать не хочет о литературе». Благодаря физической работе Толстой «сильно посвежел за лето» и «по-прежнему чудак, но так же замечателен умом и сердцем», — отмечала А. А. Толстая. Лев Николаевич увлекся хозяйственными экспериментами: сеял клевер, мало известную тогда культуру в Тульской губернии, считавшуюся большой редкостью в здешних местах, навоз распределял из расчета 2400 пудов на одну десятину, делил землю на квадраты по модной французской системе. Земля в Ясной Поляне суглинистая, неплодородная, бедная по сравнению с черноземной, начинавшейся чуть южнее толстовской

усадыбы. Появление железной дороги внесло свои коррективы в хозяйственную деятельность. Появилась возможность привозить более дешевый хлеб из других мест. Взамен пшеницы и ржи писатель стал сажать лес, ожидая от него хорошей прибыли, и был убежден, что вскоре усадьба станет более доходной.

«Хозяйственная хандра, беспорядочность, желчность, лень» сменились жаждой деятельности. Толстому стало казаться, что литературу он «окончательно бросил». Его состояние — рефлексия и раздвоение: то он вновь пытается писать, то старается заглушить в себе некую пустоту охотой, светскими вечеринками, занятиями наукой. Вроде бы «жизнь пошла ровно и полно без нее», то есть без литературы. Его собраты по перу были в шоке от «чуждачества» яснополянского помещика и ждали одного: «Когда он перекувыркнется в последний раз и встанет на ноги?» Но были среди литераторов и такие, например Боткин, кто видел в каждой «дури» Толстого больше достоинств, чем в благоразумнейших поступках других людей. Он совсем сделался «домоседом», забыв про большие города. Теперь его любимым занятием стала косьба с шестипалым Тихоном. В меньшем «запое» писатель собирал сено, менял дороги, сажал березы, рыл канавы, заменяя ими заборы.

Однако сделать хозяйство доходным оказалось не просто. Не обошлось без разочарований и неудач.

Лев Николаевич нанял для ухода за своими любимыми поросятами какого-то пьяницу, пожалев его. Он думал, что таким образом облагодетельствует его, но вышло наоборот. Этот пьяница обиделся на свою должность, над ним смеялись дворовые, и он уморил голодом почти всех поросят.

— Идешь, бывало, к свиньям, — рассказывал нерадивый работник, — и даешь корму понемножку, чтобы слабели. Она и слабеет. Придешь в другой раз — еще какая пищит, ну, опять немногу корму задашь, а уж если утихнет, — тут ей и крышка!

Так постепенно погибли все японские свиньи в Ясной Поляне.

Однажды Толстой отправил в Москву на продажу окорока. Но оказалось, что они мало просолены, а тут

подошел пост и наступила оттепель, окорока испортились, и их с трудом продали за бесценок на Смоленском рынке и в Охотном Ряду. Софья Андреевна Толстая не раз сетовала на убыточность хозяйства: «Когда завели коров для завода, то более тридцати из них, притом самых лучших, пали, а когда послали жеребца в Самарскую губернию, то он по пути утонул. Теперь пришлось доплачивать на Ясную две тысячи в год».

Глядя на огромный яблоневый сад, писатель приходил к горькому умозаключению: «Какая нелепость такой огромный сад. Фрукты гниют. Сам его сажал. Следует каждой семье иметь маленький сад и за ним ходить. В саду не подобрано и половины яблок, гниют. Арендатор-садовник скупится на поденных, урожай необыкновенный». Подобные размышления были характерны уже для умудренного опытом человека. Молодой же хозяин Ясной Поляны разводил сады не только в своей усадьбе, но и в Никольском, приводя в порядок хозяйственные дела брата, бывшего в это время за границей. Он приобрел у А. Н. Бибикова 28 десятин земли в сельце Телятинки, в трех верстах от Ясной Поляны за 280 рублей. Как выражалась в подобных случаях свояченица писателя Т. А. Кузминская, при всей своей занятости Толстой успевал «что-нибудь выкинуть, прыгнуть куда-нибудь».

Лев Николаевич и Софья Андреевна находились в ту пору «во всем разгаре хозяйства». Затеяли строительство винокуренного завода с целью выгодного использования ржи, картофеля для прокорма скота бардой, остающейся от винокурения. Толстой рассчитывал на значительный доход от этого предприятия. Однако крошечный завод не выдержал конкуренции с более крупными гигантами и вскоре прекратил свое существование. Впоследствии Софья Андреевна уверяла мужа, что она спасла его от двух напастей: не пустила воевать с турками и запретила развивать винокуренный завод.

Вскоре у Льва Николаевича появилось новое увлечение: он «погрузился в пчел». «В маске и перчатках их все наблюдает. Завтра и я поеду смотреть, кусаются — страсть», — комментировала увлечение мужа Софья Андреевна в своих письмах к близким. Она приглашала

сестру Таню в Ясную Поляну, чтобы та смогла все увидеть собственными глазами: «Покажу коров, кур, все хозяйство. Мы будем гулять всюду. По скотным дворам, конюшням, оранжереям и проч. Цыц только, к твоему приезду, может, поспеют и персики и клубника. У нас немец-садовник отличный. Вообрази, у него уже для нас свежий зеленый салат готов. Цветы у нас во всех комнатах. Розы, резеда, были камелии, желтофиоли и проч. Так славно пахнет и для глаз хорошо».

Некоторое время по инерции Толстой продолжал возиться с винокуренным заводом. В основном же супруги Толстые были озабочены тем, каким образом сохранить и не потерять оставшиеся деньги — девять тысяч рублей серебром. Из экономии они отказались от услуг управляющего. Лев Николаевич сам исполнял его роль, помогал ему в этом студент Томашевский (учитель Бабуриной и Колпенской школ. — *Н. Н.*), «отличный малый». «Теперь, — писала Софья Андреевна, — я буду держать счета и контору. Каково? То есть я буду расплачиваться с работниками, людьми, бабами, поденными и прочее... Живем очень дружно. Если бы не винокурение, я была бы вполне счастлива». Когда завод закрыли по причине нерентабельности, Софья Андреевна наконец обрела спокойствие. Хозяйственные заботы теперь распределились поровну между мужем и женой.

Повседневность внесла свои коррективы даже во внешний облик хозяина усадьбы. Он стал постоянно носить «серую блузу со складками и поясом, не совершенно охотничью, но похожую очень на крестьянскую сорочку, которая служила ему обычным деревенским костюмом». Трудно было поверить в то, что еще совсем недавно в течение дня он несколько раз менял рубашки, тщательно следил за безукоризненным состоянием рук и ногтей. «Целыми днями он был погружен в хозяйство», что не смогло не сказаться на результатах. Так, в «Тульском справочном листке» в 1866 году появилось такое объявление: «Продаются 40 новых больших дубовых бочек. Адресоваться в контору графа Л. Н. Толстого в сельце Ясная Поляна Крапивенского уезда в 14 верстах от Тулы, по шоссейной дороге».

В Никольском хозяйство, по словам писателя, развивалось «превосходно», правда, урожай оказался не слишком хорошим. В этой связи Толстой занялся очередным «проектом разверстания и осмотром земли для хутора, скотины и т.д.». Одновременно он скрупулезно подсчитывал доходы, получаемые с этого имения. Так, в 1864 году они составили 4 тысячи рублей плюс еще «старый хлеб на тысячу рублей». Из этой суммы пришлось выплатить проценты на 1900 рублей в Опекунский совет, в котором было заложено Никольское. К тому же предстояло вернуть 1500 рублей долга за брата Дмитрия. Таким образом, оставалось 1600 рублей, часть из них ушла на приобретение скота.

Купленное Толстым имение площадью в 1800 десятин по восемь рублей за одну десятину в Бузулукском уезде Самарской губернии скоро стало приносить прибыль. «Тульские губернские ведомости» сообщали: «В Крапивенском уезде, в сельце Ясная Поляна продаются десять молодых жеребцов от заводских жеребцов и киргизских маток, годные для упряжки и для верховой езды. Спросить приказчика». Подобные объявления о продаже лошадей появлялись регулярно. Для себя Толстой постоянно оставлял 12 рабочих лошадей.

В литературных кругах сложилось устойчивое мнение, что легко быть писателем, если у тебя есть поместье, подобное яснополянскому. На самом деле Толстому пришлось приложить много труда и усилий, чтобы превратить недоходное имение в процветающую усадьбу. Жизнь писателя была неотделима от жизни помещика. Между его кабинетом и пространством полей и лесов, казалось, не существовало преград. Сеять, пахать, косить и одновременно обдумывать сюжеты своих произведений было вполне по-толстовски, в его духе.

Каждый день он старался использовать с максимальной пользой, чтобы успеть многое сделать по хозяйству. Его собратья по перу старались отвлечься от зряшной повседневности, занимаясь исключительно литературным трудом. Он же не чурался житейских проблем и существовал «между» физикой и метафизикой. Вероятно, поэтому душевное состояние его было весьма переменчивым. Толстой то с воодушевлением

констатировал, что «находится во всем разгаре хозяйства», то с грустью сообщал о «невозвратимых девяти месяцах», которые могли бы быть лучшими, но стали чуть ли не худшими в его жизни из-за того, что он находился «в запое хозяйства». А впоследствии пришел к выводу, что надо «как можно меньше приписывать важности хозяйству».

Однако в молодости Толстой утверждал, что «попал, наконец, в настоящее дело», коим являлись для него посадка капусты в огромном количестве, разведение пчел за рекой Воронкой, выращивание элитных кур-брампутров, привезенных из московского зоологического сада после проведенных писателем успешных торгов. Но оказалось, что куры могут быть «поморены» из-за плохого ухода. Поэтому их решили поместить на кухню, чтобы они «скорее занесли» и были «сытыми». Потом стала гибнуть скотина. За «две недели было все испорчено, что сделано за год». Пришлось приказать скотнице Анне Петровне и старосте, чтобы они «поили и кормили хорошенько телят и свиней и чтобы скотина была исправна».

Хозяйство, конечно, дело хлопотное и тонкое одновременно. Так, увлекшись разведением птицы, Толстой быстро понял, что от этой затеи следует отказаться: уж слишком дорогой корм, а птица явно «не стоит такого корма». Анализируя хозяйственные неудачи писателя, Т. А. Кузминская отмечала: «В Ясной Поляне лишь яблочный сад и посадки лесов процветали и обессмертили память Льва Николаевича в хозяйстве». Тем не менее завидное упорство хозяев усадьбы принесло свои плоды.

Как известно, литературный успех пришел к Толстому в 1850-х годах. Совсем иные времена наступили в 1860-х годах, когда его «едва помнили, и его неудачи в области педагогических фантазий были более известны, чем его литературная деятельность». Не случайно именно тогда у Толстого возникло желание бросить писать и больше не думать «о противной лит-т-тературе и лит-т-тераторах». Писательство ассоциировалось у него с «умственной борделью». Поэтому он был благодарен судьбе за то, что «нынешнее лето глуп, как лошадь».

Σ Όχινη Όχινη...
 Σπαρταρ...
 ...

1907²

Σελή 2022

1. Ολυνθίου...	—	14.5
2. ...	—	1.5
3. ...	—	14.5
4. ...	—	12.
5. ...	—	2, (2) ...
6. ...	—	1.
7. — " —	—	11.
8. ...	—	10.
9. ...	—	13.
10. ...	—	12 (1) ...
11. ...	—	7. (2) ...
12. ...	—	3.
13. ...	—	1.
14. ...	—	1.
15. ...	—	1.
16. ...	—	11. ...
17. ...	—	5. ...
18. ...	—	14.
19. ...	—	4.
20. ...	—	13.
21. ...	—	4.
22. ...	—	4.
23. ...	—	12. ...
24. ...	—	7. ...
25. ...	—	3. ...
26. ...	—	4.
27. ...	—	0.3

Σ

Работает, рубит, копает и косит». Назвав писательство «человеческой слабостью», «дурной страстью», Толстой вновь занялся решением хозяйственных проблем. «Хотение жизни», проявлявшееся, например, в косье травы с яснополянскими мужиками, не раз пересекалось с желанием заглянуть в «дыру нирваны». Добропорядочность семьянина переплеталась с художественной дерзостью. В «прозе жизни» он искал «высшее содержание». Яснополянская повседневность находила отражение в его художественных произведениях, мерцая на страницах «Войны и мира» и «Анны Карениной».

В эту пору писатель принялся за радикальную реконструкцию правого флигеля с венецианскими окнами на втором этаже. Софья Андреевна вспоминала: «Наш маленький тогда дом имел десять почти квадратных комнат 6—7 аршин и высокие потолки, 5 с половиною аршин, что делало их просторными, светлыми и очень приятными для жизни». Две деревянные лестницы, одна обычная, другая винтовая, находились в противоположных частях флигеля. В центре передней анфилады размещалась гостиная, слева от нее комната Т. А. Ергольской, а справа — спальня, окна которой «выходили в сад, в котором виднелись огромные елки и светились пруды сквозь поредевшие деревья. Большая дверь в гостиную была заперта и завешена зеленым сукном, на котором висели гравюры. На окнах были новые зеленые суконные шторы, посреди комнаты две простые железные кровати с красными сафьяновыми тюфяками. У окна туалет ореховый, потом большой комод, шифоньерка и умывальный стол. Еще два кресла». Большая угловая белая кафельная печь в спальне дарила тепло и уют. «Из спальни единственная дверь вела на маленькую площадку крупной винтовой лестницы, и с нее была дверь в соседнюю комнату, перегороженную шкафами» (здесь спала горничная. — *Н. Н.*), а за перегородкой находился маленький кабинет Софьи Андреевны, оттуда можно было выйти в столовую. «Кабинет и столовая были расположены на задней анфиладе дома, выходящей окнами на хозяйственный двор». Чуть позднее кабинет писателя разместился в «комнате под сводами», прежде служившей кладовой. Два низких окна заполня-

ли пространство комнаты светом. Рядом — была сундучная и комната прислуги. По заднему фасаду дома находились: кухня (позднее ванная комната. — *Н. Н.*), официантская, большая передняя, откуда дверь вела на хозяйственный двор. Стены комнат беленые, полы дощатые. Дом был весьма скромный, но не без уюта, с той «простотой, которую Лев Николаевич старался вносить во все».

После рождения первых детей кабинет Софьи Андреевны и «комната под сводами» стали детскими комнатами. Жить становилось тесновато. Поэтому летом 1866 года Толстой решил сделать бревенчатую пристройку к торцевой части дома, со стороны парка «Клины». Пристройка была в два этажа с открытой террасой. Она «никак не вязалась со строгой каменной архитектурой здания». Тем не менее она просуществовала почти 30 лет и сгнила. Автором этого архитектурного проекта был сам Толстой, который любил, по словам жены, «робинзонствовать», а потому не приглашал профессиональных мастеров — «делал все самым первобытным способом дома».

Семья разрасталась. К тому же с каждым годом увеличивалось количество гостей, и зимой 1871 года писатель решил пристроить «большую залу, где дети могли бы бегать, играть, вообще двигаться, особенно осенними и зимними вечерами, когда им нельзя гулять». На этот раз проект пристройки разрабатывался профессиональным архитектором Гурьевым за 105 рублей серебром.

Основательная двухэтажная стилизованная пристройка появилась в юго-западном торце здания и стала органическим продолжением основной части дома. На втором ее этаже был зал с паркетным полом. Первый этаж представлял собой две небольшие комнаты — кабинет Толстого и библиотеку. Дверь писательского кабинета выходила на белокаменную террасу с двумя ступенчатыми высокими сходами. «Теперь мы стали жить как настоящие», — писала Софья Андреевна.

Реконструкция дома продолжилась в 1884 году: постройку вновь «красили и белили, позднее чинили крышу». В 1892 году к дому пристроили живописную

№		Кусто	Название Димана	Распределение по					
				Всего, численности					
				Сред	Всего	Сред	Всего	Сред	Всего
1.	2.	Распределение на 1000, аф,	1.	2.	1.	2.	1.	2.	1.
3.	4.	Коллекция							
5.	6.	Длинные, распр.							
7.	8.	Распределение							
9.	10.	Углы (карты)							
11.	12.	Углы							

of Prentiss
Sept 22

N ^o	Miles	Nabbarie Emozzi	Noamgumee Span										Umoro
			Height	Throat	Height	Throat	Height	Throat	Height	Throat	Height	Throat	
1.	2.	Pramoko at N. Head of,	2.16	18	2	5	4	1	5	6	12	83.	
at Lake	at Lake	Popoban fur found	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
Head	to	Lo Emory. Reported.	..	..	5.	..	2	10.	..	..	..	19.	
Umoro			2.16	18	2	5	4	1	5	6	12	102.	

Yours truly

Виноделение

1907 год.

Качество винограда				Запасы		Результат		Урожай	Примечание
Осень		Зима		Весна		Лето			
Средн.	Макс.	Средн.	Макс.	Средн.	Макс.	Средн.	Макс.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									

Минералогическое

1907.

Запасы								Результ		Всего.	Примечание
Осень		Зима		Весна		Лето		Всего	Среднее		
Средн.	Макс.	Средн.	Макс.	Средн.	Макс.	Средн.	Макс.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6						

А. М. Монахов

А. М. Монахов

деревянную резную террасу, придавшую ему романтический флер.

Тем временем ветшала пристройка 1866 года. Хозяева стали готовиться к очередной модернизации дома, закупили «350 штук кирпича», стали вести переговоры с архитектором. Через три года строительство пристройки было завершено, и у Софьи Андреевны и ее дочерей появились свои комнаты.

Однако не все получалось гладко. Помните эпизод в романе «Анна Каренина», где в строящемся флигеле рядчик испортил лестницу, срубив ее отдельно и не рассчитав количество ступеней? Особо не раздумывая, он набум решил добавить три ступени, рассуждая так: «Как, значит, возьмется снизу... пойдеть, пойдеть и придеть». Лестницу пришлось, конечно, переделывать, а вот выражение «пойдеть» в доме Толстых стало крылатым, и Толстой часто употреблял его в качестве иронической идиомы ко всему сделанному на скорую руку, на «авось», без расчета.

Отстроенный дом стал похожим на корабль. Все его «пассажиры» знали, куда плыть и как управлять этим «судном». Дом-«корабль» успешно плыл многие годы, преодолевая всевозможные житейские рифы. Слово «дом» на страницах «Анны Карениной» повторяется восемь раз подряд в шести предложениях. В этом бесконечном, тяжеловесном и торжественном повторе слова «дом» Владимир Набоков слышал «погребальный звон над обреченной семейной жизнью». Однако, к счастью, до «погребального звона» было еще далеко.

В этом доме Толстой много писал, «со слезами и волнением» переделывая свои сочинения, не давая себе «минуты отдыха». Но «искусство вечно, жизнь коротка». И Лев Николаевич, получив от Каткова гонорар в размере 2306 рублей 25 копеек за восемь печатных листов романа «1805 год», вскоре покупает 60 десятин 2250 сажень земли при селце Подлесном за 600 рублей и «целые дни с лопатами чистит сад, выдергивая крапиву и репейник, устраивает клумбы». А еще шесть дней подряд косит с мужиками и «не может описать — не удовольствие, но счастье, которое при этом испытывал». Находясь до поры до времени в таком умиротворенном состоянии, Толстой не думает о лишениях, которые ис-

пытывает, живя в деревне, где нет «театра, музыки, книг, библиотеки (это главное для него за последнее время)», как и возможности вести беседы с «новым и умным человеком». Но приходит день, когда он сообщает Фету о приливе творческих сил: «Сок начинает капать, и я подставляю сосуды. Скверный ли, хороший ли сок — все равно, а весело выпускать его по длинным чудесным осенним и зимним вечерам».

Однажды в отсутствие хозяина Ясной Поляны произошло драматическое событие: молодой бык на смерть забодал пастуха, и Толстой был привлечен к ответственности по статье 1466 с подпиской о невыезде. Вернувшись из Самары, писатель был настолько потрясен произошедшим, что решил срочно продать имение и уехать в Англию «навсегда или до того времени, пока свобода и достоинство каждого человека не будут у нас обеспечены». К счастью, санкций в отношении Толстого за смерть пастуха не последовало, и он вновь приступил к составлению «дробей» для «Азбуки», не забывая при этом и о «мозольном труде». «Хозяйство опять всей своей давящей... тяжестью взвалилось мне на шею», — записал он.

Повседневные заботы нередко вытесняли литературный труд. «Живу в мире, столь далеком от литературы, что, получая такое письмо, как ваше, первое чувство мое — удивление. Да кто же такой написал “Казачков” и “Поликушку”?» — писал Толстой Фету. Тем не менее, несмотря на «давящую тяжесть» хозяйственных проблем, он получал большое наслаждение от физической работы. Многие отмечали «чувственную патриархальность» владельца Ясной Поляны.

Летом Толстой почти забывал о писательстве. Другим оставалось только разводить руками, глядя на то, как этот огромный талант, по их мнению, губит себя, стремясь быть примерным помещиком. К началу сезонных работ все в усадьбе приходило в движение: чинились постройки, проверялся инвентарь. Хозяйство развивалось, хотя и «плохо сравнительно с идеалом». Идя по дороге мимо амбаров, Толстой с наслаждением вдыхал запах «муки, пыли и белены», смешанный с конским потом, дегтем, свежим сеном.

Но дух творчества не покидал писателя даже в дни страды. «Что ни делай, — признавался он Фету, — а между навозом и коростой нет-нет да возьмешь и сочинишь». В это время он не только работал, хлопотал по хозяйству, но и наблюдал, буквально впитывал нюансы повседневной жизни. Отсюда такая подкупающая достоверность, всамделишность образа Константина Левина, *alter ego* Толстого: «С утра он (Левин. — Н. Н.) ездил на первый посев ржи, на овес, который возили в скирды, и ушел пешком на хутор, где должны были пустить вновь установленную молотилку для приготовления семян...

Стоя в холодке вновь покрытой риги с необсыпавшимся еще пахучим листом лещинового решетника... Левин глядел то сквозь открытые ворота, в которых толкалась и играла сухая и горькая пыль молотбы, на освещенную горячим солнцем траву гумна и свежую солому, только что вынесенную из сарая, то на пестро-головых белогрудых ласточек. Он глядел на часы, чтобы расчесть, сколько обмолят в час. Ему нужно было знать, чтобы, судя по этому, задать урок на день.

«Скоро уж час, а только начали третью копну», — подумал Левин, подошел к подавальщику и, перекрикивая грохот машины, сказал ему, чтоб он реже пускал.

— Помногу подаешь, Федор! Видишь — запирается, оттого не спор. Разравнивай!

Проработав до обеда... он вместе с подавальщиком вышел из риги, остановившись подле сложенного на току для семян аккуратного желтого скирда жатой ржи».

Порой во время работы Толстой, как и его герой Левин, испытывал такое блаженство, что мог забыть, что делал, и от этого становилось легко и радостно. Писатель ценил такое сладостное бессознательное состояние, когда не руки машут косой, а коса управляет телом. В этом и заключалась для него сила инстинкта труда, столь высоко им ценимого.

Самым крупным преобразованием Толстого в усадьбе являлись яблоневые сады. Труд, вложенный в их процветание, вернулся сторицей. Сад одаривал обитателей усадьбы чувством любви ко всему и вся: близким, соба-

кам, лошадям, траве. Сажать громадный яблонево́ый сад — 6400 деревьев — Льву Николаевичу помогала Софья Андреевна. Когда ей было грустно, она «брала топорик, пилку, садовые ножницы и часа четыре рубила, стригла, пилила сушь в саду». А писатель с детьми в это время косил там траву. Было радостно. После косьбы все дружно отправлялись на реку купаться. Затеявая хозяйство, он был озабочен не только проблемой получения прибыли, но и сохранением добрых отношений с работниками и предпочитал второе первому. Софье Андреевне приходилось напоминать нерасчетливому мужу, что «без средств не проживешь», показывая список неизбежных ежемесячных расходов, которых было около полутора тысяч рублей. «Твой счет меня не пугает, — отвечал ей муж. — Не могу я, душенька, не сердись, приписывать этим денежным расчетам какую бы то ни было важность. Все это не событие, как, например: болезнь, брак, рождение, смерть, знание приобретенное, дурной или хороший поступок, дурные или хорошие привычки людей, нам дорогих и близких, а это наше устройство, которое мы устроили, так и можем переустроить иначе и на сто разных манер... Счастье и несчастье всех нас не может зависеть ни на волос от того, проживем ли мы все или наживем, а только от того, что мы сами будем». Но, несмотря на раздражение, возникавшее в супружеских отношениях, Толстой упорно продолжал вить свое гнездо, которое должно было быть «лучше того, из которого он вылетел».

Он по-прежнему был увлечен яблоневыми садами. «Уход за садами был простой, — рассказывал один из яснополянских крестьян, — сушь вырезали. Жировые сучки срезали. Окапывали. Зимой по мелкому снегу навоз округляли. Стволы обмарывали известкой. Опрыскиваний не делали». «По убранному саду, — вспоминал Толстой, — ходят маленькие дети с няней и с восторгом собирают яблоки в кучу». Сады давали обильные урожаи. Яблок было «обелом». Однако сбыть урожай с семи тысяч деревьев было не так-то просто. Поэтому сады стали сдавать в аренду тульским купцам за 6 тысяч рублей, при этом за хозяевами оставалось триста пудов яблок. По договору яснополянские крестьяне возили

яблоки на продажу или в Тулу, или на станцию Козлова Засека, чтобы отправить их в Москву. Весной сады утопали в цвету. «Весна во всем разгаре, — писала Софья Андреевна. — Яблони цветут необыкновенно. Что-то волшебное, безумное в их цветении. Я никогда ничего подобного не видала. Взглянешь в окно в сад и всякий раз поразишься этим воздушным, белым облакам цветов в воздухе, с розовым оттенком местами и с свежим зеленым фоном вдали». А Лев Николаевич говорил: «Яблони цветут, точно хотят улететь на воздух».

Много времени Толстой проводил в пчельнике, в избушке со «старым дедом, каких описывают в сказках, с длинной белой бородой», который ходил среди ульев с обнаженной головой, и «пчелы его не трогали». Толстой сам расставлял колодки ульев, «огребал» пчел, «сажал» рои, просчитывал количество цветков, с которых пчела брала взятки перед тем, как лететь в улей. Софья Андреевна регулярно преодолевала три версты в оба конца, чтобы накормить мужа завтраками и обедами. Лев Николаевич общался с женой в это время записками, где речь шла исключительно о пчелах, ульях и рамках: «Соня! Два отроилось. Когда отделаешься дома, пришли мне жаровенку и воск и за мной пришли лошадь и полотенце перед обедом». Софья Андреевна сетовала на это увлечение мужа, которому, по ее мнению, не будет конца и края, а значит, и ее одиночеству: «Кроме пчел — ничто его уже не интересовало в жизни». Когда на пасеку приходил Фет, устраивалось чаепитие, во время которого «зажигались» светляки. Однажды двух светляков Толстой приложил к ушам жены и сказал: «Вот я обещал тебе изумрудные серьги, чего же лучше этих?» Эту сцену Фет запечатлел в волшебных строках: «В моей руке — какое чудо! — Твоя рука. А на траве два изумруда, — два светляка».

Здесь, на месте Старой пасеки, традиционно устраивались пикники с самоваром и закусками. Сюда же Лев Николаевич приходил пить кумыс от молодых кобылиц, привезенных им из самарских степей. Страсть к пчеловодству писатель сохранил до самой старости. Приходя на пасеку, восклицал: «Как хорошо! Какая благодать!» Какими бы ни были хозяйственные заботы, проблемы, увлечения, они не изменили человеческую

натуру Толстого. «Придешь к барину за приказанием, — рассказывал толстовский староста, — а барин, зацепившись одной коленкой за жердь, висит в красной куртке головою вниз и раскачивается; волосы отвисли и мотаются, лицо кровью налилось; не то приказания слушать, не то на него дивиться». Разве не очевидно — хозяин Ясной Поляны с пылкостью древнегреческого бога Пана наслаждался земным чувством, проживая в своей усадьбе двойную жизнь — реальную и литературную.

Глава 13

«Кушанье готово!»

Трапеза зависит не от количества денег, а от образа мыслей и от нашего отношения к жизни. В Ясной Поляне у этого процесса был свой уникальный гастрономический антураж, квинтэссенцией которого являлся анковский пирог. Настырная повседневность проявлялась здесь и в таких мелочах, как застольные ароматы, запах кофе, чаепитие под липами среди цветников, плотные обеды, начинавшиеся по сигналу колокола. Крылатая острота Эмиля Золя «человек есть то, что он ест» здесь дополнилась еще одной компонентой — *как* он ест.

Интерес к пищеварительным процессам проявлял не только автор «Гаргантюа и Пантагрюэля», но и создатель «Улисса». Лев Толстой не остался в стороне. Он внес свою лепту в осмысление животрепещущей темы, связанной с гастрономическими пристрастиями своих героев. Так, например, Пьер Безухов любил хорошо пообедать и хорошо выпить, хотя и считал это безнравственным и унижительным, но не мог воздержаться от холостяцких увеселений, в которых непременно участвовал. Свой писательский образ Толстой строил не без помощи гастрономической концепции, которая на протяжении его долгой жизни не раз менялась. Вопросам, связанным с работой кишечника, он уделял должное внимание, пройдя огромный путь от гурмана до аскетичного вегетарианца. За свою жизнь он побывал и в

a) *Examine*

№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Совладение
1907 год.

Не		не за год		не за год		не за год		не за год		Всего	Примечание
Средний	Средний	Средний	Средний	Средний	Средний	Средний	Средний	Средний	Средний		
1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30.	Ст. Ломоносов, с. Кормовое, на 1-м этаже
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30.	Городской Огн. Завод, с. Кормовое, на 1-м этаже
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30.	Кладбище, с. Кормовое, на 1-м этаже

Крупного порока не имеет. 1907 год.

Убавление		Куплено		Продажено		Продажено		Продажено		Всего	Примечание
Средний	Средний	Средний	Средний	Средний	Средний	Средний	Средний	Средний	Средний		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30.	Средний, с. Кормовое, на 1-м этаже
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30.	Городской Огн. Завод, с. Кормовое, на 1-м этаже
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30.	Кладбище, с. Кормовое, на 1-м этаже

Обыкновенно		Запасные		Запасные		Запасные		Запасные		Всего	Примечание
Средний	Средний	Средний	Средний	Средний	Средний	Средний	Средний	Средний	Средний		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30.	Средний, с. Кормовое, на 1-м этаже
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30.	Городской Огн. Завод, с. Кормовое, на 1-м этаже
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30.	Кладбище, с. Кормовое, на 1-м этаже

Там же

роли слуги желудка, и невероятного лакомки, прожоры, поклонника простой здоровой пищи. Нам интересно все в судьбе классика, в том числе любил ли он «покушать», как Тургенев, мог ли съесть за один присест до 30 блинов, как Пушкин, принимал ли гостей в халате и ночном колпаке подобно Тютчеву?

У деда Льва Николаевича, И. А. Толстого, вина всегда были исключительно французские, а хрусталь богемский. Он был в высшей степени хлебосольным, очень веселым и щедрым. Вся округа съезжалась к нему в гости, и он всех «закармливал и запаивал», промотав, таким образом, огромное состояние своей жены, большой любительницы давать балы. Он представлял собой классический образец старого барства. Гениальный внук не мог не описать своего колоритного предка на страницах «Войны и мира». Граф И. А. Толстой был дежурным старшиной московского Английского клуба. Ему довелось выступить в роли «жреца застолья» и хранителя обеденного ритуала, продемонстрировав свое мастерство во время клубного торжественного обеда в честь Багратиона, одержавшего победу в Шенграбенском сражении. «Стол был накрыт на 300, то есть на всех членов клуба и 50 гостей. Убранство было великолепное, о провизии нечего и говорить. Все, что только можно было отыскать лучшего и редчайшего из мяса, рыб, зелени, вин и плодов, все было отыскано и куплено за дорогую цену. Многое было доставлено богатыми владельцами подмосковных оранжерей бесплатно. Все наперебой старались оказать чем-нибудь свое усердие и участие в угощении», — сообщал об этом знаменательном событии С. П. Жихарев в «Русском архиве». В романе «Война и мир» Толстой описал знаменитый обед, данный в честь Багратиона, во всем следуя рассказу Жихарева, дополнив его художественными деталями — участием И. А. Ростова в сем торжественном мероприятии: «Во всех комнатах Английского клуба стоял стон разговаривающих голосов... и, как пчелы на весеннем пролете, сновали взад и вперед», «300 человек разместились в столовой по чинам и важности, кто поважнее, — поближе к чествуемому гостю... Обеды, постный и скромный, были великолепны... На втором блюде, вместе с ис-

полинскую стерлядь, стали наливать шампанское. После рыбы — тосты...»

В повседневной жизни антураж был много скромнее, но обеды такие же «убийственно сытые». В зависимости от того, была ли трапеза постной или скоромной, званой или обычной. Блюда каждой новой «перемены» — холодные, горячие, сладкие готовились специальным поваром. Стол накрывали официанты, которых было примерно столько же, сколько сидящих за столом. Блюда подавались по «переменам» из «белой кухни» в столовую. Стандартный набор — четыре перемены по три блюда в каждой. Длился обед около двух часов. По-настоящему обедали всегда в гостях. Случалось есть и без серебра, драгоценного фарфора и хрусталя, но непременно при наличии изысканной чистоты скатерти и превосходно накрахмаленных салфеток.

Как утверждали знатоки кулинарного искусства, все едят, но обедают лишь избранные. Искусство обеда включает в себя триаду: где и как обедать, с кем обедать и, наконец, что есть. Эти компоненты влияют на качество жизни. Но не только. Как утверждал поэт, от питательной и регулярной пищи зависит вдохновение.

На вопрос, где сидеть и как обедать, ответил Лев Толстой, описав именины графини в «Войне и мире»: «Он (граф Ростов. — *Н. Н.*) заходил через цветочную и официантскую в большую мраморную залу, где накрывали стол на восемьдесят кувертов (столовых приборов. — *Н. Н.*), и, глядя на официантов, носивших серебро и фарфор, расставлявших столы и развертывающих камчатные скатерти, подзывал к себе Дмитрия Васильевича, дворянина, занимавшегося всеми его делами, и говорил: “Ну, ну, Митенька, смотри, чтоб все было хорошо”. С удовольствием оглядывая огромный раздвинутый стол, добавлял: «Главное — сервировка. То-то...» Вскоре «звуки домашней музыки заменились звуками ножей и вилок, говором гостей, тихими шагами официантов...». На одном конце стола во главе сидела графиня; на другом конце — граф и гости мужского пола; с одной стороны длинного стола молодежь постарше; с другой — дети, гувернеры и гувернантки. Хозяин стола выглядел из-за хрусталя, бутылок и ваз с фруктами, наливая

вина своим соседям. Графиня смотрела на гостей из-за ананасов, не забывая об обязанностях хозяйки. На дамском конце слышалось равномерное лепетание, а на мужском — голоса раздавались все громче и громче. Подавались супы, один *a la tortue* (черепаховый. — Н.Н.), кулебяки, рябчики. Вино разливал дворецкий, держа бутылку, завернутую в салфетку. Вина подавались такие: «дрей-мадера», «венгерское» и «рейнвейн». У каждого прибора стояли четыре хрустальные рюмки с графским вензелем.

Во времена И. А. Толстого и его литературного двойника кушанья были простыми: щи, окрошка, солонина, каша, которые подавались в больших количествах. Обеды и ужины каждый раз готовились заново и были очень сытными. Все блюда одновременно ставились на стол. Для званных обедов готовилось до восьми блюд. В летнее время к таким трапезам был приставлен слуга с веником, чтобы отгонять от присутствующих злых мух. Всевозможные закуски и заедки сопровождалась выпивкой по рюмочке. Русский стол преимущественно сохранялся во время поста, так как в 70-е годы XVIII века в моду вошел «европейский» стиль обеда, когда блюда ставились на отдельный столик, и лакеи разносили их вокруг стола, накладывая еду прямо в тарелки. Обеды «на скорую руку» готовились из кур и яиц, которых в избытке было в усадебном хозяйстве. Совсем иное дело — рыбные блюда, которые считались накладными. Ценную рыбу приходилось покупать. Все остальное — мясо, овощи, фрукты, включая экзотические, были своими. Толстой гениально описал «чувственные», вкусные обеды в своих романах, в полной мере продемонстрировав свое совершенство «тайновидца плоти».

Культ еды был ему знаком с детства. Повар Николай Михайлович Румянцев готовил «отличные обеды», в немалой степени способствовавшие тому, чтобы маленький Лёва вырос здоровым. Он запомнил мастерство кондитера Максима Ивановича, вкусные обеды из пяти-шести блюд, десерты, варенья, левашники, пирожки, названные в честь повара «вздохами Николая». Из еды он не признавал, пожалуй, только бульона. На покупку приправ, растительного масла и кофе в Ясной Поляне тра-

тилось от 100 до 125 рублей в месяц. Все остальное — птица, мясо, молоко и рыба — было своим.

Став молодым человеком, Толстой познакомился с кавказской кухней. В Тифлисе он посещал духаны, небольшие рестораны, в которых висели баранина, свежая, жирная, очень привлекательная, и гроздь винограда. С тех пор он полюбил виноград и как-то признался С. Венгеру: «Я люблю виноград, летом хочется съесть его полфунтика, а ведь нельзя: совесть зазрит». Но было время, о котором рассказала подруга его сестры Е. И. Сытина, когда совесть еще «не зазрила»: «Послал он однажды купить фунт крупного винограда, стоивший тогда полтинник. Лев Николаевич в то время любил полакомиться, как все некурильщики. Мы с Марией Николаевной (сестрой писателя. — *Н. Н.*) торчали тут же. Когда коридорный принес виноград, Лев Николаевич взял его в руки и, немного подумав, конфузливо и шутливо заметил:

— Знаете, *mesdames*, ведь если этот фунт разделить на три части, то никому не будет никакого наслаждения, лучше уж я съем все.

Мы, конечно, поневоле согласились и предоставили Льву Николаевичу Львиную долю целиком. Он ел, а мы смотрели. Однако же ему становилось совестно, и он, держа виноград, прерывал еду словами:

— А все-таки, *mesdames*, не хотите ли?!

Мы всякий раз великодушно отказывались».

Были у писателя и другие пристрастия, способствовавшие пробуждению воображения, например кофе, чай, шоколад, конфеты фирмы «Эйнем». Он был сластеной, ставил перед собой большую бонбоньерку, выбирал из нее любимые шоколадные конфеты с начинкой, но не жевал их, а медленно сосал, чтобы продлить удовольствие.

Кофе, «чудесный дар Аравии счастливой», постоянно ласкал его вкус. Он рано вставал и встречал день с чашкой кофе, который ему подавался на подносе в маленькой чашечке. Держа ее за ручку двумя пальцами, большим и указательным, он не спеша пил кофе небольшими глотками, каждый глоток сопровождая протяженным полувздохом: ффу! Допив кофе, он по обыкновению заглядывал в чашку, явно сожалея о том, что в

ней ничего не осталось. Вряд ли эффект от глотка кофе сопоставим с эффектом вина. Ведь ароматный кофейный напиток без обмана и лукавств. Он не обманывает чувств, усиливает энергию мысли, рассеивает усталость. Не случайно в честь кофе слагали кантаты и панегирики Вольтер, Дидро, Руссо, братья Гримм, Бальзак. Этот темный, как ночь, напиток одаривал горячие души художников еще большим творческим жаром.

На протяжении многих лет Толстой по-разному выстраивал свой образ жизни. Его уникальная личность вряд ли соответствует строго определенной эмпирической индивидуальности. В повседневной жизни все не так однозначно. В Толстом сконцентрирована вся мудрость повседневности. Он носил в себе множество различных личностей. Не случайно его называли «человеком-оркестром». Он практически подтвердил жизненность юнговской концепции масок.

Толстовский универсализм вбирал в себя множество пристрастий, среди которых нашлось место и для курения. Возбуждающее действие табака ощущается в текстах писателя. Он сам не раз обращал внимание на присутствие в своем творчестве «папиросочного дыма». Порой он «вдыхал» запах табака с философских страниц И. Канта, утверждая, что знает, на какой именно странице автор «перекурил». Известно, что Гёте и Бальзак раздражались филиппиками в адрес дьявольского зелья. Не поэтому ли Толстой не был их поклонником? Он, как и Флобер, Мицкевич, Ж. Санд, в период работы над своими произведениями постоянно окутывал себя клубами дыма, нервно набивая гильзы табаком. Любопытно, что после перехода к вегетарианству он еще семь лет продолжал курить. Папироса, зажата между указательным и средним пальцами, долгое время была неразлучным атрибутом яснополянского гения. Трудно сказать, курил ли Толстой табак из Вирджинии или *tabac noir*, но можно утверждать, что папиросы в его жизни на протяжении многих лет играли роль демоническую, побуждая к творческой экзальтации.

Выпив черный кофе, писатель непременно закуривал папиросу. Курил он довольно часто: сперва готовые папиросы, позже скручивал их сам. В галантерейных

лавках Москвы покупал мундштуки для папирос. Впоследствии курение Толстой назвал греховным занятием. Долгое время пытался бросить, курил с каждым годом все меньше. Когда бросил курить, перестал читать газеты, чтобы мысли оставались свежими. Считал, что курение ослабляет мышление. Чтение газет сравнивал с вдыханием дыма чужой папиросы. Плоть Толстого замирала, и вместе с ней из его жизни уходил «папиросочный туман и возбуждение». После этого он стал писать «проще, скромнее, без кокетства умственного, и оттого доступнее и яснее». Ведь папироса доставляла ему особое наслаждение, потому что в том чудесном ощущении, которое приносил табак, есть что-то обманчивое. Теперь это чувство прошло, как и потребность в этом атрибуте молодости.

Курил Толстой обычно в передней. Не любил курить в столовой, считая, что в этой комнате слишком жарко. Свою первую попытку отказаться от курения писатель предпринял в 1884 году, придя к выводу о том, что на свете существует три зла: алкоголь, мясо, никотин. В 1887 году он написал В. Г. Черткову: «Я второй день бросаю курить и случайно или от этого не могу сказать двух мыслей». 28 февраля 1888 года он окончательно бросает курить. Таким образом он отметил свое шестидесятилетие. Он называл себя старовером, выступая против цивилизации, которая, с его точки зрения, разрушала нравственность, потому что производила табак и вино, и «всю деятельность господ военных». Тем не менее еще по инерции Толстой продолжал получать подарки от табачных фабрик. Так, в 1908 году фирма «Оттоман» прислала ему на восьмидесятилетие несколько тысяч папирос в коробках с портретом Льва Николаевича. Юбиляр, дабы не обидеть дарителя, решил все-таки одну коробку оставить себе, а прочие вернуть, так как больше 20 лет уже не курил и другим не советовал. В это же время к нему обратилась еврейская фабрика по производству сигар с просьбой позволить назвать сорт раритетных сигар его именем. Письмо написал некий господин Э. Розенталь из Нью-Йорка, но ответа от писателя не получил.

Толстой был настоящим гурманом. Так, например, читая любимого Стерна, он наслаждался фрикасе. Вку-

шая вместе с героем «Сентиментального путешествия» мясное блюдо с приправами, вырабатывал в себе сакральное отношение к еде, примирявшее душу с телом. Он разбирался в тонкостях изысканного застолья, не предполагавшего шума и обилия слуг. Прелесть обедов заключалась совсем в ином — в убранстве пространства, месте проведения застолья и в роскоши общения. Это был основной камертон обеда.

В Париже он «обедал у Philippe», в «*Restaurant Philippe*», считавшемся одним из лучших ресторанов. Частенько бывал в *Club des Grands estomacs* (Клуб больших желудков. — Н. Н.), где собирались ценители хорошей кухни; не раз посещал ресторан «*Les Plaisirs de Paris*», славившийся рыбными блюдами (к заведомым этого ресторана относится его реплика «чудаки милые»), не смог пройти мимо «*Frères Provençaux*» («Провансальские братья». — Н. Н.), старинного ресторана в Пале-Рояле, пользовавшегося большой популярностью. Толстой заходил и в «*Café-des Aveugles*» («Кафе слепых». — Н. Н.), размещавшееся под аркой Пале-Рояля и названное так в честь игравшего в нем оркестра слепых музыкантов. Публику привлекал сюда известный чревовещатель (*ventriloque*) — гигантского роста барабанщик.

В Петербурге Толстой посещал кондитерскую Пассажа, рестораны Сен-Жоржа и Клея, обедал у Шевалье, где, по собственным воспоминаниям, «хорошо пил». Участвовал в артистических обедах и ужинах, бывал на знаменитых, так называемых «генеральных» обедах Некрасова, на скромных пиршествах Тургенева, а также на светских раутах, организованных редакцией «Современника».

Еще в 25 лет Толстой выработал для себя «Правила», одно из которых заключалось в том, чтобы «быть выдержанным в питье и пище». Однако через два года признался, что переедает. Близкие не раз подмечали его большой аппетит, не покидавший его даже в старости. Наблюдая за ним во время обеда, Александра Андреевна Толстая «всегда находила, что он кушает, как проголодавшийся человек, слишком скоро и слишком жадно». Однажды во время поста, когда взрослым подавались исключительно постные блюда, а детям мясные, Лев

Николаевич обратился к сыну Илье с просьбой «подать котлет». Софья Андреевна, услышав это, сказала, что он, вероятно, забыл, что «нынче пост». А в ответ услышала: «Нет, не забыл, я больше не буду поститься и постного для меня больше не заказывай». К ужасу окружающих, Лев Николаевич стал лакомиться котлетами и нахваливать их. Впоследствии поведение отца привело к «религиозному безразличию» детей. Только в конце жизни он пришел к выводу, что из еды нельзя «делать наслаждения». «Если бы люди ели только тогда, когда они очень голодны, и питались простой, чистой и здоровой пищей, то они не знали бы болезней».

Обычно, садясь за обеденный стол, Толстой левой рукой приподнимал свою большую бороду, а правой засовывал за ворот блузы конец белоснежной салфетки. Остальную ее часть он бережно расправлял на груди. Все это делалось изящными, отточенными и привычными движениями. Завершив трапезу, он поспешно вытаскивал из-под ворота блузы конец салфетки, комкал ее, клал на стол, ставил пальцы грациозным полукругом на стол и, опираясь на них, легко, словно на пружинах, поднимался и отодвигал стул. Культурную семантику трапезы Толстой знал досконально, с блеском демонстрируя ее не только в повседневной жизни, но и в своих романах.

Писатель, так любивший хорошо поесть, о чем сохранилось немало свидетельств, придававший такое большое значение культуре еды, мог легко абстрагироваться от условностей. Холостяцкая офицерская жизнь приучила Толстого к спартанскому образу жизни. У всех братьев Толстых в этом стремлении «читалось» что-то фамильное. Вот как об этом рассказывал их друг, поэт Афанасий Фет. Он вспоминал о своей поездке в Никольское на Троицын день к милейшим братьям Толстым, которые устроили трапезу в его честь: «Проезжая мимо небольшого, очевидно, кухонного окна, я заметил на подоконнике ошпаренную и ошипанную курицу, судорожно прижимающую крыльями собственный пупок и печенку... Слуга ввел из сеней в довольно просторную комнату в два света. Кругом вдоль стен тянулись ситцевые, турецкие диваны вперемежку со ста-

ринными стульями и креслами. Перед диваном, направо от входа, стоял стол, а над диваном торчали оленьи рога и рога лося, с развешанными на них восточными, черкесскими ружьями. Оружие это не только кидалось в глаза гостей, но и напоминало о себе сидящим на диване и забывшим о их существовании неожиданными ударами по затылку. В переднем углу находился громадный образ Спасителя в серебряной ризе... Ясно было, что Николай Николаевич, то проживавший в Москве, то у двух братьев и любимой сестры, то у нас или на охоте, смотрел на Никольский флигель не как на постоянное, оседлое жилище, требующее известной поддержки, а как на временную походную квартиру, в которой пользуются чем можно, не жертвуя ничем на благоустройство. О таком временном оживлении уединенного Никольского флигеля свидетельствовали даже мухи.

Пока никто не входил в большую комнату, их там почти не было заметно, но при людском движении громаднейший рой мух, молчаливо сидящих на стенах и оленьих рогах, мало-помалу взлетал и наполнял комнату в невероятном количестве. Про это Лев Николаевич со свойственной ему зоркостью и образностью говорил: "Когда брата нет дома, во флигель не приносят ничего съестного, и мухи, покорные судьбе, безмолвно усаживаются по стенам, но едва он вернется, как самые энергические начинают понемногу заговаривать с соседками: 'вон он, вон он пришел; сейчас подойдет к шкафу и будет водку пить; сейчас принесут хлебца и закуски. Ну да, хорошо, хорошо; подымайтесь дружок-нее'. И комната наполняется мухами... 'Ведь этикие мерзкие, — говорит брат, — не успел налить рюмки, а вот уже две ввалились' "...

Около пяти часов вечера слуга накрыл на столе перед диваном на три прибора, положив у каждой тарелки по старинной серебряной ложке с железной вилкой и ножом с деревянными ручками. Когда крышка была снята с суповой чашки, мы при разливании супа тотчас же узнали знакомую нам курицу, разрезанную на части. За супом явилось спасительное в помещичьих хозяйствах блюдо, над которым покойный Пикунин так изде-

вался: шпинат с яичками и гренками. Затем на блюде появились три небольших цыпленка и салатник с молодым салатом.

— Что же ты не подал ни горчицы, ни уксусу? — спросил Николай Николаевич.

И слуга тотчас же исправил свою небрежность, поставивши на стол горчицу в помадной банке и уксус в бутылке от одеколона Мусатова.

Покуда усердный хозяин на отдельной тарелке мешал железным лезвием ножа составленную им подливку для салата, уксус, окисляя железо, успел сильно подчеркнуть соус; но затем, когда тем же ножом и вилкой хозяин стал мешать салат, последний вышел совершенно «под чернью». Таким вот неприятзательным, в походном духе, был организован праздничный обед в исполнении Николая Толстого».

После женитьбы многое изменилось в повседневной жизни Льва Толстого. В Ясной Поляне за стол садились в одно и то же время: в девять утра пили кофе или чай, в час дня завтракали, в четыре пили кофе, в шесть обедали, а в восемь вечера — ужинали, после чего вновь пили чай. В одиннадцать все шли спать.

А чем питались обитатели Ясной Поляны, кроме выращенных здесь овощей? Ведь не все из них были вегетарианцами, как Толстой и его дочери. За полгода они съели около десяти пудов масла, шести с половиной пудов сливок, трех пудов сметаны, двух с половиной пудов творога, а также около десяти пудов молока. И это, как отмечала жена писателя в своих ведомостях, предназначалось исключительно для «Графского Дома». Существовал еще один дополнительный список, озаглавленный ею «Для прислуги», в котором перечисляются: 51 пуд молока, 29 фунтов масла, 12 фунтов сливок и 24 фунта творога. За полгода в Ясной Поляне съедали около 450 куриных яиц.

Потребление такого количества продуктов было возможно благодаря хорошо развитому натуральному хозяйству, в котором было 18 коров, 12 телят, 3 быка и 7 коров, 21 баран, 38 лошадей, 18 старых и 15 молодых кур, 18 индюшек, 5 селезней и 16 уток, 17 свиней. Впечатляющее хозяйство, не правда ли? Особенно если

учесть, что семья к этому времени распалась, многие дети жили отдельно в своих имениях.

Варенье в Ясной Поляне варили по рецепту московского врача Анке, секрет которого заключался в том, чтобы как можно меньше подливать воды. Чай пили из баташовского самовара. Варенье подавалось на любой вкус: из клубники ананасной и земляники испанской, из крыжовника красного и зеленого, из груши, дыни, брусники, китайки, вишни, сливы и смородины. В крыжовенное варенье, как и в яблочное, непременно добавлялись либо ваниль, либо лимон. Желе также готовилось впрок, преимущественно из красной смородины и горькой рябины. Начиная с июня шла интенсивная заготовка варенья на зиму. Запасы были немалые: от 46 до 50 банок. Варенье не успевали съесть за одну зиму, и оно сохранялось до следующего года.

Огромное хозяйство требовало семян для посадки огородных культур, и Софья Андреевна исправно посылала в Москву на Мясницкую заявки на них. Она приобретала на сумму 16 рублей 27 копеек семена огурцов, редиса, свеклы, капусты, моркови, салата, редьки, шпината, пастернака, чабера, петрушки, сельдерея, лука-поррея, бобов, арбуза, дынь. Цветочные семена заказывались на большую сумму — на 28 рублей 55 копеек. Это астры, бальзамин, бессмертник, вербены, виолы, гвоздики, петунии, левкой, настурции, душистый горошек, примула, флоксы и многое другое.

Когда семья собиралась за чаем вокруг многослойного анковского пирога, приготовленного из рассыпчатого песочного теста, коржи которого были пропитаны лимонной начинкой, казалось, что в доме царит счастье.

Предлагаем почитателям кулинарного искусства рецепт пирога Анке, который в Ясной Поляне пекли к празднику:

1 фунт муки (фунт — 453 г), $\frac{1}{2}$ фунта масла, $\frac{1}{4}$ фунта толченого сахара, 3 желтка, 1 рюмка воды. Масло, чтоб было прямо с погребя, похолоднее.

Популярным был также сметанный пирог (Анке):

10 яиц, 20 столовых ложек сметаны, чашка сахара,

2 столовые ложки муки крупитчатой. Дно салатника выложить вареньем, влить в него эту массу и поставить в духовой шкаф.

Замечательно готовил этот анковский пирог, ставший символом благополучия и стабильности толстовской семьи, повар Николай, прибывший из семьи Берсов и пустивший глубокие корни в Ясной Поляне. Гувернеры, уроки, грудные дети, которых кормила Софья Андреевна, семейные устои — все это входило в круг его забот. За хорошую службу ему было разрешено «есть вкусную пищу и спать на дорогом матраце».

Лев Толстой, как и Пушкин, съедавший за раз «30 штук блинов», запивая их глотком воды, не испытывая при этом «ни малейшей тяжести в желудке», мог съесть огромное количество блинов. Только на старости лет писатель пришел к мысли, что необходимо «есть медленно, хорошо прожевывать и не торопиться», в отличие, например, от того, как ест маленький Сережа. «Почему ты так быстро ешь? — однажды спросила ребенка мать. «Если бы я ел медленно, мне бы блинов не досталось, другие бы съели». Толстой так же, как и великий поэт, обожал печеный картофель. Интересно было смотреть, как он его ел. Сначала насыпал на тарелку небольшую кучку соли, клал около нее кусок сливочного масла, затем брал из миски, накрытой белой салфеткой, большую картофелину с румяной корочкой, разрезал пополам. Чтобы не обжечь пальцы, клал одну ее половинку на угол салфетки, облежавшей его грудь, и все время держал ее перед собой в левой руке. В правой держал чайную ложку, которой отламывал на тарелке кусочек масла и ею же прикасался к соли. После этого ложкой вынимал из кожуры кусочек картофеля, дул на него, чтобы остудить, и затем съедал. Так, с превеликим удовольствием он съедал три картофелины.

Лев Толстой без ошибки распознавал нрав, образ мыслей человека по его кулинарным пристрастиям. В своих произведениях писатель уделял большое внимание не только самой пище, но и той обстановке, в которой проходит обед, и особенно общению во время трапезы, семантике поведения сидящих за столом. Трапеза имеет свой язык, расшифровкой которого и занимался

Толстой, описывая обеды Стивы Облонского и Константина Левина в романе «Анна Каренина»:

«— В “Англию” или в “Эрмитаж”?

— Мне все равно.

— Ну, в “Англию”, — сказал Степан Аркадьич, выбрав “Англию” потому, что там он, в “Англии”, был более доволен, чем в “Эрмитаже”. Он потому считал нехорошим избегать эту гостиницу».

По дороге в ресторан каждый из толстовских героев думает о своем: «Левин думал о том, что означала эта перемена выражения на лице Кити, и то уверял себя, что есть надежда, то приходил в отчаяние...

Степан Аркадьич дорогой сочинял меню.

Для одного обед с его материальностью является чем-то пошлым, а для другого — поэтичным и ритуальным.

«Когда Левин вошел с Облонским в гостиницу, он не мог не заметить некоторой особенности выражения, как бы сдержанного сияния на лице и во всей фигуре Степана Аркадьича...

— Сюда, ваше сиятельство... — говорил особенно липнувший старый белесый татарин с широким тазом и расходившимися над ним фалдами фраком. — Пожалуйста шляпу, ваше сиятельство, — говорил он Левину, в знак почтения к Степану Аркадьичу, ухаживая и за его гостем.

— Так что ж, не начать ли с устриц, а потом уж и весь план изменить? А?

— Мне все равно. Мне лучше всего щи и каша; но ведь здесь этого нет.

— Каша, а ля рюс, прикажете? — сказал татарин, как няня над ребенком, нагибаясь над Левиным.

— Нет, без шуток; что ты выберешь, то и хорошо. Я побегал на коньках, и есть хочется. И не думай, — прибавил он, заметив на лице Облонского недовольное выражение, — чтоб я не оценил твоего выбора. Я с удовольствием поем хорошо.

— Еще бы! Что ни говори, это одно из удовольствий жизни, — сказал Степан Аркадьич. — Ну, так дай нам, братец ты мой, устриц два, или мало — три десятка, суп с кореньями...

— Прентаньер, — подхватил татарин. Но Степан Аркадьич, видно, не хотел ему доставлять удовольствия, называть кушанье по-французски.

— С кореньями, знаешь? Потом тюрбо под густым соусом, потом... ростбиф; да смотри, чтобы хорош был. Да каплунов, что ли, ну и консервов.

Татарин, вспомнив манеру Степана Аркадьича не называть кушанья по французской карте, не повторял за ним, но доставил себе удовольствие повторить весь заказ по карте: «Суп прентаньер, тюрбо сос Бомарше, пулард а лестрагон, маседуан де фрюи...»

— Сыру вашего прикажете?

— Ну да, пармезан. Или ты другой любишь?

— Нет, мне все равно, — не в силах удерживать улыбки, говорил Левин».

Любопытно, что Левин и Облонский говорят как бы на разных языках, тем не менее это не мешает им понимать друг друга.

Толстой прекрасно разбирался во всех тонкостях «артистических» обедов, для которых готовилась специальная «программа», предусматривающая композицию, симметрию, «пуант» этого события. Стива Облонский, в чем читатель только что убедился, «любил пообедать». Но еще более любил давать утонченный по своему качеству обед. Это касалось не только блюд и напитков, но и выбора приглашенных персон. Программа обеда на сей раз была представлена живой рыбой, спаржей, чудесным ростбифом и марочными винами. Приглашение на обед знатных особ представляло собой своеобразный ритуал.

В романе «Воскресение» Толстой описал вошедший в моду в дворянской среде обед в английском стиле, когда все блюда выставлялись на стол без соблюдения последовательности. К финальной части застолья подавались «лакомства». Блюда при этом никто не разрезал. Обед у Чарских на страницах толстовского романа проходил уже в контексте новых традиций.

Обедали у графини Екатерины Ивановны в половине восьмого, и обед подавался по-новому, еще невиданному Нехлюдовым способу. Кушанья ставились на стол, и лакеи тотчас же уходили, так что обедающие сами

брали понравившиеся им блюда. Мужчины не позволяли дамам утруждать себя излишними движениями и, как сильный пол, мужественно несли всю тяжесть накладки вания дамам и себе кушаний и наливания напитков. Когда же одно блюдо было съедено, графиня нажимала в столе пуговку электрического звонка, и лакеи беззвучно входили, быстро убирали, меняли приборы и приносили следующую перемену. Обед был утонченный, такие же были и вина. В большой светлой кухне работали французский шеф с двумя помощниками. Обедали вшестером: граф и графиня, их сын, угрюмый гвардейский офицер, клавший локти на стол, Нехлюдов, лектрисса-французенка и приехавший из деревни главноуправляющий графа. Что ж, обед получился вполне щегольским. Здесь отсутствовали только трюфели, как и всяческие бронзовые антикварные украшения, которые более не являлись эстетскими атрибутами.

К этому времени со стола была вытеснена французская сервировка, как и тосты в честь поваров. Ведь еще Бодлер говорил, что у Бальзака, например, любой поваренок отличался талантом.

Описание обедов в толстовских текстах весьма красноречиво и значимо. Так, в романе «Воскресение» величественность буфетчиков, накрахмаленные салфетки, заложенные за жилет, чувственные губы участников застолья с жирными шеями, серебряные вазы, большие разливательные ложки, красавцы лакеи с бакенбардами, омары, икра, сыры, упитанные фигуры — все это, начиная со швейцара и заканчивая лстивыми лакеями, вызывало протестное чувство у Дмитрия Нехлюдова.

Где, как и с кем обедать? Толстой считал, что это целая наука, с помощью которой можно продемонстрировать *savoir vivre*, свой такт и свою значимость в обществе. Хорошее блюдо — привилегия повара, а вино считалось прерогативой самого хозяина. Во время обедов, в отличие от вечеринок, непозволительно было много разговаривать, спорить, рассуждать. Здесь уместно было обмениваться короткими остроумными фразами, щекочущими ухо собеседника. Яснополянские погреба были заполнены самодельным пенным вином Перфильевых, приготовленным на основе березового

толченого угля и дрожжей из виноградного белого вина, Захарьинской водой, шампанским, настоянным на смородиновых листьях с добавлением дрожжей и лимонов, кваса Шостака и пива князя Шаховского. Все эти напитки одаривали хозяина Ясной Поляны приятностью мысли, радостью, чувством полета. Благотворное влияние вина, его живительную силу он испытывал до конца дней своей жизни. Эразм Роттердамский пробовал даже свои больные почки лечить вином. Стакан хорошего вина, выпитый в момент творчества, помогал Толстому оторваться от земли, подняться до высот Монблана. Главное, по его мнению, было не переусердствовать. С горечью подмечал он места в шедеврах Шиллера, свидетельствующие о том, что их автор выпил шампанского значительно больше обычного. Толстой во всем, в том числе и в вине, ценил чувство меры, знаменитое «чуть-чуть». Только так «вино ее прелести может ударить в голову», любил он говорить о своей героине Наташе Ростовой.

До кризиса писатель любил курить насыпные папиросы, набитые женой, любил перед обедом выпить домашний травник или рюмку белого воронцовского вина. Несмотря на почти полное отсутствие зубов, он продолжал есть быстро, плохо пережевывая пищу. Понимая, что это вредно, приговаривал: «Чтобы быть здоровым, надо хорошо ходить и хорошо жевать». Когда болел, лечился вином, обычно крепким — мадерой или портвейном. «Алкоголь и никотинец», употребляемые в больших количествах, он считал большим грехом. Тем не менее самым «большим лишением» называл все-таки вино.

Большим грехом Толстой считал также и мясоедство. По его мнению, процессу писательства более всего мешали резание кур, их истошные крики, битье о землю, вытирание кровавых ножей о траву. Как можно после этого их есть! Сыновья писателя утверждали, что, несмотря ни на что, это все-таки очень вкусно, а жена ссылалась на прислугу, желавшую есть мясо. Толстой верил, что через 40 лет образованные люди перестанут есть мясо и превратятся в вегетарианцев. Он разделял концепцию американского диетолога Хэйга, которая

заклучалась в том, что мясо и бобовые нельзя употреб-
лять по причине их вредного воздействия на мочевую
кислоту. Поэтому ограничивал прием пищи до двух раз
в день, а воды — до 30 унций, то есть до пяти стаканов.
Утро начинал со свежих яблок. Самым сложным для не-
го оказалось бросить курить, так же как и отказаться от
осетрины. Но, по словам Софьи Андреевны, Толстой
иногда все же соблазнялся мясными блюдами.

Окончив утреннюю работу, Толстой выходил к зав-
траку, ел быстро и с равнодушием яйцо всмятку: рас-
пускал в небольшом стаканчике и крошил в него ку-
сочек белого хлеба. Потом съедал еще небольшую
порцию гречневой каши. Обед обычно подавали ча-
сов в шесть. Лев Николаевич, как правило, опаздывал
и являлся тогда, когда первое блюдо было уже съеде-
но. Он редко говорил о любимых блюдах, как, впро-
чем, и о самой еде. Его обед состоял из супа, мучных
или молочных блюд и сладкого на десерт. Летом на
стол подавались еще и ягоды. Софья Андреевна обы-
чно готовила мужу чай на спиртовке, и Толстой шутли-
во подмечал, что ей надо было выйти замуж за Робин-
зона, который доил ламу.

Но чаще Толстой сам готовил себе непритотливый
ужин. Наливал воду из самовара в кастрюльку, высыпал
туда несколько ложек муки, добавлял лимон, ставил
кастрюлю на спиртовку. Потом с большим аппетитом
принимался за похлебку. Чай пил с лимоном, вместо са-
хара ел изюм. На ужин обычно варил себе кашу из ов-
сянки, которую Софья Андреевна сама покупала для не-
го в коробках.

Завтракал в зале обычно в одиночестве. Ел или про-
ванское масло с лимонным соком и белым хлебом, или
брынзу, привозимую врачом Маковицким из Словакии,
запивая чаем с коньяком. Все больше тяготел к «оди-
нокому пиру». Иногда брал чашку чаю с баранками и ухо-
дил в кабинет.

Вегетарианство в Ясной Поляне чрезвычайно услож-
нило жизнь хозяйки, разделив семью на два лагеря.
Однажды Софья Андреевна торжественно объявила за
столом, что *своих* детей она никогда «не допустит до веге-
тарианства». *Своими* она называла тех, кому не было еще

двенадцати лет. Она была убеждена, что пища, употребляемая ее мужем — хлеб, картофель, капуста, грибы, — очень вредна для его хронически больной печени. Во время очередных желчных приступов она искусно подливала мясные бульоны во все его блюда, и Лев Николаевич этого не замечал или не хотел замечать, как это случилось, говорят, с некоторыми монахами.

В час дня обычно завтракали домашние. В два часа, после окончания общего завтрака, когда посуда еще оставалась на столе, в зале появлялся писатель. В это время кто-нибудь из присутствующих распорядился подать Льву Николаевичу завтрак. Через несколько минут слуга приносил разогретую овсянку и маленький горшочек с простоквашей. И так — каждый день — одно и то же.

Лев Николаевич имел свое собственное меню. Время его трапезы не определялось заранее, и Софья Андреевна жаловалась, что приходится ставить уже приготовленные овсяную кашу или бобы в печь дважды и держать их там очень долго. В итоге они становились едва съедобными. Случалось, что первый завтрак писатель пропускал вовсе.

Лев Николаевич любил в овсянку покрошить яйцо. Получалась серовато-желтоватая масса, непривлекательная на вид. Он съедал ее десертной ложкой, слегка разжевывая. Трудно было бы догадаться, что у него совсем нет зубов. Ему не было еще и сорока лет, когда он лишился их. Обычно он клал себе вторую порцию и съедал ее с не меньшим аппетитом, что и первую, приговаривая: «Овсянка тем и хороша, что ее никогда нельзя закончить. Не могу остановиться». Доктора считали, что Толстой питается неправильно, ест слишком много. Действительно, нередко он съедал два—четыре яйца за день и ел много хлеба. Врачи советовали ему вести образ жизни, более соответствовавший пожилому и обремененному болезнями человеку. Но он не хотел этого. Как вспоминала 2 января 1902 года О. К. Дитерикс, Толстой «выпивал за день до трех бутылок кефира, пять яиц, несколько чашек кофе с лимоном, съедал раза три овсянку или рисовое пюре, дутый пирог или что-нибудь в этом роде». А во время болезни иногда не ел ничего более двух суток.

Увлечение Толстым вегетарианством вызывало негодование у Софьи Андреевны, к которой присоединялась и свояченица. Вдвоем они упрекали Льва Николаевича в том, что своим отказом от мясоедения он сбил с толку дочерей, которые из-за вегетарианства стали «зелеными и худыми». Тот говорил, что он здесь абсолютно ни при чем, что это их осознанный выбор, продиктованный внутренними убеждениями. Жена же не стеснялась в выражениях, называла его «дураком», а дочерей — *sottes* (глупыми. — *Н. Н.*). Словом, скандал разгорался на пустом месте. Льву Николаевичу приходилось постоянно отшучиваться.

На самом деле, он придавал огромное значение вегетарианству в контексте происходящих общественных пристрастий, связанных с появлением новых символов. Сокрушался по поводу того, что в Москве наряду с такими религиозными и научными храмами, как храм Христа Спасителя и Московский университет, появился еще и «храм обжорства» — магазин Елисеева на Тверской улице, завладевший желудками горожан.

Сам же Лев Николаевич не всегда выдерживал проверку на прочность. Поэтому иногда в его дневнике появлялись вот такие записи: «Расстроил здоровье объедением. стыдно!»; «Пью кофе — лишнее». Доктор Флеров, лечивший Толстого в Ясной Поляне, рассказывал, как его прославленный пациент заболел из-за масляничных дней: писатель съел столько блинов, «сколько хватило бы на двух здоровых людей».

«Обедал он как бы один и особо. Подавал ему лакей в белых перчатках и фраке на серебряном подносе кисель и кашу, еще что-то нетвердое и, конечно, безубойное, — вспоминал Василий Розанов. — Сидел он за одним столом, смешиваясь и не смешиваясь с остальными».

Вниманию читателей впервые предлагается яснополянское меню 1910 года, некий своеобразный гастрономический канон толстовской семьи, составленный Софьей Андреевной и хранящий ее пометки для поваров. В это время в усадьбе постоянно проживали Лев Николаевич, Софья Андреевна и Александра Львовна Толстые.

10 августа. Обед:

Суп-пюре овсяный. Гренки. Цыпята с рисом. Блан-манже. Столовое вино Вори. Поставить рис и крутые яйца; нарезать их половинками и положить кругом.

Завтрак:

Манная молочная каша. Яйца всмятку. Вчерашние котлеты из каши, прибавить тушеных грибов, холодный язык.

11 августа. Обед:

Суп перловый, пирожки, куриные котлеты, пюре картофельное и вермишель, томат особый, протертые яблоки с черносливом.

Завтрак:

Холодная ветчина, крутая овсяная каша, форшмак, свинина с грибами.

12 августа. Обед:

Суп с клецками и кореньями, пирожки, цыпленок жареный пополам, макароны, суфле из рыбы с морковью, желе малиновое.

Завтрак:

Котлеты рисовые. Салат картофельный со свеклой. Сбитая яичница.

13 августа. Обед:

Суп овсяный, пюре, пирог с грибами, рис, соус голландский или белый, яйца, жареные цыпята, 3 штуки. Блинчики графу, бисквит вчерашний.

Завтрак:

Манная каша на грибном бульоне, яйца всмятку 10 штук, оставшаяся рыба или поджарить говядину, которая была куплена.

14 августа. Обед:

Суп-лапша, пирожки, котлетки с жареным картофелем, зеленая фасоль с рисом, крем в чашках.

Завтрак:

Винегрет из овощей, манная каша молочная. Оставшееся.

15 августа. Обед:

Борщок, каша на сковороде, рыба с картофелем, горячий компот.

Завтрак:

Пшенная молочная каша, оставшееся.

16 августа. Обед:

Суп, пирожки, жареные цыплята, цветная капуста, кисель горячий.

Завтрак:

Яичница с ветчиной, печеная картошка.

17 августа. Обед:

Суп-пюре овсяный, пирожки вчерашние, жареная баранина, буженина с картофелем.

Завтрак:

Оставшаяся рыба, яичница с черным хлебом, котлеты фаршированные.

18 августа. Обед:

Борщ, каша, котлеты говяжьи, оладьи яблочные.

Завтрак:

Винегрет, корзинки из яиц.

19 августа. Обед:

Суп-пюре из моркови, пирог из капусты, жареная телятина, кисель клюквенный, миндальное молоко.

Завтрак:

Рис разварной, огородник.

20 августа. Обед:

Суп манный, пирожки, горошек с яйцами, жареные грибы.

Завтрак:

Холодная телятина, макароны.

21 августа. Обед:

Бульон, котлеты телячьи, рис запеченный, грибы тушеные, компот, яблоки протертые.

Завтрак:

Яйца с ветчиной, каша пшенная молочная.

22 августа. Обед:

Суп-пюре овсяный, пирожки, жареная индейка с картофелем, бланманже.

Завтрак:

Томаты фаршированные, каша пшенная.

23 августа. Обед:

Борщ, каша, жареная телятина, грибы, пирожки яблочные.

Завтрак:

Форшмак, винегрет.

24 августа. Обед:

Суп перловый, пирожки, битки в сметане, рисовые котлеты, яблочный сбитень.

Завтрак:

Яичница с черным хлебом, суфле из моркови.

25 августа. Обед:

Суп, пирожки, винегрет, рис отварной, компот.

Завтрак:

Все оставшееся.

26 августа. Обед:

Щи, каша, огородник, жареные грибы.

Завтрак:

Яичница взбитая, каша пшенная.

27 августа. Обед:

Суп-пюре овсяный, пирожки, индейка жареная, бисквит.

Завтрак:

Каша рисовая, яичница.

28 августа. Обед:

Суп-пюре из цветной капусты, пирог блинчатый, томаты фаршированные, пирог вчерашний.

Завтрак:

Винегрет, каша.

29 августа. Обед:

Борщ, суп, каша на сковороде, ветчина в горшочке.

30 августа. Обед:

Суп притоньер с омлетом, пирожки, утка с яблоками, котлеты рисовые с фасолью, крем яблочный.

Завтрак:

Холодная ветчина, жареные грибы, каша пшенная.

31 августа. Обед:

Суп/щи, каша, цветная капуста, крем в чашках.

Завтрак:

Спросить у Саши.

1 сентября. Обед:

Суп рисовый, пирожки, вареная рыба, картофель, кисель горячий.

Завтрак:

Яичница, холодная ветчина, каша с молоком.

2 сентября. Обед:

Борщок, гренки из каши, солянка рыбная, рис, компот.

Завтрак:

Водомерность

Сводный гидравлический расчет

Линия и гид	Курс	Амортиз.	Дивиденд	Дивиденд
	на 1000	на 1000	на 1000	на 1000
Задача: от 1-й линии от.				
<u>Два 1-е Дивиденда</u>				
Морской	1. 15	1. 24	1. 23	1. 19
Рисовый	" 24 1/2	1. 16	" 24 1/2	1. 11
Рисовый	" 18	" 24 1/2	" 21	" 13 1/2
Морской	" 10	" 12	" 23 1/2	" 26
Морской	1. 10	1. 26	1. 14	1. 30
Умножить	3. 26	4. 34 1/2	8. 7 1/2	5. 21
<u>На 1-й линии 1-й от. 1-й линии</u>				
Морской	" 4	" 9 1/2	" 6	" 4
Рисовый	" 3	" 2	" 3	" 2
Морской	" 3 1/2	" 4	" 4	" 13
Морской	10	15. 30	9. 35	7. 36
Умножить	6. 10 1/2	16. 54	10. 68	8. 16
Итого	10. 9	21. 44 1/2	15. 15 1/2	13. 36
<u>Два 1-е Дивиденда</u>				
Курсовый курс	150	50	230	22

Умножить

hannover 22. Nov 1907 mgl

Kauf		Kauf		Kauf	
nr	g	nr	g	nr	g

Thürmer

1. 03.	2. 21/4	9. 21/2			
" 31/4	1. 31/4	6. 33			
" 41/4	" 31/4	3. 16			
" 11/4	" 11	2. 26 1/2			
1. 20 1/2	1. 34	9. 11 1/2			
4. 07.	7. 21/4	31. 15 1/4			
" 3.	" 2 1/4	" 20.			
" 2.	" "	" 12.			
" "	" "	" 11 1/2			
5. 16.	6. 10	51. 07.			
5. 21	6. 12 1/4	52. 32 1/4			
9. 28.	14. 11 1/4	84. 18 1/4			
" "	" "	152			

Stein

Спросить у Саши. Рыбу не подавать, оставить к обеду.

Пропуск в меню

1 октября. Обед:

Суп-пюре овсяный, пирожки, рисовые котлеты, салат картофельный со свеклой. Сладкие корни, бланманже.

Завтрак:

Кашка смоленская, яйца всмятку.

2 октября. Обед:

Суп рисовый. Пирожки вчерашние, макароны, томаты отдельно, горошек сухой с яйцом, кисель горячий.

Завтрак:

Рисовая молочная кашка, картофельное пюре, брюссельская капуста, варенье.

3 октября. Обед:

Суп-пюре, гренки с сыром, заливная рыба, горошек консервированный, яйца.

Завтрак:

Капуста фаршированная, постный форшмак, селедка. Татьяне Львовне и графу — геркулес. Графу еще яйца всмятку.

4 октября. Обед:

Суп овсяный, пирожки, суфле из рыбы с морковью, кисель горячий.

Завтрак:

Что осталось, пирог с капустой, если мало осталось, я не видела, то что-нибудь прибавить.

5 октября. Обед:

Суп-похлебка, пирожки, яйца в томате. Жареные сладкие корни, крем в чашках. Графу такой же суп, как вчера. Яйцо. Манюса на вине.

Завтрак:

Жидкая молочная манная каша, картофельные котлеты с капустой красной или белой. Графу овсянка и яйцо.

6 октября. Обед:

Суп перловый графу. Нам — всем борщ. Пирожки с кашей. Рис запеченный, соус белый. Пюре картофельное и брюсс. Протертые яблоки с черносливом. Графу — чашку чайную манной каши на миндальном молоке.

Завтрак:

Жареная картошка с луком, крупеник. Овсянка и яйцо графу.

7 октября. Обед:

Суп с рисом, пирожки. Рябчики нам жареные, сбитая яичница. Цветная капуста, бисквит с взбитыми сливками.

Завтрак:

Жидкая молочная кашка манная. Все вчерашнее. Рыба сваренная на троих человек, картофель вареный. Графу овсянки и яйцо.

8 октября. Обед:

Суп-пюре перловый, мелкие сухарики, соус морковный на молоке, лучше разварить. Яйца, томаты. Манная жидкая, шоколадная кашка.

Завтрак:

Пшенная молочная кашка, форшмак. Графу — овсянка и яйца.

9 октября. Обед:

Борщок, гренки из каши. Макароны, жареные сладкие коренья. Печеные яблоки.

Завтрак:

Солянка с черными гренками, гречневая размазня с луком.

10 октября. Обед:

Суп-пюре рисовый, пирожки, картофельные котлеты с консервированным горошком, вермишель, дутый пирог.

Завтрак:

Геркулес графу и яйцо. Жареная картошка. Сырники.

11 октября. Обед:

Щи, каша на сковороде. (Графу протереть.) Тетерева поджарить. Поставить корзиночки из яиц. Груша. Соус голландский. Желе.

Завтрак:

Фаршированный кочан, кашка манная молочная жидкая. Сбитая яичница.

12 октября. Обед:

Суп-лапша, пирожки. Рис гарнированный крутыми яйцами, соус белый или голландский. Репа и картофель печеные. Яблочные пирожки.

Завтрак:

Каша гречневая на сковороде. (Лист оторван.)

13 октября. Обед:

Суп со смоленской крупой, вчерашние пирожки к завтраку не подавать! Пельмени потоньше с луком, рисом и грибами. Брюссель Баваруазь.

Завтрак:

Смоленская кашка, яичница, вареный картофель в мундире.

14 октября. Обед:

Суп с омлетом и кореньями. Пирожки. Огородник, лапша на молоке, компот.

Завтрак:

Винегрет. Оладьи.

*15 октября. (8 персон + Сергей Львович придет)
Обед:*

Суп-борщок, пирожки с кашей. Яйца в томате. Жареный судак и жареный картофель поставить. Салаты из шинкованной капусты. Ореховый пудинг.

Завтрак:

Ветчина, горошек и пюре картофельное. Пирог с капустой.

16 октября. Обед:

Суп-пюре перловый, пирожки, суфле из моркови, рис, кисель с миндальным молоком.

Завтрак:

Если осталась каша гречневая от пирожков, то ее с молоком. Если мало, то пшеничную молочную кашу.

17 октября. Обед:

Суп маковый, пирожки, котлеты рисовые под белым соусом. Вафли глазированные.

Завтрак:

Спросить Сашу. Жареный картофель в сметане. Размазку гречневую.

18 октября. Обед:

Похлебка, пирожки, макароны. Горошек консервированный с яйцами. Горячий компот.

Завтрак:

Молочная яичница, яблочные оладьи, немного вареного картофеля.

19 октября. Одна гостья еще. Обед:

Суп-пюре перловый, маленькие пирожки и мелкие гренки. Рис с крутыми яйцами, соус голландский. Цвет-

ная капуста. Масло и сабаен с сухарями. Крем в чашках.

Завтрак:

Постный форшмак, холодная ветчина (надо еще узнать, вегетарианка ли эта барыня), вчерашний горошек с яйцами. Вчерашний суп.

20 октября. Обед:

Суп с рисом, оставить вчерашний суп к обеду. Яйца в томате. Дутый пирог.

Завтрак:

Солянка с соленой рыбой, манная молочная жидкая кашка. Щи + кашу оставить к завтраку. У графа печень болит, и потому я изменила его от постных щей [так!].

21 октября. Обед:

Суп-пюре овсяный, пирожки, севрюга с хреном и постным паровым омлетом. Земляная груша вареная. Облить голландским соусом. Протертые яблоки.

Завтрак:

Щи кислые, каша. 6 яиц всмятку.

22 октября. Обед:

Суп с омлетом и кореньями, пирожки, судак заливной, поставить вареные сладкие коренья. Рисовые котлеты. Трубочки с взбитыми сливками.

Завтрак:

Пирог с кашей вчерашней, соленой брынзой, жареный картофель с луком. Салат из красной шинкованной капусты.

23 октября. Обед:

Лапша, пирог старый, ватрушки, котлеты из каши с соусом свеклы, грибная подливка. Компот.

24 октября. Гости.

Суп-борщок, пирожки, какая-нибудь рыба, горошек консервированный с яйцами, запеченные макароны.

Завтрак:

Если есть, то холодная ветчина, если нет, то ломтиками поджарить немного колбасы для гостей. Картофельные котлеты с соусом из капусты. Сырники.

25 октября. Обед:

Суп-пюре, гренки, заливная рыба, поставить яйца в томате. Цветная под бешалелью в раковинах. Гурьевская каша.

Завтрак:

Фаршированный кочан, яичница, печеный картофель.

26 октября. Обед:

Ленивые щи, каша графу протертая. Морковный соус + фасоль свежая (пополам на блюде перегородить). Суфле миндальное, сироп.

Завтрак:

Рис.

К чаю Толстой всегда приходил вовремя. С годами он стал большим его поклонником, изменив кофе за его «иллюзорность энергии», под воздействием которой человек «пишет, пишет, быстро и много сочиняет, как Бальзак, но только это все ни к чему». Чай и кофе поделили мир на две половины. Россия, как и Англия, Китай, Индия, Япония, была оплотом чая. Не случайно А. Дюма-отец утверждал, что «лучший чай пьют в Санкт-Петербурге».

Толстой, по российской традиции, пил чай непременно из стакана с подстаканником. Самым главным для него в церемонии чаепития были не варенье и не пирог, а вдумчивые разговоры, во время которых было запрещено только одно: «пукать и ругать правительство».

Глава 14

«Лучшие говорю, чем тишу»

Прием родных, близких, знаменитостей — это часть усадебной жизни. Порой общение с посетителями для хозяина Ясной Поляны было предпочтительнее писания. Здесь, особенно летом, была вечная суматоха. Так, например, в середине мая 1886 года целый вагон 3-го класса, следовавший из Москвы в Ясную Поляну, заполнили огромная толстовская семья и семья Кузминских. «Нагромодили пропасть вещей, припасли и мы, и Кузминские, разной еды. Посадили всю нашу и Кузминских прислугу», — вспоминала впоследствии Софья Андреевна о веселой этой поездке. Все были счастливы оказаться вместе. Как комфортно ощущали себя молодежь и дети в этом большом просторном вагоне. В дороге много болтали, пели, смеялись, играли. А когда огромная компания оказалась в Ясной Поляне, где ее радушно встре-

чал сам Лев Николаевич, все почувствовали начало праздника лета. Все были дружны и любимы друг другом.

Кузминские, как традиционно было заведено в ясно-полянской усадьбе, разместились в дедовском флигеле, прозванном здесь впоследствии «флигелем Кузминских». Повзрослевшая «Наташа Ростова» — Таня Кузминская, которая к тому времени обзавелась большой семьей, приносила особый шарм в атмосферу толстовской усадьбы. Обилие гостей, их радушный прием — фирменный знак славной усадьбы. Д. П. Маковицкий, все фиксировавший в своих записных книжках, которые носил всегда в кармане, за что был прозван «пишущими ушами», редко отмечал те дни, когда в Ясной Поляне не было гостей. Здесь встречали не «по одежке», и слова «барин», «высокий чиновник», «титулованная особа» не служили пропуском. Тут существовали иные критерии, разработанные самим Толстым, ценившим душевные, интеллектуальные качества гостей. Лучшей рекомендацией служили дружеская привязанность, общность интересов и увлечений. Быть принятой в Ясной Поляне чаще всего удаивалась уникальная личность. Конечно, случалось всякое. Слишком велик был поток жаждущих увидеть легендарного Толстого. Порой сюда проникали зеваки, приезжали и случайные визитеры, но их посещения чаще всего носили формальный характер и не могли длиться больше часа. В Ясной Поляне всегда было много разных посетителей. Близкие писателя подсчитали, что для удовлетворения всех просьб поклонников Толстого его семье необходимо было бы ежедневно платить до двух тысяч рублей.

Хозяин Ясной Поляны, притягивавший к себе громадное количество людей, никогда не позволял себе выказывать плохого настроения или произносить что-то оскорбительное. Лишь в крайних случаях Толстой мог разрешить себе прервать отношения с кем-то из посетителей.

Гости Ясной Поляны чаще всего собирались в зале за большим обеденным столом у пытящего баташевского самовара. Спустя время компания распадалась на две в зависимости от интересов, образуя вокруг ампириного

стола из красного дерева «уголок серьезных бесед», а в противоположной части зала — «уголок молодежи», откуда доносились игра на балалайке или мандолине и дружный смех. Здесь всегда ценили шутку и кураж. Т. А. Кузминская вспоминала, как «длинный стол был накрыт белоснежной скатертью, прекрасно сервирован, горели в канделябрах свечи, а гости, дети и Лев Николаевич ждали около своих стульев графиню». Затем «он внезапно предложил удивить Софью Андреевну и спрятаться под столом. Хозяйка входит — в столовой пусто. Она поражена. И вдруг все общество вылезает из-под стола со смехом. Не могла, конечно, не рассмеяться и графиня».

В девять часов вечера огромное семейство вместе со своими гостями вновь собиралось в зале, одновременно служившем приемной, гостиной и столовой. В это время на столе зажигались свечи. Было уютно и просто. Усаживались все в свободном порядке, кто где хотел. Угощение к чаю было самым что ни на есть простым: сухое покупное чайное печенье, мед и варенье. Самовар мурлыкал свою песню, и милая хозяйка разливала чай, а иногда предоставляла это право кому-нибудь из присутствующих. В такие моменты Лев Николаевич «таял».

Писатель не раз цитировал Гёте: «Лучше думаю, чем говорю, лучше говорю, чем пишу, лучше пишу для себя, чем для публики». О себе же как-то сказал, что говорит лучше, чем пишет. А пишет лучше, определеннее, полнее для публикаций, чем для себя. В его мастерстве искусно вести беседы во время чаепития убедились многочисленные посетители Ясной Поляны. Чай, как и анковский пирог, стал символом единения хозяев и гостей, молодых и не очень, консерваторов и либералов, профессионалов и дилетантов. Тем для разговоров было предостаточно, например, о браке магометан, для которых идеалом являлась моногамия; о переселении духоборов; о воинской повинности; о церковном христианстве; о земельном проекте Генри Джорджа; об эмансипации; о проблеме «отцов и детей»; о славянофилах; о Рокфеллере и Ротшильде и т. д. Самой же актуальной темой, конечно, была литература.

Толстой был убежден, что мудрость, до которой дошли Конфуций, Будда, Кант, Паскаль, вне времени и пространства. Когда кто-нибудь, например Стахович, напыщенно читал стихи, Лев Николаевич говорил ему, что от подобного чтения у него возникает единственное желание — «залезть под диван». Многих зарубежных писателей, таких как Золя, Толстой называл «писальной машиной». Мопассаном обычно наслаждался, называя его «громадным талантом». Доде не любил. Говорил, что «Крошка Доррит» и «Холодный дом» Диккенса еще не вполне оценены, но «какая это сила!». Прежде романы великого англичанина казались ему «тяжеловатыми, скучными», а теперь — нет. По мнению Толстого, у произведений его собрата по перу есть замечательная особенность: присутствие множества персонажей в тексте, ни об одном из которых не забываешь в процессе чтения. Толстому нравилось, что героями Диккенса являлись не лорды, а простые люди, по своей сути оказывающиеся искренними и настоящими. Считал, что «Оливер Твист» — прекрасное произведение, чем, собственно, и объясняется его успех у детской аудитории.

Плещеева он называл «талантливым и добродушным». О стихах Некрасова отзывался иначе: «Невозможно их читать!» Рассказывал о встрече с Куприным на пароходе при отплытии из Ялты. Толстой нашел его «мускулистым, приятным силачом», а его «Поединок» назвал «хорошим и веселым». Правда, ему не понравились те места из «Поединка», где автор «пускался в философию». Зато с «пылом» читал те страницы, где описывались обучение солдат и смотр полка. В этот момент Толстой словно сам становился молодым солдатом.

По признанию писателя, у него «делалась изжога» от стихотворений Скитальца: «Это что-то ужасное». Толстой критиковал современных литераторов, которых интересовало только то, что пишут в газетах — никто из них не читал Канта или Спинозу. Приводил в пример Диккенса, который всего лишь два года ходил в школу, после чего зарабатывал на жизнь тем, что клеил ярлыки на ваксу.

Толстой восхищался Паскалем, его *Pensées*, называя это «лучшей книгой», а его жизнь — «лучшим житием». Зачитывался Шиллером, которого ценил больше, чем Гёте. Иногда он просил кого-нибудь принести из библиотеки томик Шиллера, чтобы почитать вслух. В яснополянской библиотеке Толстого был уникальный экземпляр — издание *Gotta* 1840 года — весь Шиллер в одном томе. Эту книгу Льву Николаевичу подарил в Бухаресте румынский доктор, который лечил его и относился к нему с большой симпатией.

Толстой не устал напоминать своим гостям о том, что нужно читать лишь хорошие книги, которых, увы, много не бывает. Благодаря таким книгам, говорил он, даже «бугурусланские братья-купцы» могут заниматься самообразованием. Он считал, что в деревнях и небольших городках читают больше, чем в столицах. Толстой даже отмечал появление в провинции нового поколения читателей, активно занимавшихся самообразованием.

Однажды кто-то из близких писателя нес через зал шесть тяжелых томов Талмуда. Толстой заметил в этой связи: как много нужно прочесть книг для того, чтобы написать всего лишь пять строк. В это время он работал над повестью «За что?» и попросил Стасова подыскать ему книги о польском восстании 1831 года. Писателю очень нравились мысли из Талмуда: «Не осуждай ближнего своего, пока не будешь на его месте».

Огромное количество книг Толстому доставалось в подарок. Секретарь, жена, дочери регулярно занимались их классификацией, дабы привести все в порядок. Среди таких книг оказались творения Эпиктета, присланные писателю Н. Н. Страховым. Толстой говорил, что ему казалось, будто все это он «сам знал». Однако читал Эпиктета с огромным восхищением, потому что мыслитель излагал свои воззрения «просто и понятно, как если бы сейчас рядом с нами сидел». «Поучительно для меня», — заключил писатель.

А Жюль Верна и Александра Дюма Толстой называл «посредственными писателями», которые, тем не менее, влияли на читателей. Он вспомнил рассказ Тургенева о Ж. Верне, как тот однажды побывал в гостях у мадам Виардо. У Ивана Сергеевича сложилось впечат-

ление о французском писателе как о самом глупом человеке во всем французском государстве. Толстой говорил о своей симпатии к Руссо, о том, как пятнадцатилетним юношей носил медальон с его изображением, считая его «самым страшным» писателем. Сожалел о том, что теперь этого француза «не читают».

Лев Николаевич считал, что жизнь любого человека интересна, только надо ее правдиво рассказать. По его мнению, до женитьбы жизнь всякого человека грязна, а потому пишущий невольно останавливается на этом месте. И получается слишком односторонняя картина. Необходимо писать о том, что стыдно.

Толстой все время делился со своими гостями впечатлениями о прочитанном из Герцена, Диккенса, Канта. В книге последнего «*Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft*» («Религия в пределах только разума». — *H. H.*) отмечал удивительную глубину. В этом сочинении он особенно ценил признание немецким философом нравственности жизни, без чего все остальное является не больше чем суеверием. Тем не менее Кант представлялся Толстому ограниченным материалистом, возводящим тупоумие в достоинство. По его признанию, из сочинений немца он извлекал для себя меньше полезного, нежели из творений Диккенса или же Герцена. На вопросы присутствующих о Горьком он отвечал, что успех писателя неясен и несколько загадочен для него. По его мнению, Горький затрагивал важные вопросы в своих произведениях, но отвечал на них с точки зрения толпы.

Писатель не скрывал своего мнения о Евангелии и говорил, что хуже его трудно найти что-либо для чтения, особенно детям. С его точки зрения, эта книга была «дурно составлена». В этом отношении он был солидарен с Гёте. Толстой сожалел о том, что его любимец Рескин сложен для восприятия детей, а потому мечтал его переделать, изложить своими словами непонятные мысли прославленного англичанина. Книга «Мысли мудрых людей на каждый день», в которую вошли изречения Рескина, всегда лежала открытой на столе в уютной яснополянской гостиной, где писатель обычно раздевался, оставляя на кушетке

свою одежду и непременно читая этот изборник перед тем, как лечь спать.

Олсуфьев за чаепитием как-то заметил, что Пушкин подражал Мериме, на что Лев Николаевич возразил, что Пушкин, безусловно, неизмеримо выше француза, а у Мериме хорош только один рассказ — «Кармен». После этого он прочел для всех рассказ Герцена «Поврежденный» и очень восхищался им.

Иногда писатель заводил разговоры о Н. Ф. Федорове, библиотекаре Румянцевского музея. Лев Николаевич очень уважал его как знатока литературы, истории, философии. Он размышлял о его концепции воскрешения умерших и обретения бессмертия. У Федорова, полагал писатель, религиозное сознание смешалось с грубым материалистичным, поэтому он и недолюбливал Толстого за его метафизическое, духовное понимание жизни.

Нередко Толстой приносил в зал из кабинета том «Братьев Карамазовых» и читал из него отрывки с мастерством актера. Слушатели спрашивали Толстого о том, почему произошло так, что он не встретился с Достоевским. «Случайно», — отвечал Лев Николаевич.

Писательскую славу Толстой уподоблял крысиной норе, куда уходит вода. Кто прославился, тот напрочь забывает про свои недостатки. Так, Ницше (Толстой произносил фамилию философа как «Ничче». — *Н. Н.*), по мнению Толстого, допускал в своих сочинениях много небрежностей: «швырял мысль как попало». Подобная «небрежность», считал он, присуща и современным ему собратьям по перу. Вот Гоголь со словом обращался «честно».

Толстой любил перечитывать «Историю России» С. М. Соловьева. Высоко ценил Константина Леонтьева, который, по его убеждению, «стоял на голову выше всех русских философов». А вот Мильтона, которого так любят в Англии, писатель не смог дочитать до конца. То же произошло и с Данте, который не понравился Толстому из-за пристрастий к аллегориям. Хвалил книгу Завалишина, называя ее «удивительной». Не зная ее, считал он, невозможно что-либо написать о декабристах.

Толстой не раз признавался, что не любил стихотворной формы. Однако, слушая стихотворения в его



Лев Николаевич Толстой возвращается с купания на реке Воронке.
Фотография В. Г. Чертова. Ясная Поляна, 1905 г.



Зал в яснополянском
доме, служивший
и столовой, и гостиной.





Софья Андреевна
с дочерьми
и знакомыми
около купальни
на реке Воронке.
Ясная Поляна,
1896 г.



Л. Н. Толстой.
Фотография
П. В. Преображенского.
Ясная Поляна, 1898 г.



Л. Н. Толстой. *Фотография С. А. Толстой. Ясная Поляна, 1900 г.*



Николай Николаевич Ге.

Владимир Григорьевич Чертков.



Павел Иванович Бирюков.





Мария Львовна Толстая. Фотография П. И. Бирюкова. Ясная Поляна, 1895 г.



Лев Николаевич и Софья Андреевна в кабинете яснополянского дома.
1902 г.



Сыновья Л. Н. Толстого. Слева направо: Лев Львович, Илья Львович, Сергей Львович, Андрей Львович и Михаил Львович.
Фотография С. А. Толстой. Ясная Поляна, 1904 г.

Л. Н. Толстой и польская пианистка Ванда Ландовская.
Фотография С. А. Толстой. Ясная Поляна, 1907 г.





Л. Н. Толстой с родными на прогулке в яблоневом саду.
Ясная Поляна, 1903 г.

С. И. Танеев и А. Б. Гольденвейзер.
Фотография С. А. Толстой. Ясная Поляна, 1906 г.





Л. Н. Толстой. Фотография В. Г. Черткова. Ясная Поляна, 1908 или 1909 г.



Л. Н. Толстой под «деревом бедных».
 Фотография П. Е. Кулакова. Ясная Поляна, 1908 г.

Л. Н. Толстой и Д. П. Маковицкий отправляются на прогулку
 по окрестностям Ясной Поляны. Фотография А. И. Савельева. Январь 1910 г.





Ружья и пистолеты из яснополянского дома.

Л. Н. Толстой в окрестностях Ясной Поляны.
Фотография К. К. Буллы. 1908 г.





Л. Н. Толстой играет в шахматы с М. С. Сухотиным.
 Фотография К. К. Буллы. Ясная Поляна, 1908 г.

Л. Н. Толстой играет в городки с сыном В. Г. Черткова Владимиром.
 Фотография Т. Тапселя. Май 1909 г.





Троицын день в Ясной Поляне. Фотография Т. Танселя. Май 1909 г.

Лев Николаевич и Софья Андреевна среди крестьян (тот же день).





Л. Н. Толстой на открытии в деревне Ясная Поляна
народной библиотеки Московского общества грамотности.
Фотография В. Г. Черткова. 31 января 1910 г.



Похоронная процессия шествует от станции Засека в Ясную Поляну.
Фотография А. И. Савельева. 9 ноября 1910 г.

Софья Андреевна у могилы Льва Николаевича Толстого. 1912 г.



исполнении, близким было сложно в это поверить. Кажется, никто так тонко не чувствовал поэзию, как он, ее критик. Не случайно писатель являлся автором 36 стихотворений, одно время увлекался ритмической прозой. Все Толстые говорили литературно, выразительно, художественно, особенно сам писатель. Близкие отмечали, что читал он так, что можно было заслушаться и не заметить, как пролетело время. «После чая, — вспоминала А. А. Толстая, — Лев читал нам вслух норвежские повести в русском переводе, которыми он восхищался, читал прекрасно, хотя слегка конфузился, когда попадались опасные, то есть не совсем приличные места». Но особенно проникновенно читал он стихи — Пушкина, Тютчева или Фета. Он умел на сверхчувственном уровне соприкоснуться с тайной поэта, с его энергией, породившей музыку стиха. Толстой признавал всего пять поэтов — Пушкина, Лермонтова, Баратынского (за его «Смерть»), Тютчева и Фета. Других он поэтами не считал.

У Пушкина, по его мнению, слабы крупные вещи, а «Евгений Онегин» и небольшие стихотворения — «хороши». Всем советовал читать «Повести Белкина», «Пиковую даму», которую считал образцовым произведением. Не переставал восхищаться языком Пушкина, его остроумием и здравым смыслом. Лермонтовского «Демона» называл «слабой вещью». Потом, считал Толстой, произошло «падение» поэзии, которое олицетворяли собой Фет, Майков, Полонский, Апухтин и декаденты.

Писатель придавал особое значение «психологии творчества». Для него было важным, в какое время дня или ночи создавалось то или иное произведение. Сам Толстой предпочитал творить по утрам. Ночью он написал лишь план пьесы «Власть тьмы». Он легко определял, какие книги написаны днем, а какие — ночью. Диккенс и Руссо, по его мнению, писали днем, а Достоевский и Байрон — ночью. В романах Достоевского, утверждал писатель, уже в первых главах все сказано, вся суть, а дальше идет только сплошное «размазывание и повторение». «Психология творчества» Шиллера, по убеждению Толстого, заключалась в смаковании шампанского и в том, что он держал ноги в холодной воде.

В его произведениях это очень чувствуется. Размышляя о поэтах, Толстой вспомнил о Бальмонте, который читал ему свои стихотворения. «Глупости, глупости» — таков был «вердикт» Льва Николаевича. Писатель считал, что этот поэт «глуп».

Надо отметить, что в своих вкусах Толстой был довольно противоречив. Не случайно именно в дуальности Ницше он усмотрел искренность философа. Пожалуй, только один писатель удостоился восхищения Льва Николаевича — Иоанн Богослов: «У него такие мысли, которые я только сейчас понял».

Что касается поэтов, то о своем знакомом Фете, например, Толстой говорил следующее: «Умен был. Своим умом думал. От этого он и был поэт. Знаете, что означает “поэт”? По-гречески ποιῆω, работать». «...Читать Фета — это слаще всякого вина... Стал читать Фета, одно стихотворение за другим, и все не мог остановиться, выбирал свои любимые, и испытывал такое блаженство, что, казалось, сердце не выдержит — и не мог представить себе, что есть где-то люди, для которых это мертво и件 unnecessary. Оказывается, мы только в юбилейных статьях говорим, что поэзия Фета это “одно из высших достижений русской лирики”, а что эта лирика — есть счастье, которое может доверху наполнить всего человека, этого почти никто не знает».

Стихи Тютчева Толстой читал словно «молитву». Любил его «Весну». Зимой забывал это стихотворение, а весной цитировал от строчки до строчки. И неизменно возвращался к Пушкину, восхищался им. «Никакого усилия в его стихах не чувствуется. Только он так мог сочинять. Прочел за последнее время всего Пушкина. Все лучшее — это Пушкин!» «Хорошо пишут стихи французы и русские». И все же, считал Толстой, поэты связаны рифмой, не свободны в самовыражении. Исключение, по его мнению, составлял лишь Пушкин, который и мыслил стихами.

Толстой много читал и был прекрасным рассказчиком: легко запоминая тексты, часто цитировал их своим гостям. О его энциклопедических познаниях можно говорить бесконечно. Кажется, он не пропускал ничего интересного, но выбирал из памяти самое впечатляю-

щее. Изучал языки, собирал материалы для своих сочинений, читал Евангелие, критику священных писаний. Из беллетристики любил Диккенса, Теккерея, Тrolлопа, Флобера, Гюго, Мопассана, Доде и Гонкуров, а вот талант Золя называл «преднамеренным», а его описания считал слишком мелочными и подробными. Блестяще знал русскую литературу, ценил Тургенева, Достоевского. Не любил Мельникова-Печерского из-за его «фальшивого тона». Толстой говорил, что детям следует читать то же, что и взрослым — «Робинзона Крузо», «Дон Кихота», «Путешествия Гулливера», «Оливера Твиста», «Дэвида Копперфильда». Незаурядная эрудиция писателя ощущалась в каждом произнесенном им слове, и его гости этим «угощением» только наслаждались.

А каким был Лев Николаевич в реальном соприкосновении с коллегами по перу? На «ты» он был лишь с одним Островским, который восхищал его своим истинно русским стилем жизни. Леонтьева считал «умным и чутким к художеству», а Каткова «бестолковым»: этот бывший друг Герцена сделался «черносотенцем». Некрасов производил на Толстого впечатление очень сильного, жестокого и холодного человека. Лев Николаевич считал его нравственно высоким, цельным, но не симпатичным. Дружинина находил «милым». Тургенева — добрым, но не самобытным. «Эх, какой глупый я был, что хотел стреляться с ним!» — признавался Толстой. С Достоевским лично не был знаком. В Герцене его поразила живость лица. Его роман он нашел очень трогательным: жена покинула мужа, ушла с поэтом, а когда поэт бросил ее, снова вернулась к мужу — «Это чудесная черта!».

Высоко ценил Боборыкина. Познакомился с ним, когда того выбирали в члены Академии. Лев Николаевич тогда сказал: «Если бы у меня было 10 шаров, все отдал бы за него. Он умел писать!» Короленко, которого Толстой принимал у себя, показался ему «несимпатичным». Некрасов, Чернышевский, Михайловский, откровенничал писатель, всегда были ему неприятны. Ему претил не их либерализм, а некая «серединность, журнальная либеральность». В. Г. Чертков как-то спросил писателя: знал ли тот Щедрина, бывал ли он в Ясной По-

ляне? Ведь, как известно, Салтыков служил в Туле. «Нет, что-то он меня не любил», — ответил Толстой и вспомнил, что в Петербурге нередко с ним встречался в редакции «Современника». Софья Андреевна Толстая утверждала, что Салтыков-Щедрин все же однажды приезжал в Ясную Поляну.

Хомякова Лев Николаевич знал лично и с удовольствием вспомнил его самобытность, его «лицо монгола». Аксаковых считал софистами. И Киреевский был таким же, выступал за самодержавие, православие и народность. Тем не менее именно за эту «народность» писатель их и любил.

О Леониде Андрееве отзывался достаточно язвительно: «Пишет непонятно, например: “душу переломил о колено, как палку”». Лесков произвел на Толстого впечатление очень сильного человека, а Огарев не понравился из-за некой «расслабленности» и из-за того, что пил.

Беседуя со своими гостями, Толстой не мог пройти мимо так называемой «пятой стихии» — денег, заставлявших «писать много». «Валяй, пиши» — этим девизом грешили многие писатели, в том числе и он сам. Лев Николаевич считал, что Диккенсу надо было остановиться после «Копперфильда»: «написал — и довольно». Тургенев, по его мнению, оказался несамостоятельным, «подражал вкусам общества и дорожил слишком славой». Слава — большой соблазн. Надо думать, говорил он, не о *gloire* (слава. — Н.Н.), а о добром имени своем. Это важно. Он советовал читать Канта, который, по его убеждению, переживет всех, несмотря на свой тяжелый слог. Когда Толстому не писалось, он читал вслух Иммануила Канта, а когда, как он выражался, «полуотдыхал», то — Герцена. Настоящим же отдыхом было чтение Диккенса, которого прочел всего и теперь «сосет словно карамельку».

Лев Николаевич никогда не любил слушать лекций. Он всегда обучался по книгам, с помощью них изучал иностранные языки. Интерес к языкам проявился у него еще в пятилетнем возрасте, когда он изучил грамматику французского языка. Очень хорошо знал немецкий, английский, итальянский, голландский языки.

Говорил когда-то по-татарски и по-арабски, но к старости забыл эти языки. Считал, что современный арабский — совсем иной язык, как итальянский по отношению к латинскому. Рассказывал, как учился в Казанском университете на восточном факультете, проучился всего год и не был переведен на второй курс из-за того, что не выдержал экзамена. Признался, что поступил на этот факультет потому, что желал стать дипломатом.

Когда жил на Кавказе, немного стал говорить на кумыкском. Любил читать серьезное на «хохлацком» языке. А русский язык, с его точки зрения, хорош для самовыражения. Но критиковал его за длинные слова, как то: самосовершенствование, самоотречение и т. д. Самым красивым языком считал французский, на котором часто думал. Правда, случалось, что, когда говорил по-французски, делал грубые ошибки: только подумает, как он славно говорит, и слова вдруг пропадают. Польский язык считал «неблагородным и некрасивым», но дух поляков охарактеризовал как изящный. Немного занимался чешским языком. Предрекал появление *global* языка, что будет способствовать лучшему взаимопониманию между народами. Через пять веков, говорил Толстой, останется лишь один язык. Поэтому всячески пропагандировал эсперанто. «Как трудно переводить с китайского!» — не раз восклицал он, переводя Мина. Толстой мог, не переставая, говорить о Конфуции, о законах Ману, Чунг Минга.

С точки зрения Толстого, ребенка следует приучать к изучению языков, когда он сам пожелает. Ему не нравилось, что его внучка Танечка с пятилетнего возраста говорила на разных языках. Надо обучать ребенка двум языкам, не более. Писатель возмущался тем, что в «Ве-хах», которые имеются во всех петербургских домах, слишком много иностранных слов и выражений.

Толстой придавал особое значение переводам. Сожалел о том, что переводы его сочинений в исполнении Бинштока оказались «отвратительными» и не передают смысла (во Франции вышло собрание сочинений Л. Н. Толстого в 40 томах в парижском издательстве «Stock». Эти тома стоят на полке в спальне писателя), а ведь весь романский и магометанский мир читает на

французском языке; к тому же с этого издания переводят на итальянский, испанский, португальский, мадьярский, турецкий языки.

Лев Николаевич во всем ценил качество. Узнав, что в Ясную Поляну придут гости из США от Эдисона, он стал упражняться в английском языке. Сам себя перевел на французский язык. Наговорил в фонограф по-русски и по-французски. Снова практиковался в английском, но остался недоволен из-за того, что сбивался и запинаясь. Но всем советовал изучать английский, потому что на нем написана «пропасть прекрасных сочинений», более, чем на каком-либо другом.

У Толстого была собственная методика изучения чужого языка. Он брал хорошо знакомый текст, например Евангелие в переводе. Потом читал его в оригинале, сравнивая с переводом. За один—три месяца, полагал Толстой-полиглот, можно выучить, например, английский язык, если знаешь немецкий или французский. Он был убежден, что только ленивый не может выучиться по-гречески. Обучение следует начинать с тех греческих слов, которые употребляются в русском языке. Писатель изучил этот язык и прочитал произведения Геродота всего за три месяца. После этого он навестил профессора Катковского лица П. М. Леонтьева, чтобы рассказать о своих впечатлениях от древнегреческого. Профессор долго не мог поверить в возможность столь быстрого освоения древнего языка и предложил почитать вместе с ним *a livre ouvert* («открытая книга». — Н. Н.). В трех случаях вышли разночтения в переводе, но в конце концов профессор был вынужден признать мнение Льва Николаевича верным. С утра до ночи писатель учился греческому. Ничего не писал, а только учился. Сожалел, что Гомер «изгажен» переводами Фоссы и Жуковского, которые «пели каким-то медово-паточным, горловым и подлизывающим голосом». Греческие лексиконы, хранящиеся в Ясной Поляне, переложены ароматными степными засушенными цветами, собранными писателем в пору штудирования им древнегреческого языка. Он говорил, что благодарен Богу за то, что тот «наслал» на него такую «дурь», как изучение языка Гомера. Ведь без знания этого языка,

полагал он, невозможно считать себя образованным человеком.

Спустя 13 лет, всего лишь за зиму, Толстой выучит древнееврейский язык и благодаря этому поймет Писания. В итоге подорвет себе здоровье, как, впрочем, и во время изучения древнегреческого.

Любое общение, безусловно, предполагает обратную связь. Стоит ли объяснять, что гости толстовской усадьбы также обогащали и ее хозяина. Так, Лев Николаевич наслаждался общением с умной, оригинальной художницей — старушкой Екатериной Федоровной Юнге, дочерью известного художника Федора Толстого, являвшейся одновременно и родственницей писателя. После игры в винт он с удовольствием беседовал с ней и узнавал много интересного о своих родных. Однажды Екатерина Федоровна рассказала, как ее мать из ревности сожгла все рукописи отца, которые хранились в огромном ящике высотой с большой стол. В нем была переписка ее мужа с декабристами, в которой он с большой любовью и благодарностью отзывался о своей первой жене. Мать Е. Ф. Юнге этого не могла простить. Толстой считал, что это характерно для всех женщин. «Свойственно вашей сестре», — сказал он Юнге. «И вы, мужчины, хороши!» — парировала Екатерина Федоровна. «В ином, только не в этом», — ответил он.

В ноябре 1905 года в гости ко Льву Николаевичу приехали его любимец, актер Художественного театра Л. А. Сулержицкий и режиссер В. Э. Мейерхольд. Разговор зашел о выпуске журнала (двухнедельника), в котором должен был сотрудничать, в частности, и Мейерхольд в отделе театральной критики, а также Бальмонт, Минский. Гости Толстого считали, что журнальную политику будет определять декадентство. Сулержицкий, как всегда, шутил, талантливо изображая общих знакомых в лицах. Писатель смеялся над проделками «Сулера» (так он называл своего молодого друга. — *Н. Н.*). С Мейерхольдом Толстой в основном общался в своем кабинете, где подробно ознакомился с концепцией будущего журнала. Остался ею недоволен, сочтя, что она слишком полемичная. Мейерхольд рассказывал о московской жизни, говорил, что большинство театров не работает из-за

того, что нет зрителей и ночью ходить небезопасно. По словам Мейерхольда, «Дети солнца» Горького пользовались популярностью из-за того, что в этой пьесе есть сценический эффект — избивание интеллигентов. В этой связи среди театралов ходили слухи, что во время спектакля могут ворваться черносотенцы. Однажды, когда началась сцена избияния, в зрительном зале произошла паника. Публика решила, что на сцену прорвалась черная сотня. Если бы к зрителям не вышел сам Нemiрович, они бы стали стрелять из браунингов. Теперь Художественный театр собирался ставить «Жизнь человека» Леонида Андреева. Мейерхольд, пользуясь случаем, попросил Льва Николаевича написать для театра пьесу. «В старости появляется чувство времени. В молодости каждый из нас расшвыривает его по сторонам. Теперь совсем другое: я не успеваю делать свою работу», — ответил Толстой. Потом они много говорили о «плохих» пьесах Чехова, в которых отсутствует содержание, а присутствует лишь сплошная «техника». Метерлинк, Ибсен, Бьернсон занимаются бесцельной игрой на чувствах, считал Толстой. По его мнению, даже Шекспир выше современных драматургов.

В заключение вечера Сулержицкий решил сплясать. «Как он плясал! Как хорошо пел! Замечательный артист, — вспоминал писатель. — Как он шутил! Только он один мог представить, как поет фонограф». Все присутствовавшие хохотали до слез. Потом «Сулер» стал петь русские и цыганские песни.

Впоследствии Мейерхольд рассказывал о своей беседе с Толстым. «Лев Николаевич задал мне вопрос: “Много ли вы читаете?” Я обалдел — вот вопрос, по-видимому, нужно сказать “много”. Так он же меня поймает. Нет, думаю, уж лучше брякну истину и говорю: “Мало”. А он говорит: “Вот и правильно. Самое ужасное, когда человек много читает и при этом теряет себя. Он становится вроде кладезя чужих знаний, а своего ума нет”».

Не раз приезжал в Ясную Поляну Николай Николаевич Страхов. «Странный человек Страхов!» — говорил Толстой. Есть такие деревья, которые не имеют середины: она вся выедена. Так же и Страхов — в нем вся «середина» «выедена» наукой и философией. Несмотря на

это, Лев Николаевич неоднократно прибегал к услугам замечательного философа, порой спрашивая его и о своих недостатках. Николай Николаевич Страхов ответил: «Вы у меня спрашиваете о ваших недостатках, в самом деле, я их вижу, но вместе вижу, что ведь это и ваши достоинства, так что я теряю всякую охоту вас упрекать. Когда, бывало, вы при мне спорите и сыплете парадоксы и крайности (как это было целый день с Петром Федоровичем Самариным), мне бывало ужасно досадно за вас... Ваш главный недостаток в том, что вы живете чувством настоящего дня, все, все вы готовы отвергнуть, кроме этого чувства, и вы забываете то, чем прежде жили с таким же увлечением... Кто не с нами, тот против нас — это правда. Но еще не значит: мы против всякого, кто не с нами. Я больше всего осуждаю вас: за забвение, за то, что вы забываете прежнюю жизнь своей души». Вот такой взаимообмен мыслями происходил между двумя замечательными людьми.

И. С. Тургенев приезжал в яснополянскую усадьбу четыре раза: в августе и сентябре 1878 года, 2 мая 1880 года и в конце августа 1888 года. Домочадцам Толстого он представлялся великаном. Несмотря на свои 60 лет, он был бодр и подвижен. Около яснополянского дома стояли самодельные качели — длинная доска на перекидаине. Подобные качели англичане называют «сиссо». Однажды Толстой и Тургенев, встав на концы доски, начали качаться и подпрыгивать, чем уморили всех от смеха. Так беззаботно Тургенев проводил свои дни в Ясной Поляне. Он рассказывал Толстому о купленной им вилле Бужеваль под Парижем, про ее удобства, про прелестную оранжерею, которая обошлась ему в 10 тысяч франков. «Отчего вы не курите? — спросил Тургенева Толстой. — Вы ведь прежде курили». «Да, — ответил Иван Сергеевич, — но в Париже есть две хорошенькие барышни, которые мне объявили, что если от меня будет пахнуть табаком, то они не позволят их целовать, и я бросил курить». Сам же Лев Николаевич в это время продолжал курить, но сократил количество папирос до 12 в день. Но когда горячился, всегда выкуривал по лишней папироске, чтобы, как он выражался, «отдохнуть».

Между Толстым и Тургеневым часто возникали споры, из-за чего они часто опаздывали к обеду. Хозяйка беспокоилась, что заказанные Иваном Сергеевичем к обеду манный суп с укропом, пироги из риса и курицы, каша гречневая остынут, и отправлялась искать спорщиков в лес Чепыж. К спорщикам обычно присоединялся князь С. С. Урусов, друг Толстого, славившийся своей эрудицией. Однажды Урусов что-то энергично доказывал Ивану Сергеевичу, сидя за чайным столом в зале яснополянского дома. Он вошел в такой раж, что соскользнул со стула, на котором раскачивался, и продолжал, уже сидя под столом, вести дискуссию под общий дружный смех. Тургенев при этом заметно нервничал, называя князя вместо Урусова Трубецким, и под конец был вынужден сдаться: «Ах, этот Трубецкой меня совсем измучил, свел с ума своими доводами».

В последние годы Тургенев ничего не писал, объясняя это просто: «Не могу». Софья Андреевна допытывалась у него: что нужно для того, чтобы он стал снова писать?

— Нас тут никто не слышит? — шутя и шепотом спросил у нее писатель. Получив утвердительный ответ, продолжил: — Чтобы писать, нужна тряска, любовная лихорадка. Чтобы писать, необходимо влюбиться, а я теперь стар для этого.

— Ну, влюбитесь хоть в меня, — пошутила Софья Андреевна. — Начните писать!

— Не могу. Все кончено, — с грустью ответил Тургенев.

Приезжал к Толстому и знаменитый критик В. В. Стасов, который произвел огромное впечатление на всех яснополянцев, заскучавших от однообразной деревенской жизни. В то время ему было 56 лет, а он все еще оставался пылким, громким, пафосным, больше напоминавшим юношу, нежели пожилого человека. Он много говорил с Львом Николаевичем об искусстве, о его рукописях, о их передаче в Публичную библиотеку. Но к радости Софьи Андреевны, торопясь в Петербург, он позабыл рукописи на рояле в яснополянском зале.

В Ясной Поляне не раз вспоминали Ивана Николаевича Крамского, который приезжал в усадьбу вместе с

Коровиным по заданию Третьякова с целью написать портрет Льва Николаевича. Толстой упорно отказывался позировать. Наконец согласился, поставив условия, что художник напишет два портрета и право выбора будет за Львом Николаевичем. Софье Андреевне приятно было созерцать двух творцов — одного за написанием романа, другого — за созданием портрета: «Лица серьезные, сосредоточенные, оба художника настоящие, большой величины». Портреты были закончены быстро в «две-три недели». Крамской начал писать сначала глаза Толстого. С натуры успел написать голову и руки. Торс был выписан по памяти: Лев Николаевич уехал охотиться, а потому позировать наотрез отказался. Крамскому пришлось набивать серую толстовскую блузу каким-то бельем и сажать безголовое чучело в качестве модели на стул. «Милый, простой и умный» Крамской тем не менее не поддавался на уговоры Льва Николаевича перейти из «петербургской» в крещеную веру. Они говорили о Ренессансе, о Рафаэле, об искусстве в целом. Кстати, Крамской послужил прообразом художника Михайлова в романе «Анна Каренина».

Однажды в Ясную Поляну пришел таинственный старец. «Явился к нам старик 70-ти лет, швед, живший 30 лет в Америке, побывавший в Китае, в Индии, в Японии. Длинные волосы желто-серые, такая же борода, маленький ростом, огромная шляпа; оборванный, немного на меня похож; проповедник жизни по закону природы. Прекрасно говорит по-английски и очень умен, оригинален и интересен. Хочет жить где-нибудь (он был в Ясной Поляне) и научить людей, как можно прокормить десять человек одному с 400 сажень земли без рабочего скота, одной лопатой... Копают сам под картофель и проповедует... Он вегетарианец без молока и яиц, предпочитает все сырое. Ходит босой, спит на полу, подкладывая под голову бутылку... Самовар называет идолом. Про него говорят, что он антихрист, он обещает прокормить 20 человек, но с уговором, чтобы ему душу продать», — записал Лев Николаевич в 1892 году. Идеалом этого шведа было здоровье. Нравственных идеалов у него не было. Софья Андреевна «чувство-

вала в нем что-то грубое, животное». Когда-то он был богат, потом заскучал, болел. И понял, что главное в жизни — простота. Мог весь день пролежать на земле, словно корова, и съесть много травы. «Покопается немного лопатой, придет в кухню и там лежит, — рассказывала Софья Андреевна. — Видела с ним много горя. Он поселился у нас, как он говорил, навсегда... Рябой, страшный, воображал себя красавцем и просил Таню (дочь. — Н. Н.) написать его портрет...» Лев Николаевич подсмеивался над странным гостем и ничего не предпринимал. Софья Андреевна, напротив, приняла самые энергичные меры по его выдворению из Ясной Поляны. Она заявила, что, если он не уйдет добровольно, она попросит губернатора выслать его с помощью полиции. Испугавшись, швед покинул усадьбу. Писатель же сделал себе следующую пометку: «Явился швед, Бунде Авраам. *Моя тень... Минус чуткость*» (выделено мной. — Н. Н.). По всей видимости, Толстой считал его своим двойником.

У толстовской славы была обратная сторона — это осаждающие визитеры, просители, поклонники и поклонницы. Хорошо известен круг постоянных гостей, друзей, родственников Толстого, игравших важную роль в жизни писателя. Но его окружение складывалось не только из этих людей, его собратьев по перу, знаменитых персон, но и из незнакомых, желавших увидеться с Толстым. И если пушкинское окружение составляет около 2500 современников, то толстовское во много раз больше. Поклонникам и почитателям писателя несть числа. Многие были просто одержимы горячим желанием прикоснуться к культовой фигуре, насладиться созерцанием человека-Бога. Софья Андреевна, невольно став «заложницей» популярности мужа, строго регламентировала приемы непрошенных визитеров. Она старалась оградить его от натиска праздной любопытствующей толпы, от стихийного потока, прорывающего подчас все «плотины».

Случалось, что за 30 минут их дом успевали навесить восемь человек! Дневники, мемуарная литература, записки близких людей донесли до нас дух мимолетных встреч и случайных диалогов.

Кто же эти бесчисленные ходоки, «кравшие» драгоценное писательское время? «Преданный» Толстому железнодорожник Осинский, приехавший из Владивостока; «знаток писаний Льва Николаевича» Жиром Реймонд, профессор из Чикаго; безмянный студент-швейцарец, которому писатель был благодарен за книги Руссо и Амиеля; «добрый» Суворин, в прошлом учитель яснополянской школы; академик В. В. Суслов, реставрировавший памятники отечества; А. А. Пастухов, учитель рисования; «понравившаяся» баронесса Тизенгаузен; скрипачка А. В. Унковская; граф Томас, управляющий американской конторой «National Phonograph», оставшийся «очень довольным приемом»; конторщик Торба, для которого Софья Андреевна специально приготовила «мясные котлеты»; «мягкий, тихий старичок-священник» Троицкий, приехавший по заданию высшей церкви; земский начальник И. В. Тулубьев, «хороший малый, бывший лейб-гусар»; Ариадна Тыркова, либеральная писательница; вице-губернаторша Фере, отец которой каждый день читал вслух «Круг чтения»; неграмотная киевлянка, мечтавшая рассказать о своих снах; «скромная московская купчиха» Н. П. Рудакова; А. Е. Звезгинцева с браунингом, оставленным на подзеркальнике в передней, под который Толстой подложил свою статью «Не убий»; Арнольд Зисерман, военный писатель, присылавший материалы для «Хаджи-Мурата». «Посетители не прекращаются», — констатировал Д. П. Маковицкий. Сам же «виновник» такого повышенного интереса к себе держался стоически, не проявляя недовольства. В повседневной жизни для писателя не существовало «демаркационных линий» и границ. Уникальная ментальность предрасполагала к общению под яснополянским вязом, обволакивая всех «паутиной» любви.

Каждый день приносил Толстому неожиданные встречи, новые истории и просьбы. Просителей было много. Старообрядцы, распространявшие по всей России запрещенные сочинения своего кумира, молодой слесарь из Волочиска, изменивший свои взгляды под воздействием трактата «В чем моя вера?», донские псаломщики, сочувствовавшие Льву Николаевичу, семина-

ристы, погорельцы, прохожие, депутаты Государственной думы, петербургские телеграфисты и типографщики, трезвенники, горячо спорившие с сыновьями писателя и не пившие за столом даже кваса, считая, что «в нем тоже есть алкоголь», крестьяне, прошедшие пешком за 30 верст и общавшиеся с Толстым больше часа, социалисты-революционеры, урядники, калужские учителя. Каждый из них мечтал увидеть писателя, Ясную Поляну. «Уехала Таня — приехала госпожа Молоствовова. Она уехала — приехал Американец», — делал «статистические» пометки Лев Николаевич, адресуясь к жене. Иногда он вносил уточнения: «У нас всё хорошо, только посетителей много».

Наряду с неизбежной эмоциональной нагрузкой «многолюдные, шумные беседы» приносили и «премного интересного», любопытного, свежего. И. Г. Максимович, «прямой, хорошо говорящий по-русски» и переводивший произведения Толстого на сербский, был принят «очень радушно». Впрочем, как и журналист О. Малхисян, сообщивший об армянских погромах в Турции. Желанными гостями оказались и доктор А. В. Мартынов, осмотревший Л. Толстого и не взявший за это гонорара, уездный предводитель Мегден, предупредивший писателя о слежке за ним, скрипач А. Я. Могилевский, музицировавший в яснополянском зале, «приятный» И. Ф. Наживин, управляющий Тульским оружейным заводом А. В. Кун, с которым было «приятно беседовать», фельдшерица Е. П. Кутелева, полезная писателю в вопросах помощи голодающим, А. Колесниченко, бросивший под влиянием чтения книг писателя Военно-медицинскую академию, ломинцевские мужики, вдохновившие Толстого на написание «Что же делать?», старообрядец Максимович, он же — «табачная держава», ставший прототипом героя «Божеского и человеческого». После подобных встреч Лев Николаевич не раз говорил, как ему «интересно видеть людей».

Но бывали случаи, когда Толстой настоятельно просил своих близких «оберегать» его от посетителей. В такие моменты писатель морально и физически ощущал ужасную «усталость и головную боль», но должен был при этом «сосредоточенно работать». Камердинер

Сидорков поражался количеству посетителей, особенно после смуты 1905 года. «До этого, — отмечал он, — ходили два-три дня в неделю две старушки да две вдовы. Теперь же ходят *ежедневно* от трех до 35-ти человек». Скрупулезному Маковицкому удалось описать лишь толпу людского потока, стремившегося в Ясную Поляну. Из его поля зрения «выпали» встречи и беседы, проходившие за утренним чаем, поскольку сам он в это время занимался врачебной практикой.

Писатель старался поговорить с каждым, невзирая на чины и титулы. Поэтому в его «паутине любви» оказались: «слащавый» Измайлов, представитель бабистского движения Аз Изулла, в учении которого писатель не нашел «ничего чудесного, догматического, одно нравственное учение», «бедный, умалишенный» инок, тульские интеллигенты в количестве семи человек, три теософки, тамбовский каптенармус, прочитавший «Царство Божие» и покинувший после этого службу, неврастеничный, застенчивый Картушев, беседовавший с писателем наедине в его кабинете, молодой башкирский музыкант, проживавший в Нью-Йорке, оказавшийся «очень приятным и умным», управляющий Классен из Гаспры, «предобрый немец-старичок», получивший от Толстого в подарок «самую лучшую книгу» — «Круг чтения», музыкант Клечковский, игравший на рояле и способствовавший утверждению в писателе мысли, что музыка всегда вне «умственного и идейного», пожилой директор петербургской Публичной библиотеки Д. Кобейко, желавший приобрести письма декабристов, хранившиеся, по его мнению, у одной из монахинь Шамардинского монастыря, купец Копылов, договорившийся с Толстым о покупке леса, крестьянин из Лаптикова, пришедший говорить о вере, путешественница Корсини, объехавшая полмира, крестьянский писатель из далекой Калмыкии, написавший под влиянием Толстого пьесу, поставленную в Омске, Л. Ландовский, с которым Толстой беседовал о Тургеневе и Руссо, купец из Царицына, пришедший в Ясную Поляну православным, а ушедший христианином, революционерка В. Д. Лебедева, петербургские студенты, «не сомневавшиеся в том, хорошо или дурно быть студентами»,

«тихий, спокойный, серьезный» переписчик Б. Н. Леонтьев, некая Лида, представлявшая из себя лишь «зачатое $\frac{1}{8}$ доброго человека», Лодиан, выдававший себя за американского инженера, а на самом деле, по словам Н. Л. Оболенского, являвшийся японским шпионом, пробиравшимся на Тульский оружейный завод, брат Григорий, убежденный в том, что он и Лев Николаевич — «одна копна», одинокий босяк из Батума, «умный, даровитый», прокармливающий себя пением, пьяная баба-попрошайка, укравшая у Александры Львовны кофту, пара новобрачных, мечтавшая о разводе, приятный американский профессор социологии, поведавший Толстому о судьбе негров в Америке, тульские мальчишки, с которыми писатель гулял по окрестностям Ясной Поляны, предварительно накормив их, «удивительные люди» — братья-добролюбовцы, с которыми Толстой был на «ты», двадцать школьников, которым он поведал историю про мальчика-вора, речистый, всё осуждавший прохожий, которому писатель посоветовал меньше осуждать, высокомерная барыня, приехавшая непонятно зачем, развязный инженер, старообрядцы-сибиряки, отказавшиеся от военной службы, молодой квакер, «внятно говоривший по-русски», священник, внушавший Толстому мысль о том, что существующий мир — иллюзия, писательница Авилова, «писавшая, по мнению Толстого, — лучше Андреева», но «легкомысленная» и «вся в бриллиантах», англичанин, озабоченный переездом духоборцев на Гавайские острова, барыня, оскорбившая Толстого за то, что он не прочел ее повесть, поэт Баскин-Серединский, жаждавший похвал, «богатый, образованный, малоумный» башкирский султан, богобоязненный старик, студент, «открывавший Америку, давно уже открытую», портной, желавший безвозмездно поработать в Ясной Поляне, татарин Ваисов, «закостеневший в магометанских догматах».

Бурный людской поток вызывал внутренний протест, порой робкий — «полон дом народа», «мало работал», а порой решительный — «уехать бы куда-нибудь от посетителей!». Но «пропасть любопытствующих», разгуливавших по парку, всё нарастала. На выручку му-

жу вновь приходила Софья Андреевна, заводившая беседы с кем-то из пришедших. Она волновалась за Льва Николаевича, видя его уставшим от многочисленных гостей, и бескомпромиссно комментировала: «они крадут у него здоровье» или от них «надо браунингами его защищать». Но посетители мало задумывались обо всем этом. Трудно подсчитать общее суммарное количество часов, потраченных гением на общение с ними. Не проходило и дня без гостей и прохожих, требовавших к себе внимания. Поражает и восхищает, с каким достоинством нес свою тяжкую ношу Толстой, убежденный в том, что «закон жить в любви со всеми тем и хорош, что его всегда надо исполнять».

Писатель нередко корил себя за то, что порой ему приходилось отказывать просьбам истинно нуждавшихся. Но ведь и «Ротшильд, — успокаивал он себя, — не смог бы удовлетворить все денежные требования, которые предъявлялись ему». Обилие просящих Толстой связывал со «слабым государственным благоустройством, порождавшим такую большую бедность».

Часто, выходя на утренние прогулки, писатель видел в окно передней толпы ожидавших его людей и задавался вопросом: «Как же с ними быть?» Но каждый раз предпочитал отвечать так: «Не отказывать — будет их больше, миллион! Отказывать — трудно». Тем не менее Толстому приходилось объяснять, что «ни денежной, ни ходатайственной помощи оказать не может». Особенно возмущали его здоровые, молодые ребята, приезжавшие в Ясную Поляну на поезде для того, чтобы отнимать деньги у нищих. Ведь если «раздавать в день три рубля — не хватит никаких денег. Тула близка, их без числа».

Большинство посетителей робели перед Толстым. Многие просто комплексовали и потому говорили совсем не то, что хотели. «Бываешь недоволен, когда тебя беспокоят прохожие, нищие, — признавался писатель. — А тебе эти нравственные уроки нужны». Однажды «пришли бабы и мужик издалека, — записал писатель в дневнике, — мужик встал на колени: “Помогите, спасите, земский отнял землю...” Я спросил его, в чём дело, а он опять: “Спасите, помогите!” — мужик не рассказывал и не уходил. Тогда я тоже встал перед ним на колени».

Глава 15

Смена декораций

В Ясной Поляне в праздниках знали толк. Самыми большими праздниками были, конечно, именины и дни рождения. К Татьянинному и Машиному дням приурочивались пикники с непременно выездом за пределы усадьбы с самоваром и мороженым.

В великие праздники, такие как Рождество Христово, Святки, Масленица, Пасха, Троица, Ясная Поляна оживала, светлела, расцветала из-за обилия гостей. Праздники рождали радость бытия, одаривали радушием, хлебосольством, роскошью общения, соединяли всех еще больше, сопровождалась застольем, анковским пирогом — венцом кулинарного искусства, «веселыми содержательными» разговорами о вещих снах, о таинственных стуках, привидениях, конечно, о счастье, которое «разлито ровно для всех, как вода в озере». Устраивались турниры буриме, моделировались особые шляпы, похожие на «Вавилонские башни», в которых в карету не влезешь. Часто сам хозяин Ясной Поляны садился за рояль, брал аккорды «С тобой вдвоем коль счастлив я». Тотчас к нему присоединялась «волшебница Таня», его свояченица, со своим великолепным колоратурным сопрано. Лев Николаевич подпевал ей, а хор подхватывал. Затем начинались танцы, завершавшиеся мазуркой. Толстой играл так, что нельзя было устоять на месте. Кульминацией веселого Рождества было появление в зале ряженных под всеобщий смех и крики «браво».

На Святки, как и положено, тихо лили воск и пристально всматривались в тени получавшихся фигур. Беззаботно играли в кольцо, веревочку, рублик так, что грудь дышала не воздухом, а радостью, силой молодости. Всё это напоминало гадание Наташи Ростовской перед зеркалами и свечами. На Светлое Христово воскресенье всей семьей шли к заутрене с пасхальными шафрановыми яйцами, а потом — катали их на деревянной террасе яснополянского дома.

На Троицу непременно устраивалось гулянье на солнечной поляне. Здесь плели венки, а потом у дома води-

ли хороводы и веселой гурьбой отправлялись к Среднему пруду, чтобы гадать на венках, опущенных в воду.

Праздники способствовали сближению родителей и детей, господ и прислуги, хозяев и гостей. По традиции они проходили с обедами и ужинами, с «гулянием» чарочек, рюмочек, стаканов. Гуляли по три дня и больше. Все бывали веселы и довольны. По утрам давали праздничные завтраки, потом обеды, потчевание, закуски, заедки, чай, ужины. Спали все «повалом», а утром вновь садились за праздничный стол.

Софья Андреевна Толстая вспоминала о святочном многодневном веселье в Ясной Поляне 1865 года: «С утра начали все готовить, делать маски, шапочки и проч. Повестили дворне... и явилось вечером пропасть ряженого народа. Наши были вот так одеты: Варенька — французским зуавом: красная куртка, красные панталоны, на голове шапочка красная же с кистями. Все это делали и шили целый день; с нею в паре Сережка, одетый маркитанткой, потом Лиза с Душкой, — Лиза — маркиз, а Душка — маркизой с напудренными волосами, оба зачесанные на руло, в чулках и башмаках и с треугольной шляпой под мышкой, чудо, как хороши. Затем следовали Гриша, одетый вроде шута, с горбами, а жена его, Анна, немочка, тоже шутихой. А впереди всех карлик, которого я наняла, крошечный, с Машкой поваровой. Они были дикими царями, в золотых и серебряных коронах, с золотыми и серебряными браслетами на руках и босых, испачканных сажей, черных ногах, с огромными палками в руках и красных мантиях, сделанных из тетенькиных и Машенькиных шалей. Тетенька для наших маскарадов открыла все свои самые затаенные комоды и сундуки. Дворовые и крестьяне были наряжены кто как». Все «смешалось» в святочном событии — хозяева, гости, родные, горничные, лакеи и т. д.

А на Крещение был бал-маскарад с ряжеными. «Лев и я устроили трон. На большом столе из столовой поставили два кресла с золотыми двуглавыми орлами, все — и стены, и столы, и ступеньки на стол обтянули зеленым сукном, сверху сделали что-то вроде крыши из белого одеяла с красными цветами, положили короны и орден. Потом приехали музыканты, скрипка и тромбон,

вроде огромной, очень звучной круглой гитары. Гриша с медными тарелками, одетый арлекином, весь в бубенчиках, потом два мальчика Пьерро — два Брандта бабуринские, потом его горничная и кучерова жена — барин с барыней, потом мальчик с пастушкой. Все — это с бубнами, шумом, хлопушками и тарелками, а сзади всех огромный, почти до потолка, великан, отлично сделанный. Под великаном был Келлер, который и заставлял его плясать. Пришло пропасть дворовых, Арина, одетая немцем; начали есть пирог. Бог достался Брандту, и он выбрал Вареньку, их посадили на трон, и потом уж пошел такой хаос, что и описать нельзя. Песни, пляски, игры, драки пузырями, хлопушки, жгуты, хороводы, угощение и, наконец, бенгальский огонь», — вспоминала С. А. Толстая о «le jour du Rois», о выборе бобового короля по-французски, легко вписавшегося в праздничный яснополянский святочный контекст.

«Лучезарный» Лев, наделенный великим даром превращения будничной повседневности в праздничные события, с детских лет запомнил и полюбил святочный флер: «...темно-синее высокое небо, усеянное пропадающими в пространстве звездами, заиндевевшую бороду кучера, захватывающий дыхание, щиплющий за лицо воздух и скрип колес по морозному снегу». Для него зима всегда была связана с «холодными, но поэтическими святами»: с преданиями старины, народными обычаями, чем-то таинственным, происходящим на «фоне белых, громадных сугробов, сыпучего снега, занесшего двери, заборы и окна», узкими тропинками, высокими черными деревьями, покрытыми инеем, белыми полями, освещенными луной, с чуждой, наполненной невыразимой прелестью тишиной усадебной ночи.

Святки — пора чародейства и гаданий — отличались богатством обрядов и примет. И конечно же яснополянские реминисценции нашли отражение в произведениях Толстого, в частности в «Войне и мире». «Наряженные дворовые, медведи, турки, трактирщики, барыни, страшные и смешные, принесли с собой холод и веселье, сначала робко жались в передней; потом, прячась один за другим, вытеснились в залу; и сначала застенчиво, а потом все веселее и дружнее начались пес-

ни, пляски, хоровые и святочные игры. Графиня, узнав лица и посмеявшись на наряженных, ушла в гостиную. Граф Илья Андреевич с сияющей улыбкой сидел в зале, одобряя играющих. Молодежь исчезла куда-то. Через полчаса в зале между другими ряженными появилась еще старая барыня и в фижмах — это был Николай. Турчанка был Петя, Паяс — это был Диммер, гусар Наташа и черкес — Соня, с нарисованными пробочными усами и бровями.

После снисходительного удивления, неузнавания и похвал со стороны не наряженных, молодые люди нашли, что костюмы так хороши, что надо было их показать еще кому-нибудь».

Любимой забавой девушек, как известно, было гадание. Гадали на кольцах, сережках, запонках, перстнях, которые клали под блюдо вместе с кусочками хлеба, на курицах, на лошадях, на башмаках, на луковицах, на поленьях, на бобах, на сковороде, на священной книге, на зеркалах. Именно на зеркалах гадали Наташа и Соня в «Войне и мире». Считалось, что на зеркалах гадают исключительно смелые девушки. Способов гаданий на зеркалах — множество. Гадали, например, в темной комнате, ставя на стол зеркало, а перед ним зажженную свечу. Гадающая девушка смотрела сквозь свечу в зеркало, где и видела образ своего суженого:

«— Садись, Наташа, может быть, ты увидишь его, — сказала Соня. Наташа зажгла свечи и села.

— Какого-то с усами вижу, — сказала Наташа, видевшая свое лицо.

— Не надо смеяться, барышня, — сказала Дуняша.

Наташа нашла с помощью Сони и горничной положение зеркала; лицо ее приняло серьезное выражение, и она замолкла. Долго она сидела, глядя на ряд уходящих свечей в зеркалах, предполагая (соображаясь с слышанными рассказами) то, что она увидит гроб, то, что увидит его, князя Андрея, в этом последнем, сливающимся, смутном квадрате. Но как ни готова она была принять малейшее пятно за образ человека или гроба, она ничего не видала. Она часто стала мигать и отошла от зеркала.

— Отчего другие видят, а я ничего не вижу? — сказала она. — Ну садись ты, Соня; нынче непременно тебе

надо, — сказала она. — Только за меня... Мне так страшно нынче!

Соня села за зеркало, устроила положение и стала смотреть.

— Вот Софья Александровна непременно увидят, — шепотом сказала Дуняша; — а вы все смеетесь.

Соня слышала эти слова, и слышала, как Наташа шепотом сказала:

— И я знаю, что увидит; она и прошлого года видела.

Минуты три все молчали. “Непременно!” — прошептала Наташа и не dokonчила... Вдруг Соня отстранила то зеркало, которое она держала, и закрыла глаза рукой.

— Ах, Наташа! — сказала она.

— Видела? Видела? Что видела? — вскрикнула Наташа, поддерживая зеркало.

Соня ничего не видала, она только что хотела замигать глазами и встать, когда услышала голос Наташи, сказавший “непременно”... Ей не хотелось обмануть ни Дуняшу, ни Наташу, и тяжело было сидеть. Она сама не знала, как и вследствие чего у нее вырвался крик, когда она закрыла глаза рукою.

— Его видела? — спросила Наташа, хватая ее за руку.

— Да. Постой... я... видела его, — невольно сказала Соня, еще не зная, кого разумела Наташа под словом *его*: *его* — Николая или *его* — Андрея.

“Но отчего же мне не сказать, что я видела? Ведь видят же другие! И кто же может уличить меня в том, что я видела или не видела?” — мелькнуло в голове Сони.

— Да, я его видела, — сказала она.

— Как же? Как же? Стоит или лежит?

— Нет, я видела... То ничего не было, вдруг вижу, что он лежит.

— Андрей лежит? Он болен? — испуганно остановившимися глазами глядя на подругу, спрашивала Наташа.

— Нет, напротив, веселое лицо, и он обернулся ко мне, — и в ту минуту как она говорила, ей самой казалось, что она видела то, что говорила.

— Ну а потом, Соня?..

— Тут я не рассмотрела, что-то синее и красное...

— Соня! Когда он вернется? Когда я увижу его? Боже мой, как я боюсь за него и за себя, и за все мне страш-

но... — заговорила Наташа и, не отвечая ни слова на утешения Сони, легла в постель и долго после того, как потушили свечу, с открытыми глазами, неподвижно лежала на постели и смотрела на морозный, лунный свет сквозь замерзшие окна».

Одним из любимых развлечений в Ясной Поляне был ручной медведь, появление которого сопровождалось отчаянным лаем деревенских собак. Почти все жители усадьбы сбегались на это представление, героями которого были не только медведь на цепи, но и «коза», и еще мальчик. Поводырь командовал, дергая цепью:

— Михайло Иваныч, поклонись господам.

Медведь кряхтел, вставал на задние лапы и, звеня цепью, кланялся в ноги.

— Покажи, как поповы ребята горох воруют.

Медведь ложился на землю и крался к воображаемому гороху.

— Покажи, как барышня прихорашивается.

Медведь садился на задние лапы, перед ним держали зеркальце, и он передними лапами гладил себе морду.

— Умри!

Медведь, кряхтя, ложился и лежал неподвижно.

Затем начиналась пляска медведя с «козой». «Коза» — это человек, надевавший на себя покрывало, из которого кверху торчала трещотка. Трещотка трещала, поводырь бил в барабан, и медведь вставал на задние лапы, а «коза» плясала. Цирковое представление завершалось тем, что всем актерам, в том числе и медведю, подносили водку. Медведь с удовольствием выпивал водку, которую ему из стакана вплескивали в пасть, становился добродушным, ложился на спину и будто улыбался. Этот забавный эпизод поведал старший сын Толстого.

А Татьяна Львовна, старшая дочь писателя, рассказывала в своих воспоминаниях о карлике, жившем одно время в яснополянском доме: «На его обязанности лежала колка дров, и кроме этого он всегда играл важную роль в забавах и маскарадах Ясной Поляны».

Дворянский маскарад вместе с крестьянскими ряжеными образовывали на Святках общую игровую субстанцию. Не раз в Ясной Поляне устраивались детские карнавалы, на которых собирались дети и взрослые,

среди которых были Лев Николаевич, К. А. Иславин (дядя Софьи Андреевны), Д. А. Дьяков (друг семьи), которые разыгрывали «медвежью потеху» и «козу».

«Сквозь толпу стоящей у двери прислуги проталкивались вожак, два медведя и коза, — вспоминала о безмятежной поре детства Татьяна Львовна Толстая. — Я сразу вижу, что медведи не настоящие, а одетые в вывернутые шубы люди. Но они все-таки страшные, иногда кто-нибудь из них ко мне подходит, я с визгом убегаю. Оба медведя тихонько рычат, а поводырь их успокаивает. Очень смешна коза. Она очень высокая. Вся закутана в какой-то мешок. Шея у нее сделана из палки, а на конце этой палки вместо головы приделаны две дощечки. Дощечки эти изображают рот, и они открываются оттого, что к ним приделаны веревочки, которые человек, изображающий козу, дергает.

Поводырь заставляет своих животных проделать всякие смешные штучки. Они показывают, как ребята горох воруют, как красавица в зеркало смотрится и прихорашивается, как старая баба на барщину идет и прихрамывает. При этом поводырь приговаривает такие уморительные прибаутки, что за каждой следует взрыв хохота всей залы.

Но вот музыка играет бодрее и веселее, и коза, и медведь, и поводырь — все принимаются плясать. Очень смешно пляшет коза, щелкая дощечками.

Мы, дети, не участвуем, а только смотрим и стараемся узнать наряженных. Поводыря узнать нетрудно: у кого может быть такой толстый живот и кто может придумать такие смешные прибаутки, как не Микликсеич?

— А это папá, — говорим мы, подходя к козе, это папá так смешно плясал, щелкая дощечками. В двух медведях мы узнаем дядю Костю и Николеньку».

В 1879 году Софья Андреевна писала о праздновании Святков своей сестре: «А мы очень весело провели праздники. Первый день прошел тихо, с пудингом, репетициями и приготовлениями к спектаклю. На второй день мы к обеду уехали к Дельвиг в Тулу. После обеда опять делали репетиции, танцевали. Вдруг кто-то упомянул о цирке. Дети пристали, стали просить. Нечего делать, послали Анюту и Сережу за билетами и поехали в цирк.

Из цирка поехали ужинать и пить чай к Дельвиг, и дома очутились в первом часу ночи.

Потом Николенька с женой приехали к нам гостить и Страхов из Петербурга. На четвертый праздник все Дельвиг приехали к нам.

Утром делали репетиции, потом обедали 22 человека всех, а вечером поехали при лунном свете кататься в четырех санях, по трое в каждые, без кучеров. Правили Антоша, Сережа, Николенька и Лёвочка.

Было морозно, сани очень раскатывались, но мы перегонялись, смеялись, чуть не падали и было очень весело и оживленно.

Приехавши, ужинали и легли все спать опять очень поздно.

Под Новый год была чудесная елка, особенно удавшаяся в нынешнем году (1879-м. — *Н. Н.*). Новый год встречали с шампанским, и все семейство, даже Маша, ужинали за столом.

2-го января Дельвиги приехали опять и была генеральная репетиция на сцене с костюмами. Наша сцена хоть не велика, но очень мила. Занавес подымается, подмостки довольно высокие и освещение снизу, как в настоящем театре. Все очень одобрили сцену. Мы ее убрали, и ты увидишь, если Бог приведет, летом. Тогда можно будет опять сыграть что-нибудь.

Спектакль был 3 января.

Приехали: Оболенская с мужем, Урусов, Николенька с женой, Страхов, Фина Александровна. Пришли: Елизавета Александровна, Дуняша, Алексей и вся дворня, и первая пьеса — “Бедовая бабушка” — очень удалась.

Таня сыграла роль Глаши очень мило. Антоша и Росса отлично играли, и Сережа хорошо изобразил *jeune premier* (первого любовника. — *Н. Н.*).

Но во второй пьесе, куда — увы! — допустили Илюшу, — произошли разные беспорядки: Илья пропускал все в своей роли, чем путал и конфузил Сережу, у которого была главная роль — Разгильдяева. Пьеса называется “Виц-мундир”. Хотя все-таки сыграли, но торопились и шло хуже, чем на репетициях.

После спектакля наряжались, танцевали кадрили, вальсы, опять детям позволили остаться ужинать и сидеть до часа.

На другой день я отвезла Дельвигов в Тулу, а потом пошли у нас все бедствия.

Лёвочка, разнемогавшийся в день спектакля, совсем слег. Сделался жар, страшный кашель, слабость и боль в боках».

В этом любительском домашнем спектакле «отличилась» дочь Таня, прекрасно игравшая свою роль.

На Святках в Ясной Поляне было много веселья. Как обычно, собрались здесь и знакомые, и родные. Приехали Д. А. Дьяков с дочерью и ее воспитательницей Софеш, Мария Николаевна, сестра писателя, с детьми — Варей, Лизой и Николенькой, а также Костя Иславин. Катались на санях, особенным шиком было из них вываливаться. Наряжались кто во что. Например, дядя Костя — в полушубок, вывернутый наизнанку, он входил в залу на четвереньках, изображая медведя. Николенька Толстой — старухой, а Софеш — стариком с горбом и мочальной бородой. В залу привалило много народу, начинался пляс под звуки «Барыни», которую играли в четыре руки, а потом и под гармошку.

Святые вечера, наполненные весельем в честь Рождества Христова, не представимы в Ясной Поляне без толпы ряженных, плясавших, выкидывавших всякие колнца, как будто были у себя дома, без всякого стеснения. На всех участниках действия обычно были надеты размалеванные маски.

К святочной атмосфере праздника особенно чутки дети, они живут его ожиданием. Лев Толстой с детства запомнил святочное ряжение и с безыскусностью описал его, будучи уже на восьмом десятке лет: «Святочные увеселения происходили так: дворовые все, очень много, человек 30, наряжались, приходили в дом... Ряженные были, как всегда, медведь с поводырем и козой, турки и турчанки, разбойники, крестьянки-мужчины и мужики-бабы. Помню, как казались мне красивы некоторые ряженные, и как хороша была особенно Маша турчанка. Иногда тетенька наряжала и нас... Помню, как, глядя в зеркало на свое с черными усами и бровями лицо, я не мог удержать улыбки удовольствия, а надо было делать величественное лицо турка».

Писатель запомнил слуг отца, особенно официанта Тихона, которого полюбил за его природное актерство. Впоследствии Толстой рассказывал детям, как Тихон потешал его и братьев тем, что, стоя за обедом с тарелкой в руках, гримасничал и ловко манипулировал тарелкой, приводя малышку в несказанный восторг.

Из дедовской прислуги «Лёвка-пузырь» запомнил дворецкого, который был второй скрипкой, и официанта — «бывшего флейтой в оркестре» и наделенного «талантом комизма». Александра Андреевна Толстая как-то поведала о лицедейских способностях Льва Николаевича: «Кельнер объявил таинственным тоном, что кто-то дожидается меня внизу...

Догадавшись, в чем дело, я быстро спустилась в залу, посреди которой стояли опять они (Лев Николаевич со своими двумя приятелями), укутанные в длинные плащи, с перьями на фантастических шляпах. Ноты лежали на полу, по примеру странствующих музыкантов, а инструменты заменялись палками. При моем появлении раздалась невыносимая какофония — истинно адский шум или кошачий концерт. Голоса и палки действовали взапуски. Я чуть не умерла со смеху».

После Святков все ждали еще одного замечательного праздника — Масленицу, представлявшую собой причудливую смесь язычества с христианством. Проводы зимы сопровождались весельем, феерией, фантастической карнавальной стихией, властвующей в этот миг над жизнью. Масленица являлась не только ярким событием, но запоминалась еще и своими сытными и вкусными угощениями. «Героями» праздника были конечно же блины. В Ясной Поляне неизменной популярностью пользовались молочные, скороспелые, обыкновенные и пшеничные блины. Приведем рецепты их приготовления, которые оставила нам искусная кулинарка Софья Андреевна Толстая:

Молочные блины

5 яиц, 2 белка и желтки стереть с сахаром, а белки сбить, развести молоком желтки, потом класть муку и тогда прибавлять еще молока, сколько надобно, потом

посолить и положить сбитые белки и печь блины на сковороде с маслом. Сковороду надо раскалить и смазать маслом.

Скороспелые блины

4 ложки (с верхом) пшеничной муки, 2 ложки гречневой смешать, развести соленой водой, не холодной. 1 чайную ложку соды (без верха), чайную ложку кислоты распустить в воде в разных стаканах. Когда разведете муку с водой, то надо туда вылить прежде соду, размешать хорошенько, а потом кислоту, опять размешать и сейчас же печь блины. Густота должна быть обыкновенная. Из этого выйдет блинов 12. Можно все удвоить, утроить.

Блины обыкновенные

Взяв фунт с четвертью крупитчатой муки и три четверти фунта гречневой, размешать в полутора стаканах теплой воды четыре золотника дрожжей, вылить на треть приготовленной мучной смеси. Поместив опару под полотенцем на сотейник с горячей водой, дают тесту подняться, через полчаса досыпают остальную муку, взбивают тесто лопаточкой, дают еще раз подняться, часа через три разводят его четырьмя стаканами теплого молока в соединении с тремя цельными яйцами, столовой ложкой соли и чайной ложкой сахара, а еще полчаса спустя начинают печь блины.

Блины пшеничные

Четыре стакана пшеничной муки ставятся с тремя стаканами теплого молока и двумя лотами дрожжей в теплое место; когда тесто подойдет, в него постепенно вливается стакан кипяченого молока, добавляются пять желтков, две ложки растопленного масла, соль, по вымешивании — взбитые в пену белки, после чего опара выливается на сковородку.

Пасха — самый торжественный праздник, праздник праздников, символизирующий победу над смертью. В этот день солнце сияло на небе, люди веселились, водили хороводы, радуясь жизни. Этот праздник ассоциировался для Толстого со старым воспитателем Карлом

Ивановичем, весьма своеобразно понимавшим смысл христосования и дарения яиц: «Hast du was, so kriegst du was, hast du nichts, so kriegst du nichts» («Если у тебя что-нибудь есть, то ты что-нибудь получишь, если нет у тебя ничего — не получишь ничего». — Н. Н.).

Яснополянские крестьяне понимали этот священный праздник по-своему и с семи часов утра, услышав благовест с ветхой колокольни, собирались у Николо-Кочаковской церкви (Толстого в ней крестили 29 августа 1828 года, и он являлся ее прихожанином). «...Пестрые толпы народа по проселочным дорогам и сырым тропинкам... приближались к церкви. Пономарь перестал звонить и, вперив старческий, равнодушный взор в пестрые группы баб, детей, стариков, столпившихся на кладбище и паперти, присел на заросшую могилку». Несомненно, поэтическое описание радостной пасхальной заутрени в деревенской церкви в романе «Воскресение» было навеяно автору детскими впечатлениями: «Золотой иконостас горел свечами, со всех сторон окружавшими обвитые золотом большие свечи. Паникадило было уставлено свечами, с клиросов слышались развеселые напевы добровольцев-певчих с ревущими басами и тонкими дискантами мальчиков...

Все было празднично, торжественно, весело и прекрасно: и священники в светлых серебристых с золотыми крестами ризах, и дьякон, и дьячки в праздничных серебристых и золотых стихарях, и нарядные добровольные певчие с масляными волосами, и веселые плясовые напевы праздничных песен, и непрерывное благословение народа священниками тройными, украшенными цветами свечами, с все повторяемыми возгласами: «Христос воскрес!»... Все было прекрасно».

Заутреня с зажженными свечами, яркими шафранными яйцами и благодатными напевами: «Пасха Господня, радуйтесь, люди!» — этот великий день вызывал у писателя благодатные чувства. Светлая ночь Христова воскресенья, ее особая атмосфера вдохновили его на описание зенита любви его героини, любви, измеряемой одним мигот, самым поэтичным, когда стоишь «на пороге» этого чувства.

Через 50 дней после Пасхи праздновали Троицын

день. К этому времени семья Кузминских обычно уже переезжала в Ясную Поляну, и от этого становилось еще веселее. Все были нарядными, готовился общий парадный обед. Непременно приходили деревенские бабы и ребята с гармошками. Собиралась огромная толпа, все пели и плясали. «Явилась торговка с пряниками, жамками, дешевыми конфетами и неизбежными подсолнечными семечками. Мы все почти скупили у нее и раздали детям крестьянским, — вспоминала празднование Троицы Софья Андреевна. — Потом вся толпа и наши дети отправились в лес. Красиво разбрелись эти яркие, пестрые фигуры, на которых преобладал красный цвет, — на зеленом фоне леса. Свивали из березовых веток венки и надевали их на головы. Наплели венков и нашим детям и добродушно надевали им на головы. Через некоторое время вся толпа с свежими зелеными венками двинулась в обратный путь. Опять подошли к дому, пели, плясали, выступая парами в середину хоровода, и плавно, скользя незаметными шажками, проделывали свои обычные фигуры с строго-серьезными лицами и плавными движениями всего тела. Потом отправились к большому пруду бросать венки. Старались забросить подальше, боялись, что утонет венок, что означало тому лицу, чей венок, смерть в этом году. По всему пруду зазеленели эти березовые венки, а толпа направилась с песнями на деревню.

Какое объяснение дать этому ежегодному языческому обряду, я никогда понять не могла, и мне в нем чувствовалось что-то фальшивое, нерадостное. Но дети и прислуга любили это ежегодное празднество Троицына дня, и потому я и не препятствовала ему».

В этот день яснополянские девушки спрашивали кукушек, сколько им еще оставаться в родительском доме. На Троицу пекли пироги с вареньем, караваи на меду с орехами, так называемые кругляки из сдобного теста, символизирующие солнце, потчевали друг друга мясом, завернутым в листья капусты или щавеля.

В Ясной Поляне умели создавать праздничную атмосферу: устраивали домашние спектакли, балы, званные вечера. В разнообразных развлекательных формах отдыха отражались не только бытовые и психологичес-

кие реалии времени, но и бессознательно-творческие импульсы Толстого. У Льва Николаевича был настоящий артистический дар, доставшийся ему от матери, Марии Николаевны. Она увлекалась театром и сумела сформировать вокруг себя дружеское общество, устав которого вывесила «на стенке», — в нем говорилось о любви к ближним, к умеренной жизни и отрицании «самолюбья, претензий и спеси».

Царица здесь — свобода,
Закон — рассудок здрав.
Отставлена здесь мода,
Без ней здесь тьма забав.
Здесь чтение, беседа,
Музыка, билиард,
То песенка пропета,
А иногда — театр.

У ее «лучезарного» сына артистический дар проявлялся в его импровизациях, объединяющих исполнителя со зрителем чувством радости, которое он так высоко ценил в святочных представлениях ряженных.

Толстого вряд ли можно назвать заядлым театралом. Однако его игра в студенческом спектакле «Предложение жениха» заслужила благосклонный отзыв критиков. Рецензент отмечал, что жених в его исполнении вышел чрезвычайно наивным.

Поиск Толстым более свободной и глубокой формы самовыражения выразился в одноактной шуточной «опере», сочиненной им на рубеже 1850—1860-х годов для домашнего спектакля. Сценарий представлял собой вполне тривиальную интригу любовного треугольника: рыцарь, его жена и соперник, убитый на дуэли. Аккомпанировал артистам сам автор «оперы». Таня Берс, исполнительница главной роли, вспоминала: «Выход был за мной в роли Клотильды, в средневековом, наскоро импровизированном костюме. Я немного приготовила себе слова из романсов, мне знакомых. Я робела. Мы вышли вдвоем с Клавдией — она в качестве моей подружки. Пропели дуэт известный нам на голос романса:

Люди добрые, внимлите
Печали сердца моего...».

Подруга вскоре ушла, а Таня, согласно импровизации Льва Николаевича, «одна уже перешла в *allegro*» и жестами старалась подражать своей учительнице пения. Потом вошел рыцарь, который объяснился ей в любви. Она отвергла его речитативом. Все шло своим чередом, пока автор громко не заиграл в басу. Дверь отворилась, и на пороге появился грозный муж, которого изображала фрейлина Безз, одетая в охотничьи шаровары, с красной мантией через плечо, с приклеенными баками. Фрейлина грозно пела басом, подбирая немецкие слова и наступая на рыцаря. На голове у нее была шляпа с пером, брови подрисованы, в общем, ее невозможно было узнать. Все было комично. Сам автор «оперы» трясся от хохота, пригибаясь к роялю и выделявая на нем громкие рулады. Смех Льва Николаевича заразил всех. А он доигрывал финал, приговаривая: «Ох, Боже мой, давно так не смеялся».

А вскоре уже юная Соня Берс готовилась к роли свахи в «Женитьбе» Гоголя. Ее младшая сестра так вспоминала об этом: «Я ужасно волновалась за сестер, особенно за Соню, которая с конфуза и роль могла забыть, и тогда бы все пропало.

Поднялся занавес. На сцене шел разговор. Я знала, что выйдет Соня.

Дверь отворилась, и вышла сваха. Соня была неузнаваема, только глаза остались прежние. Это была намазанная старуха с намазанными морщинами, не своими бровями, в черной купеческой повязочке и с заметной толщиной. В таком искаженном виде нельзя было конфузиться. Но, несмотря на это, когда она, выйдя на сцену, сказала:

— Уж вот нет, так нет... — я слышала в ее голосе фальшь и замешательство. Но следующий ее монолог, заставивший публику смеяться, сразу ободрил Соню... В антракте, когда мы пошли в столовую пить чай, я спросила Льва Николаевича:

— Нравится вам, как они все играют?

— Гоголя не провалишь, — отвечал он».

В общем, спектакль получился веселый и интересный.

Однажды Софья Андреевна, желая развеселить гостей, попросила мужа написать что-нибудь для представления. Через три дня он написал комедию «Ниги-

лист», сюжет которой был довольно прост: мирная жизнь молодых супругов внезапно нарушается из-за приезда гостей, в частности, «студента с идеями», который, проповедуя свои взгляды, отрицает все то, во что принято верить. Мужу кажется, что жена увлечена студентом. Соне самой пришлось сыграть роль мужа, потому что больше ее некому было играть. Роль студента досталась Лизе Толстой, роль жены — Тане Берс, а роль тещи — Софеш. Распределение остальных ролей сложилось следующим образом: двух кузин сыграли Варенька и Маша, странницу — Мария Николаевна, сестра писателя, которая и придумала для себя эту роль.

В процессе репетиций автор многое подверг корректировке. Он учил домашних актрис играть. Пьесы, подобные «Нигилисту», писались на случай, ставились и игрались всего лишь раз. В столовой устроили сцену. Участники представления сильно волновались, когда после второго звонка открылся занавес. Истинной героиней веселого домашнего спектакля стала все-таки не добродетельная помещица, а странница в исполнении Марии Николаевны Толстой. Ее игра-импровизация поразила всех присутствующих. «Если бы я не знала, что это Мария Николаевна, я бы не узнала ее, — вспоминала Т. А. Кузминская. — Одежда, грим, походка, котомка за спиной — все было точь-в-точь, как у настоящей странницы. Одни черные большие глаза были ее. Как она поклонилась с палкой в руке вроде посоха, как она подала мне просвиру и села, по моему приглашению, за стол — все было как настоящее, непринужденное, не сыгранное. Я взглянула на Льва Николаевича. Он положительно сиял от удовольствия.

Я спросила странницу, откуда она пришла, что видела.

Странница сразу начала свое повествование...

Мария Николаевна взяла такую верную интонацию, такие верные ужимки, что невольно, слыша в публике неудержимый смех, а особенно заразительный смех Льва Николаевича, я не могла оставаться печальной... и тряслась от смеха, уткнувшись в платок...»

Спектакль и впрямь получился на славу. Кто бы мог подумать тогда, что талантливая исполнительница

роли истовой и плутоватой странницы станет монахиней Шамординского монастыря!

Постановка «Нигилиста» стала для Толстого своеобразной сатисфакцией за неудачу, постигшую его с комедией «Зараженное семейство», в которой он полемизировал с Тургеневым, Жорж Санд, Соллогубом, Чернышевским, с «новыми людьми».

Комедию, написанную как «насмешку эмансипации женщин и так называемых нигилистов», В. Соллогуб не просто отверг — он ее потерял. А у Некрасова даже «завяли уши» от нее. Все коллеги по перу были едины во мнении, что это «плохая комедия». Возможно, «Зараженное семейство» не получилось из-за того, что актеры-любители еще не были готовы воплотить постановку на домашних «подмостках». Но вскоре, собравшись с силами, они смогли, наконец, озарить осеннюю Ясную Поляну своим талантом, словно весенним солнечным светом.

Между тем дети писателя подрастали, и дом все более наполнялся молодежью — их друзьями, друзьями друзей, молодыми учителями. А где молодость, там и смех, веселье. В большом зале частенько стали затеваться любительские театральные представления, например концерт цыганского хора. В роли «цыганок» выступали повзрослевшие дочери писателя. Но, пожалуй, самым любимым домашним развлечением была уже упоминавшаяся нами «нумидийская конница». После ухода скучного гостя все присутствовавшие за обеденным столом вскакивали, словно по команде, и вереницей бежали с поднятой рукой по анфиладе комнат с серьезным выражением лица. Обезав весь дом во главе со Львом Николаевичем, «конница» начинала от души хохотать.

Часто в Ясную Поляну приезжал старинный друг Толстого Александр Александрович Стахович — большой театрал, великолепный чтец, особенно пьес Островского. «Своим чтением вы расшевелили меня. После вас я написал драму. Или я давно ничего не писал для театра, или действительно вышло чудо, чудо!» — воскликнул Толстой, слушая гостя. Речь шла о пьесе «Власть тьмы», для которой он «ограбил» все свои записные книжки,

использовав многие изречения, метафоры, прибаутки. Параллельно с этим писатель обдумывал план «Комедии Спириты». Идея этой пьесы родилась у него после посещения им спиритического сеанса в доме Н. А. Львова на Смоленском бульваре в Москве. Сеанс не удался, хотя были слышны какие-то стуки и мелькали загадочные огоньки. Эта комедия могла бы так и остаться в наброске, но... Зимними долгими вечерами большая семья собиралась у самовара в большом зале. Однажды старшая дочь писателя, только что вернувшаяся из-за границы, нарушила наступившую тишину вопросом:

— Что бы нам такое выкинуть?

— Зачем?

— Скучно. Надо народ созвать.

— Хорошо, давайте поставим домашний спектакль.

Для постановки выбрали популярную пьесу Канаева «Бабье лето», но пьеса не увлекла молодежь. И тогда Мария Львовна спросила:

— А вы читали пьесу папá?

— «Власть тьмы?»

— Нет, другую. Я видела ее между бумагами.

— Достаньте, пожалуйста.

— Хорошо, погодите. — И Мария Львовна отправилась в кабинет отца.

После прочтения первого действия было решено поставить эту пьесу, а уже после прочтения третьего — все роли были не только распределены, но и переписаны. Вскоре появился и сам автор, услышавший оживленное обсуждение:

— Что вы тут делаете?

— Вот распределяем роли...

Толстой пожевал губами и молча вышел. Началась яснополянская театральная лихорадка — принимали родных и друзей из Москвы и Тулы. Вскоре к репетициям подключился профессионал — за режиссуру взялся Николай Васильевич Давыдов, он же сыграл роль профессора. Дочь писателя Татьяна Львовна быстро «вошла» в роль горничной. Абсолютно неузнаваемой стала ее средняя сестра — Мария в роли кухарки. Красивый студент Цингер перевоплотился в лакея Григория, «экзальтированный» учитель Новиков стал робким буфетчи-

ком, импозантный Лопухин изображал барственного Звездинцева. В доме теперь постоянно пахло гримом и жженой пробкой. Семейные портреты в зале стали впечатляющей декорацией. Пока «актеры» входили в образ, Толстой переделывал пьесу. Специалисты были убеждены, что «Плоды просвещения» написаны исключительно для любительской постановки, как бы «шутя», для друзей и близких, пожелавших в ней сыграть. Однако яснополянский спектакль словно «разбудил» автора для того, чтобы он смог «поправить комедию» и «придумать ее подробности».

«...В декабре ему пришлось всецело заняться комедией, — вспоминала Софья Андреевна. — Приехавшая из-за границы Таня вздумала устроить на праздниках какое-нибудь веселье. Зная, что всякое такое пробуждение вызывало неудовольствие отца, она придумала достать из портфеля отца его комедию “Исхитрилась” и разыграть ее в Ясной Поляне. Дети и я сочувствовали этому плану, и Таня со смелостью любимицы прямо объявила о своем плане отцу. Он сначала отнесся к этому довольно снисходительно и начал поправлять комедию, назвав ее уже тогда “Плоды просвещения”».

Тем временем плотники воздвигали подмости. Декорациями занялся архитектор Бергер, который скоро замечательно выписал печь и прочие кухонные атрибуты.

Дом был полон гостей. Спали везде, где только было возможно, даже на сцене. Софья Андреевна сбилась с ног, заботясь о еде, размещении гостей и т. д. К тому же заболел младший Ванечка. Он весь «горел» и был в жару.

Лев Николаевич присутствовал на репетициях и заразительно смеялся, радуясь игре. Его жена даже не догадывалась, что ему что-то не нравится. Тем не менее в его дневнике появилась такая запись: «Все время были репетиции, спектакль, суета, бездна народа, и все время мне стыдно. Пьеса могла быть недурна, но все-таки стыдно. Таню жалко, она кокетничает... и она несчастна... Хочу поправлять комедию».

«Как теперь в Ясной?» — спрашивала Т. А. Кузминская Мишу Стаховича, вернувшегося из яснополянской усадьбы. «Весело!» — отвечал он. «Как же Соня всех кор-

мит?» — «Вкуууусно!» — отвечал Миша. «А спят как же, столько народа?» — «Хоооорошо спят, крепко!»

Действительно, за шумным оживлением никто не ощущал неудобств и тесноты. Публики собралось много. Пригласили даже священников и приказчиков. Удивительно, как прекрасно все играли после пяти репетиций!

В день премьеры, 30 декабря 1884 года, Лев Николаевич был очень оживлен. Он приходил за кулисы, смотрел грим, ходил по рядам, рассказывая о репетиции. А потом обратился к публике: «Лопатин, как выйдет — всех уморит». Такое предсказание огорчило актера, и тот играл хуже, чем на генеральной репетиции, в чем и признался Льву Николаевичу. «А по-моему, все превосходно», — ответил Толстой.

У этого представления было продолжение. Как вспоминал Лопатин, на генеральной репетиции он случайно примерил к своему лицу бороду и поразил всех присутствовавших сходством с Львом Николаевичем. Прошло два года, и молодые Толстые, вспомнив о сходстве актера с отцом, устроили на Святках костюмированный вечер. Вечером вся компания оделась в соответствующие костюмы и загримировалась с помощью гримера Художественного театра Я. Гремиславского под гостей Льва Николаевича: профессора Захарьина, Антона Рубинштейна, Вл. Соловьева, Илью Репина... Представьте себе сцену — два Толстых жмут друг другу руки. А ряженные приняли актера за настоящего Толстого и почтительно кланялись ему.

Глава 16

Страстный пилигрим

Толстой считал, что каждый из нас является в этой жизни пассажиром, с той лишь разницей, что один входит в вагон поезда, а другой — из него выходит. Жизнь любого человека писатель уподоблял путешествию, передвижение в пространстве — событию, позволявшему осознать, «что не мы одни, то есть наше семейство, живем на свете, что не все интересы вертятся около нас, а

что существует *другая* жизнь людей, ничего не имеющих общего с нами».

Один мудрец как-то заметил, что свою жизнь человек должен разделить на три части: первую — посвятить познаниям, вторую — путешествиям, а третью — раздумьям о прошедшем. Толстой поступал мудрее, совмещая путешествия с познаниями и творческими размышлениями на протяжении своей 82-летней жизни. Путешествия оказались «питательными» для души и сердца, излечивали от ипохондрии.

«Путешествия вдохновляют», — не раз говорил Толстой. Странствуя, он постигал красоту мира, расширял свой кругозор, убеждаясь, что смотреть налево так же полезно, как и направо — везде перспективы, стоит только глаза раскрыть. Дороги стали для него лучшим лекарством от хандры, целительным средством от тоскливой обыденности, аналогом свободы. Они помогали сконцентрироваться на внутренней жизни, на воспоминаниях о прошедшем, на мечтах о будущем.

Опыт Толстого-путешественника поучителен. Муза странствий, словно обольстительная Цирцея, уносила его порой далеко от дома. Она сопровождала Толстого по грозному Кавказу, наполненному «мрачной прелестью природы», по милому Крыму, в парусной лодке по Волге, по башкирским степям, в пеших прогулках по Швейцарским Альпам. В Европе он с легким сердцем тратил деньги на бесценные фолианты. Ему нужно было, по выражению Тургенева, образовываться не только вглубь, но и вширь. Он не успел побывать на «окраинах мира», однако верил, что когда-нибудь Южная Америка станет «самой прелестной страной», а Северная — примет его как дорогого гостя канадских духоборцев.

В дорогу Толстой отправлялся охотно, желание увидеть новое, дух странничества никогда не угасали. С лошади он пересаживался в дилижанс или пролетку, любил путешествовать пешком, не брезговал и в телеге. Его не пугали ни полноводная могучая Волга, ни ухабы, ни слякоть, ни жара — в любую погоду он наслаждался чувством пространства.

Толстой побывал за границей дважды. В 1857 году, когда ему было 29 лет, он впервые испытал неизъяс-

нимое чувство «разлуки-встречи» при переезде российской границы. Три года спустя совершил второе заграничное путешествие, чтобы познакомиться с западноевропейской культурой.

Как и все русские, Толстой путешествовал «не наспех, не лихорадочно, а с толком, с чувством, с расстановкой, всюду заводя знакомства с известными людьми, слушая их лекции, изучая устройство школ, судов, тюрем, богаделен и все занося в дневник с мыслью о России». Любимой писатель кочует между двумя реальностями, жадно впитывая увиденное, чтобы впоследствии отобразить его в своих произведениях.

Толстой добрался из Москвы до Парижа за 11 дней и поселился на *Rue de Rivole*, где оказался в обществе своей «старой няньки» — Ивана Тургенева. За два месяца, проведенных в Париже, он увидел много интересного и приятного: «Лувр, Версаль, консерватория, квартеты, театры, лекции в Сорбонне», посетил музей бытовых древностей, разместившийся в старинном здании XV века, и после его осмотра «поверил в рыцарство». Вместе с Тургеневым побывал в Фонтенбло, осмотрел старинную резиденцию французских королей, где Бонапарт отрекся от престола, съездил в Гренобль.

В Париже общался с Плетневым, Стасюлевичем и с французскими писателями и философами. Проводил время легко и беззаботно, «болтая очень приятно» за «бутылкой вина у камина» в одном из салонов, посещал театры, знакомился с артистами, брал уроки английского и итальянского языков, слушал лекции в *Collège de France*, ходил на спиритические сеансы к князю Трубецкому и даже сам захотел заняться спиритизмом, испытал «ужас» при виде гильотинирования, посетил кладбище *Père Lachaise*, ездил в Версаль, побывал в «клубе поэтов», Национальной библиотеке. Ему понравился Париж, и он не хотел отсюда уезжать. Но, оказавшись свидетелем казни — гильотинирования, испытал такое сильное потрясение, что спешно покинул французскую столицу.

Большое впечатление произвела на Толстого Германия: Дрезден с его знаменитой галереей; Берлин, где он посетил построенный в 1820-е годы Шинкелем музей

античных памятников культуры; Веймар — город Гёте и Шиллера.

С Германией Толстой был знаком давно, можно сказать, генетически. Его дед, князь Волконский, был чрезвычайным послан в Берлине. Отец писателя участвовал в «Битве народов» при Лейпциге. О Германии он слышал много интересного от своего гувернера-немца — Ресселя. Толстой был воспитан на немецкой культуре. Германия с юных лет стала ему близкой и понятной. Поэтому когда он молодым человеком впервые ее увидел, то воспринял как старую добрую знакомую.

Берлин, Лейпциг, Франкфурт-на-Майне, Эйзенах, Веймар, Дрезден. Путешествие по этим локасам сопровождалось для Толстого вопросом: какова цивилизация на Западе и что она дала миру? Это надо было увидеть собственными глазами, прочувствовать и осмыслить. Германия произвела на Толстого «сильное и приятное впечатление», он хотел здесь пожить вдоволь, «не торопясь поездить», как он выразился в письме к Боткину во время первой заграничной поездки. Это желание исполнилось спустя четыре года. Оказавшись на этой земле, он усмотрел добрый знак: справа от него сиял месяц, предвещающий, как ему показалось, большую удачу. Толстой очень верил в приметы.

В Баден-Бадене оказался почти случайно, что называется, «нелегкая занесла»: вместо Зинцига свернул в этот город и, казалось, «погиб» навсегда. «Рулетка страшно увлекла» его. Он ощутил себя здесь франтом. Целыми днями напролет азартно играл в рулетку, боясь отвести взгляд от магически вертящегося круга и костяного шарика. Только один раз шарик остановился на цифре, принесшей Толстому выигрыш, и он был «необыкновенно счастлив». Но всего лишь миг длилось это блаженство. Вслед за этим последовал неминуемый проигрыш. Толстой зарекся: больше играть он не будет никогда. Однако не устоял, нарушил клятву, сел за стол. И снова проиграл. Залез в долги — к соседу-французу и к Некрасову и опять проиграл всё «в пух, до копейки». «Пристыженный», обращался с мольбами к Боткину, к брату Сергею. Рулетка вконец «изгрызла» его. Так про-

неслась неделя «пошлой» жизни с барышнями и дурными известиями.

Но было и другое: прогулки при лунном свете с Полонским, с которым духовно сошелся, словно с родным братом. Общение с «милым Ваничкой», с Тургеневым, приехавшим навестить, а заодно и «пожурить» его. В Баден-Бадене Толстой испытал томление молодости, «боль одинокого наслаждения», острое желание счастья, выдержал схватку с рулеткой, можно сказать, с Судьбой. Этот швабский город остался в его воспоминаниях как родной «милый Баден» с таинственным силуэтом старого замка на горе при лунном свете.

Он мечтал забыться и не вспоминать о своих неудачах. В поисках любви, сопряженной с образом «бесценной Александрины», он отправился во Франкфурт на встречу с ней. Он пробыл во Франкфурте всего лишь день, изнывая от одиночества. Поверилось вдруг, что счастье «улыбнется» ему. Он навестил в Дармштадтском дворце «бесценную Сашу», «лучшую из женщин», которую называл «чудом и прелестью».

В Веймар Толстой приехал по приглашению русского посланника, родственника Ф. И. Тютчева, фон Мальтица. Этот город-музей эпохи немецкого Просвещения считался центром духовной жизни Германии. Толстой бродил по улицам маленького городка, наполненного таинственной духовной субстанцией двух великих немцев, наслаждался «просто и счастливо» природой, посещал Бельведер, Тифурт; смотрел в театре подражательные рыцарские драмы «с криками» в итальянском стиле; и однажды он осмелился переступить порог дома Гёте на Фрауэнплан, построенного в 1710 году. В то время там жили потомки Гёте и дом-музей был закрыт для посетителей. Но благодаря великому герцогу Саксенвеймарскому, основателю гётевского музея, русскому писателю разрешили осмотреть дом автора «Фауста», его коллекции монет и медалей, камней и античных оттисков, помпезный «зал Юноны» с огромным бюстом богини, скромный кабинет и крохотную спальню, где скончался Гёте, произнеся финальную фразу: «Света, больше света!» Позже, размышляя о Гёте, Толстой с трепетом вспоминал дом поэта:

«О, великий дух, великий ум», — сказал мне проводник в Веймаре».

Дом Шиллера находился рядом с домом Гёте. Всего через два квартала. Конечно же Толстой посетил и этот жёлто-белый особняк с высокими мансардами, крытыми черепицей, что приютили под своей крышей мятежного проповедника свободы из «Бури и натиска» в последние годы его жизни. Увидел здесь простой стол с бронзовым подсвечником и огарком свечи, небольшой старинный глобус, на который часто смотрел Шиллер, строя несбывшиеся планы дальних морских путешествий, в грезах, как наяву, под шквалом соленого ветра встречавший флибустьеров и шептавший:

Я слышу, как бескрайняя стихия
Волной накатной бьется об скалу...

Шесть дней пробыл Толстой в Веймаре и его окрестностях, слушал здесь «Волшебную флейту» Моцарта, которой дирижировал Лист, размышлял о Боге, о бессмертии, об «эпохе гениев». В гостиных русского посланника фон Мальтица, который был в душе поэтом, «любителем Шиллера и Гёте» и гофмаршала Бодье-Марконе, Толстой слушал рассказы не только о Гёте, Шиллере, но и о Гердере, Виланде, об участниках «Бури и натиска», собиравшихся во дворце Анны Амалии, которая жила, по словам Гёте, «почитая дарования, принимая прекрасное, творя добро».

Место паломничества Гофмана и Шиллера было наполнено для Толстого атмосферой надзвездного счастья. Барочный Дрезден, город «поэтических гофмановских ночей», одарил его «совершенно неожиданным» знакомством с Екатериной Львовой, «красивой, умной, честной и милой натурой». Она, «Катенька», «очень нравилась» ему, он ждал от нее хотя бы иллюзии любви. От этих ожиданий он находился в «наиудобнейшем настроении духа». Однако «что-то» мешало любви. Может быть, его излишняя «робость», а может, его вечная спутница — «рефлексия». Не помогли рождению любви ни музыка Мендельсона, ни театр, ни опера, ни даже «обедня» и «всенощная». Поэтому остался привкус «сосущего

чувства недовольства». Но спасла уже упоминавшаяся нами выше Мадонна, представленная в галерее, куда он не раз, по собственному признанию, «бегал».

Берлин оставил Толстого индифферентным ко всему: к университету, к королевскому театру, к музеям, к пергамонским раритетам. Это, пожалуй, единственный город, не удостоенный излюбленного им эпитета — «милый». «Луч света блеснул» с неожиданной стороны: от встречи с «преlestнейшим человеком» — Ауэрбахом, сопровождаемым в дневниковых записях пятнадцатью восклицательными знаками. Знакомство с этим человеком убедило Толстого в том, что дух человечества выше всего на свете. Он был в полном восторге от разговоров с ним о музыке, как о «необязывающем наслаждении».

Путешествие по Германии умиротворило мятежную душу Толстого: помирило с Тургеневым, приблизило к пониманию Гёте («Вот Вы и “Фауста” полюбили»), вернуло к искусству, одарило сонмом воспоминаний, похожих то на Монблан, то на муравейную кочку. К старости оставалось только одно: отрефлексировать увиденное. Припоминалось многое: встречи с Фребелем, с «ласковым» Ауэрбахом, стариком-немцем Фридрихом (Федором) Рёсселем. Просматривая коллекции открыток из Дрезденской галереи, он порой восклицал: «“Сикстинская мадонна” — ничего хорошего, а “Мадонна дела Седиа” — прелесть, как и портрет Рубенса “Францисканец”!» Особенно любил вспоминать Германию времен расцвета, когда она представляла собой множество самостоятельных культурных центров. Огорчался, что на переломе двух веков «нет ни одного выдающегося немца», что есть только мелкие критики и беллетристы.

Помнилось, конечно, больше хорошее. Он не разделял точку зрения Шопенгауэра, что воспоминания — «дурны». Для ностальгирующего Толстого в воспоминаниях прошедшее было лучше настоящего. Не поэтому ли ему была близка мысль Лихтенберга о том, что «печаль ушедшая в воспоминаниях приятней»? С годами его память о Германии приобретала эффектные очертания могучего Монблана, стройного, гордого, но доступного.

Толстого привел в восторг Вечный город Рим, именно здесь со всей полнотой он «воспринял красоту античной скульптуры». Писателя чрезвычайно заинтересовали раскопки в Помпее. Рим стал для него «возвращением к искусству». Он обедал с художниками в знаменитом *Cafe Greco*, где бывал Гоголь, посещал мастерские французских и испанских художников, бродил среди античных руин. В старости говорил, что если и можно было бы где-нибудь жить, кроме России, то только там, в Вечном городе.

Из Парижа, названного им «Содомом и Гоморрой», Толстой по «скучной железной дороге» поехал в Швейцарию, которую почти всю прошел пешком, повторив маршруты Руссо. Часто встречался с Александрин, в которую был готов влюбиться. На пароходе отправился в Кларан. Много читал Прудона, а также «гордые и ловкие» сочинения А. С. Хомякова, слушал рассказы М. И. Пущина о Пушкине. Здесь, как он выражался, его «душила» «любовь плотская и идеальная».

Пройдя горный перевал Мон-Сенис, Толстой прибыл в Северную Италию, где повидался с Василием Боткиным и Александром Дружининым. Путешествовал с друзьями-литераторами по Аостской долине и горным массивам, ночуя в деревушках и осматривая древние монастыри и церкви, водопад *Pissevache*.

В Англии писатель испытал «отвращение к цивилизации», в Лондоне посетил Кенсингтонский музей — «лучшее высшее образовательное учреждение», слушал речь премьер-министра в палате общин и лекцию Ч. Диккенса. Здесь он каждый день встречался с Герценом и вернулся в Россию с огромным количеством впечатлений и знаний.

Вряд ли можно найти другого художника, который бы столь успешно ассимилировал традиции мировой культуры, при этом оставаясь глубоко национальным. Но истинное счастье он испытал все же в путешествиях по России.

Толстой всегда любил географические карты, они до сих пор хранятся в его мемориальной библиотеке. Интерес к ним передался ему от деда, князя Н. С. Волконского, прапрадеда графа П. А. Толстого. Не от него

ли и страсть к путешествиям?! Она начиналась с пристального изучения карт, планов, а те, в свою очередь, побуждали к движению, к победам над пространством. Вся его жизнь была опутана дорогами, словно «паутиной любви».

Бывало, что в милой Ясной ему порой не хватало воздуха. Тогда прогулки на Горелую поляну, в близлежащие Рудаково или Судаково давали ощущение полноты жизни. Иногда он совершал *особые* поездки, по памятным родовым местам, например в Никольское-Вяземское.

Старинное поместье раскинулось на берегах живописной речки Чернь. Со второй половины XVIII века оно принадлежало прадеду писателя секунд-майору в отставке Н. И. Горчакову. Красота Никольского настолько покорила писателя, что он запечатлел ее на страницах эпопеи «Война и мир». После этого Отрадное и Никольское стали почти синонимами.

О былой усадебной красоте напоминает здесь многое: церковь, построенная отцом писателя, тенистая аллея, посаженная самим Толстым, и великолепие здешних пейзажей. Он приезжал в Никольское, где всё казалось ему «прекрасным», особенно небольшой дом из пяти комнат: столовой, трех «жилых» и маленького кабинета с ведущим к нему огромным коридором. Правда, пришлось поставить перегородку, прибавив еще две комнаты: одну — для любимой тетеньки, а другую — для свояченицы Тани Берс.

Толстой не забывал навещать и в таинственное Покровское, имение сестры, расположенное на левом берегу Снежеди, в девяноста верстах от Ясной Поляны. Место это овеяно романтикой. 29 октября 1854 года из Спасского, находившегося рядом с Покровским, приехал Иван Тургенев. Он подружился с Марией Николаевной и стал здесь частым гостем. Они «играли в бильярд, раскладывали гранпасьянсы», слушали музыку и, конечно, читали романы. Тургенев считал сестру Толстого «грациозной», обаятельной, «одной из привлекательнейших существ», «милой, умной, простой — глаз бы не отвел», и, конечно, «был поражен в самое сердце», едва не влюбившись в нее. Переживания Тургенева на-

шли отражение в его «Фаусте», ставшем своеобразной «рыцарской данью» Марии Николаевне. Она стала прототипом Веры Ельцовой, героини повести.

Покровское до сих пор пропитано духом любви, пленительными загадками, странной туманной печалью. Здесь как бы навечно отпечаталась еще и «чистая, милая душа» тетеньки Т. А. Ергольской — натуры глубокой, страстной, любящей. Это крошечное имение, словно солнечный «зайчик», ослепляло всякий раз Льва Николаевича, наполняя поэтическим вдохновением. Неброская красота покровских пейзажей действовала гораздо сильнее самых потрясающих красот мира с их буйством красок и пиршеством запахов. «Холстомер», «Поликушка» своим появлением отчасти обязаны Покровскому. Здесь всё дышало стариной, и казалось, что порядок, заведенный тут, «никак невозможно нарушить».

Почти в тридцати верстах от Ясной Поляны находилось другое родовое имение Толстых — Пирогово, приобретенное еще отцом, Николаем Ильичом Толстым, в 1837 году. Оно считалось самым доходным, что называется, «золотым дном». Пирогово позднее разделили на два имения, Большое и Малое, находящиеся всего лишь в двух верстах друг от друга. Большое Пирогово принадлежало старшему брату Сергею Николаевичу, построившему здесь «замечательно красивой архитектуры» большой дом рядом с парком и лесом. В последние годы своей жизни он тут «мужественно лирствовал», здесь его часто навещал младший брат — Лев Толстой.

Малое Пирогово, с домом «над ключом», принадлежало сестре писателя, Марии Николаевне, а потом Марии Львовне, средней дочери Толстого. Романтический архитектурно-ландшафтный ансамбль был создан здесь во второй половине XIX века по проекту Льва Толстого. Он лично выбрал место для будущей усадьбы на самой высокой точке пироговского рельефа, вымерил аллеи и дороги, велел обсадить их березами и соснами. Дом из красного кирпича под зеленой крышей был наполнен запахом старинных книг и звуками музыки. Живописная пойма реки Упы, «чудные лошади», холмистый ландшафт, чистые горизонты — неповторимый

среднерусский пейзаж. Для полноты картины сейчас здесь не хватает только мельницы «о пяти поставах» да шумных ярмарок. Малое Пирогово — царство вкуса, разумность комфорта, поэзия частной жизни, культ памяти рода Толстых. Усадьба, состоявшая из господского дома, многочисленных хозяйственных построек, сада и парка, была на редкость компактной. Толстой часто бывал в этих местах, где испытывал «молодую веселость», рожденную охотничьими страстями, и наслаждался особенной «тишиной, уютом и свободой для писания».

Не было дня, чтобы Толстой не ездил по старой екатерининской дороге к железнодорожной станции Козлова Засека за почтой — газетами, бандеролями, письмами, адресованными «в Ясную Поляну, Красную Поляну, Длинную Поляну, Козлов». Часто он ездил к Ваныкинским дачам, чтобы снять дачу для своих знакомых. Как-то он узнал, что сдается «Ваныкина дом, где Крамской жил», но цена показалась ему слишком уж высокой, хотя комнат было здесь более пятнадцати, но «низ очень сыр», и потому «дом не стоил оплаты в двести рублей». Дневники Толстого пестрят подобными записями: «пошел гулять на Козловку, Ваныкино и домой».

Одним из любимых и длинных маршрутов — около двадцати верст — была ближайшая станция Рвы, а также прогулка в усадьбу Судаково, расположенную в шести верстах от Ясной Поляны и когда-то принадлежавшую трем сестрам Арсеньевым, в одну из которых, Валерию, Толстой был влюблен. Но, пожалуй, самым «бодрящим» путешествием была, наверное, поездка в любимое Овсянниково, где жила его единомышленница и большой друг Мария Александровна Шмидт, а впоследствии этой землей владела старшая дочь Татьяна Толстая. Эти места Толстой посетил 27 октября 1910 года, за день до своего ухода из Ясной Поляны, словно прощался с дорогими сердцу пейзажами.

Благодать нисходила на него во время таких прогулок по пустынным полевым дорогам и полям. Он очаровывался мягкостью и приветливостью родных пейзажей. Казалось, здесь не было ничего особенного, эффектного, но «свету Божьему тут было много просторнее». Толстой говорил своим близким, что хотел бы

жить и умереть как простой странник — в пути. Маршруты Льва Толстого по окрестностям Ясной Поляны были самыми разнообразными: Телятинки, Грецовка, Озерки, Горюшино, Казначеевка, Деминка, Рудаково, Бабурино... Толстой хорошо знал все сельские храмы вокруг Ясной Поляны — от Кочаковской церкви или церкви в Мясоедове конца XVII века до церкви Рождества Богородицы, сооруженной в 1864 году в Пирогове. Небольшие деревеньки, затерявшиеся в огромной лесостепи, наполняли нежностью сердце Толстого. Путешествуя по этим местам, он неизменно ощущал пропасть, существующую между городом и деревней. Хаос города делал его рассеянным, покой полей позволял сосредоточиться.

Урочища, как в окрестностях Ясной, так и за ее чертой — в Пироговском, Никольском, Груманте, Покровском — лесные поляны, поросшие густым кустарником, глухие балки, дубовые и березовые рощи, овраги («верхи»), речки с причудливыми поворотами — Ясенка, Кочак или Воронка, — также вызывали у Толстого самые радостные чувства и нашли отражение в его бессмертных текстах.

Версты дорог невидимой паутиной опутывали его, превращая в своего вечного зачарованного пленника. Свой жизненный путь он прошел неутомимо, доказав еще раз, что дорогу осилит только идущий. Близкие утверждали, что если бы Лев Николаевич сидел на одном месте, никуда не выезжая, то прожил бы сто лет. Софья Андреевна предрекала, что он умрет в овраге. Но неподвижность, статичность были не в его характере, он любил движение, энергию, поэзию путешествия, видя в этом лучший способ продления жизни. Словом, те гипотетические восемнадцать лет он променял на путешествия. Как считал мудрец Саади, лучше ходить босиком, чем в обуви узкой, лучше терпеть все невзгоды пути, чем сидеть дома! Лев Николаевич не грустил об ушедшем, к счастью, не потерянном для него времени, ибо время — это не то, что ушло, а то, что запомнилось.

С появлением железной дороги путешествия стали более доступными, демократичными. Бег поездов,

блеск рельсов, клубы пара, лязг железа, мелькающие лица на перроне, ускользающие полустанки, похожие друг на друга словно близнецы... Чугунка обогнала знаменитую гоголевскую «тройку». Когда-то оседлость была необходимой потребностью. Каждый имел свой приход, свой неизменный круг родных, друзей, знакомых, свои предания, свои привычки. Железная дорога все это изменила. Как подметил Владимир Соллогуб: «Теперь никому уже дома не сидится. Жизнь не прививается больше к почве, а шмыгает как угорелая из угла в угол. Семейственность раздробляется и кочует по постоялым дворам».

Русский поезд состоял из нескольких сцепленных вагонов, сообщавшихся между собой посредством дверей. Каждый вагон напоминал квартиру. Благодаря печам, наполненным дровами, в вагоне поддерживалась 16-градусная температура. Вагон делился на два помещения: вдоль стен первого размещался широкий диван, предназначенный для тех, кто хочет спать, а для тех, кто привык путешествовать сидя, мягкое обитое кресло украшало интерьер второго помещения. Получался «дом на колесах».

Тяготы путешествия благодаря комфорту исчезали сами собой. С точки зрения бывалого путешественника, в таком вагоне было гораздо удобнее ехать, нежели в карете. Больше свободы передвижения. К тому же русские поезда, как было отмечено выше, отапливались не каменным углем, как в Западной Европе, а дровами. Все вместе взятое дарило ощущение удобства, ускоренного движения к цели.

В толстовские времена вагоны окрашивались в разные цвета в зависимости от класса и уровня обслуживания. Так, синие вагоны с бархатными креслами, в которых ездили особо респектабельные персоны, подобные герою Толстого Нехлюдову, относились к первому классу, желтые — ко второму, зеленые — к третьему. Толстой говорил, что ведомство путей сообщения принадлежит дьяволу: «Где нет железных дорог, там люди меньше теряют времени в пути, чем там, где есть железные дороги, потому что здесь народ ездит без надобности. Это приучает к безделью». Однако не все так

думали. «Я с детства уверовал в прогресс... Расчетливость и справедливость говорят мне, что в электричестве и паре любви к человеку больше, чем в целомудрии и в воздержании от мяса», — писал Антон Чехов.

Протяженность железнодорожных путей за короткие сроки выросла втрое, и Россия к концу 1870-х годов вышла на второе после Америки место в мире. В тоске вокзалов, в зимних поездах и семафорах, словом, во всем, что имело отношение к «стальным путям», ощущалась некая вековая сущность российской жизни. Толстому казалось, что железная дорога слишком шумно ворвалась в певучую усадебную тишину. «Нить железная» загудела рядом с Ясной Поляной, нарушив «сон пустынный».

Дневники Толстого часто пестрят такими заметками: «опоздал на чугунку», «железная дорога к путешествию, что бордель к любви. Так же удобно, но так же нечеловечески машинально и убийственно однообразно» и т. д. Он считал, что с появлением железной дороги все изменилось: «...едешь несравненно скорей, с гораздо большими удобствами, но вся поэзия путешествия исчезла». Вместе с тем парадоксальный Толстой называл путешествие по железной дороге наслаждением и оценивал это средство передвижения как «дешевое чрезвычайно и удобное», «не успеешь оглянуться и уже дома. Польза одна». «Мерзость биржи, железной дороги и т. п. кажется нам развратом, потому что ново и трудно», — убеждал себя Толстой в очевидном. Образ железной дороги стал для Толстого символом цивилизации, угрозой усадебному существованию. В реве паровоза ему чудился голос самой судьбы: «Мне отмщение, и Аз воздам». О «чугунке» много размышляли его герои, которым он передал свою «боязнь вагонов».

Со станции Козлова Засека Толстой ездил в Москву, в Крекшино, в Кочеты. 5 ноября 1867 года через эту станцию прошел первый поезд. Некоторые поезда дальнего следования останавливались в Козловке на одну минуту, другие — на 30 минут. Курсировали также и дачные составы.

С появлением железной дороги жизнь в Козловке «покатилась, словно по рельсам». Живописная мест-

ность, окруженная засечными лесами, привлекала множество людей, обустривающихся летом в дачных двухэтажных домах с мезонинами, построенных тульскими купцами Ваныкиным и Кобяковым. Красивая местность пришлась по вкусу живописцам-передвижникам — Крамскому, Мясоедову, Шишкину. Художники часто иронизировали, говорили, что здесь они бы легко могли превратиться из портретистов в пейзажистов.

Лев Толстой изучил окрестности Козловки досконально, приезжал сюда верхом, ходил пешком, наслаждался «мягкой и гладкой дорогой, такой, что читать можно». Гости писателя, прогуливаясь вместе с ним, восхищались красотой этих мест, утверждая, что нет ничего прекраснее «ни в России, ни в Финляндии, ни на Кавказе».

Он приезжал на станцию, чтобы встретить гостей, или забрать корреспонденцию, или позвонить по телефону.

Железная дорога, проложенная вблизи Ясной Поляны, стала своеобразным мостом над бесчисленными оврагами, так часто разъединявшими Толстого и Тургенева. Дачные поезда со свистом и шипением проносились мимо меланхолических пейзажей. В почти пустых вагонах первого и второго классов редкие пассажиры, по словам очевидцев, порой падали с диванов, а вагоны третьего класса представляли собой скопище мешков, полушубков, сундуков, людей, спящих в нелепых позах.

Дороги Толстого и Тургенева, как мы знаем, не раз пересекались в Петербурге, Баден-Бадене, Париже, Дижоне, но чаще всего в родном пространстве, которое порой сближало, а порой и разводило их в разные стороны. Во взаимоотношениях двух писателей много странного, предначертанного, фатального. «Между нами овраг», — как-то обронил Лев Толстой, и эта фраза стала не только роковой метафорой, но и досадной реальностью. Только с Толстым, «единственным человеком», у Тургенева «случились недоразумения» из-за того, что «слишком врозь глядели», «слишком иначе построены», «созданы противоположными полюсами», «из разной глины слеплены», «слишком разные стихии». Судя по всему, обоими управлял «антагонизм воззрений».

Идеальными друзьями их никак не назовешь, но и случайными тоже. Произнеся: «Здравствуйте», каждому сразу же хотелось ответить: «Прощайте — без свидания». Это при том, что оба дорожили друг другом, обоюдно радовались успехам, но находясь непременно «в отдалении», «любясь и рукоплеща — издали». Драматизм «несчастной истории с Толстым» несколько преувеличен и надуман. «Умный и даровитый» Тургенев делал из Толстого «другого человека». Эти слова дорогого стоят, поскольку принадлежат самому Толстому — «самому неудобному для жизни с другими людьми» (В. П. Боткин). Трудно объяснить, почему между ними все так сложилось. В их отношениях было много «папиросочного тумана», возбуждения, подмены дружбы величием. Невзирая на неоднократные категоричные заявления: «никогда с ним не сойдусь», ни тот ни другой этого не выдерживал и «забегал со всех сторон, чтобы сойтись». «Овраг» преодолевался совместными силами и становился благодаря этому «едва заметной щелью». Толстой и Тургенев... Толстой, словно молодой олень, пробегал огромные расстояния, преодолевая их с «буйволообразным» упорством. Тургенев больше наслаждался остановками, «передышками». Встречаясь на «перекрестках дорог», они «не ладили» друг с другом, но снова «сходились», чтобы идти «рука об руку» дальше, потом вновь «разбегались» с мыслью о том, что «дорог на свете много: друг другу мешать не захотим».

Дорог оказалось слишком много, особенно у Тургенева. Такой образ жизни казался Толстому «притворством простоты»: «Нельзя устроить жизнь необыкновенно» вне своего «гнезда».

Тем не менее жизненная колея настойчиво соединяла их, невольно напоминая о соседстве. Все недоразумения, возникавшие за границей, улетучивались в России, где они снова встречались как «хорошие приятели» и мечтали «оставаться таковыми, покуда Бог продлит их жизни». Дороги разъединяли соседей, а усадьбы пристанища, призывавшие к «благообразию» жизни, соединяли. Толстой считал, что Тургенева «надо показывать в деревне: он там совсем другой, более близкий, хороший человек». Ясная Поляна и Спасское-Луто-

виново сближали, соединяли, примиряли, объясняли им друг друга.

Как-то Толстой побывал в Спасском-Лутовинове, и «дом показал» ему «корни» бытия Тургенева, «многое объяснил» и «поэтому примирил с ним». Деревянный бледно-лиловый дом, похожий на цветок сирени, с мезонином и балконом, с каменной галереей «бланжевого цвета», с длинной террасой, с резными перилами, казался большим и пустынным. Потаенные углы многочисленных комнат — гостиных, столовой, кабинета, библиотеки, спальни, «казино» с красивой старинной мебелью из красного дерева и карельской березы, обитой зеленым бархатом — слабо освещаемые «бедными лампами», были наполнены суевериями отца и страхами сына. Темный, пустой дом был подобен бездне. За эту таинственность любил «странный» и «ночной» Тургенев свое родовое гнездо, часто себя им «балуя».

Сколь различны и контрастны облики Спасского-Лутовинова и Ясной Поляны! Камерный полумрак одной усадьбы и эпический размах другой. Совсем разные масштабы и «подтексты». Только в усадьбе наступала долгожданная «дружелюбная тишина», приносящая «много добра», «просветлявшая» и освобождавшая от пристрастий и предубеждений. Здесь мгновенно оба «умнели», особенно когда поднимались на холм, с которого открывалась впечатляющая картина — синеватая кромка леса с силуэтом белой церкви в лучах ласкового солнечного света. Прогуливаясь по старому парку, они порой спорили о том, какой парк красивее — яснополянский или спасский? Каждый оставался приверженцем своего парка, считая его уникальным.

Тургенев всегда стремился в любимую усадьбу, считал, что если бы он здесь жил постоянно, то, вероятно, «написал бы еще многое!». Ему, как он выражался, творить было «хорошо, только живя в русской деревне», где и воздух-то как будто «полон мыслей».

Толстой, путешествуя, ощущал некую мимолетность бытия, одаривавшего его своей легкостью и мудростью. Все это превращало его в вечного странника, не знавшего плохой погоды: он отправлялся в путешествия в любое время года, начиная с «весны света» и заканчивая

ненастной осенней распутицей. Ждать хорошей погоды казалось ему нелепой причудой. Странствовать довелось и на почтовых поездах, и на пароходах, и в дилижансах, не удалось лишь полетать на аэроплане. Как правило, Толстой предпочитал дешевые маршруты, требующие минимальных затрат. Так, для путешествий по Европе нужно было, по его подсчетам, всего лишь 300 рублей. Жизнь во всех городах, кроме Москвы и Лондона, казалась ему недорогой.

Толстой-путешественник опроверг восточную мудрость «не верь пилигриму», доказав, что быть странником полезно и необходимо. Никто так не умел путешествовать, как он, никто так не восхищался природой, памятниками, никто так не запечатлел в текстах свои мерцающие впечатления, никто так не наслаждался горами, равнинами, лесами, никто так не воспел красоту божьего мира. Он, словно Колумб, отправлялся в странствия исключительно для того, чтобы заново открывать мир прекрасного. Никогда не довольствовался малым. Для постижения великого требовалось движение, чтобы открыть «всехнюю» красоту, которая когда-то покорила его самого.

Глава 17

«Стенограмма чувств»

Музыку Толстой считал некой демонической силой, сверхчувственной гениальной субстанцией. Она вдохновляла, стимулировала его к творчеству. Толстой любил «тапотировать» за роялем перед тем, как сесть за письменный стол. Но музыка была нежелательной гостьей для Толстого, когда он работал в своем кабинете, а в зале кто-нибудь из домашних музицировал на рояле. Тогда он непременно плотно прикрывал двери кабинета, чтобы музыка не мешала ему. Ведь стоило ему ее услышать, как вся работа валилась из рук, все шло насмарку. Поняв это, близкие перестали музицировать, когда он писал.

«Что хочет от меня эта музыка?» — не раз задавался таким сакраментальным вопросом Лев Николаевич.

Любовь к ней передалась ему от предков — от деда и матери, больших поклонников этого искусства. Талантливым интерпретатором многих музыкальных сочинений была сестра писателя — Мария. Сам Толстой играл не только на рояле, но и на флейте. Известно, что на музыкальных вечерах, устраиваемых его старинным другом Столыпиным, отцом будущего премьер-министра, он упивался Бетховеном. Знакомство же с известным скрипачом Георгом Кизеветтером оказалось для Льва Николаевича событием знаковым. Этот «гениальный скрипач и несчастный человек» стал прототипом толстовского рассказа «Альберт», в котором автор изобразил власть музыки над людьми. Кизеветтер, «гениальный юродивый», считавшийся окружающими «пустым», не сделавший себе имени при жизни, абсолютно всеми забытый, был воскрешен силой толстовского гения в образе героя рассказа: «Альберт в это время, не обращая ни на кого внимания, прижав скрипку к плечу, медленно ходил вдоль фортепьяно и настраивал ее... Настроив скрипку, он бойко взял аккорд и, вскинув голову, обратился к пианисту, приготовившемуся аккомпанировать. — “Melancholie C-dur!” — сказал он, с повелительным жестом обращаясь к пианисту...

Звуки темы свободно, изящно полились вслед за первым, каким-то неожиданно-ясным и успокоительным светом, вдруг озаряя внутренний мир каждого слушателя. Ни один ложный или неумеренный звук не нарушил покорность внимающих, все звуки были ясны, изящны и значительны. Все молча, с трепетом надежды следили за развитием их. Из состояния скуки, шумного рассеяния и душевного сна, в котором находились эти люди, они вдруг незаметно перенесены были в совершенно другой, забытый ими мир. То в душе их возникало чувство тихого созерцания прошедшего, то страстные воспоминания чего-то счастливого, то безграничной потребности власти и блеска, то чувства покорности, неудовлетворенной любви и грусти. То грустно-нежные, то порывисто-отчаянные звуки, свободно перемешиваясь между собой, лились и лились друг за другом так изящно, так сильно и так бессознательно, что не звуки слышны были, а сам собой лился в

душу каждого какой-то прекрасный поток давно знакомой, но в первый раз высказанной поэзии. Альберт с каждой нотой вырастал все выше и выше. Он далеко не был уродлив или странен. Прижав подбородком скрипку и с выражением страстного внимания прислушиваясь к своим звукам, он судорожно передвигал ногами... Лицо сияло непрерывной, восторженной радостью; глаза горели светлым блеском... Лицо освещалось улыбкой кроткого блаженства... и блестящий взгляд, которым он окидывал комнату, сиял гордостью, величием, сознанием власти».

Лев Николаевич был тонким ценителем музыки. Он посещал концерты во время своих зарубежных поездок и считал, что французы — лучшие в мире артисты, что Бетховена они играют, «как боги». В Италии ему особенно понравился «Севильский цирюльник» Россини, и он тогда назвал эту оперу своей любимой. Оперетту Толстой не воспринял, он нашел это «истинно французским делом: смешно. Комизм добродушный, без рефлексии». Лев Николаевич любил музыку Глинки, Мендельсона, Верди, Шопена, Гайдна. А впечатления от исполнения Т. А. Ергольской произведений Гайдна, Моцарта, Фильде, Дюссеса и Бетховена нашли свое отражение в «Детстве» и «Отрочестве» — помните, как он описывал игру матери Николеньки?

В 1858 году Толстой занялся организацией музыкального общества, целью которого должно было стать публичное исполнение произведений выдающихся композиторов. В то время он познакомился с Николаем Рубинштейном, посещал его музыкальные вечера в доме Киреева. Впоследствии эта идея была реализована братьями Рубинштейнами, основавшими императорское музыкальное общество. Приезжая в Ясную Поляну, Толстой с удовольствием проделывал такие опыты: «призывал под окно (соловьев. — Н. Н.) сикстами на фортепиано». Вряд ли бы Толстой так полюбил Веймар, если бы не послушал там свою любимую «Волшебную флейту» Моцарта, которой дирижировал сам Лист.

В Ясной Поляне Лев Николаевич учил детей церковному пению, сам пел на клиросе басом и, по воспоминаниям ученика Морозова, голос у него был хороший,

сильный. В кремлевской квартире Берсов он не раз просил сыграть Софью Андреевну на рояле, а Татьяна вспоминала, как играл он сам — нельзя было устоять на месте, в пляс пустились все присутствовавшие. Нередко Лев Николаевич брал в руки гитару и говорил: «Тряхну-ка я трепачка больной рукой». И добавлял: «Все скучно, кроме пения Тани». Музыка Шопена до слез «осчастливила» его, о чем он не раз писал в своем дневнике.

Музыка не только вдохновляла его на творчество, но и становилась персонажем его произведений. Так, в «Войне и мире» «Барыня» повторялась сто раз. Наташа Ростова прекрасно пела, играла на арфе и на гитаре, любила предаваться воспоминаниям, слушая ноктюрн. В доме Ростовых старинный романс «Ключ» исполняли в итальянском стиле.

«Чем чище и счастливее прошедшее человека, тем более он любит свои воспоминания и тем сильнее чувствует музыку», — считал писатель. Он не был виртуозным музыкантом. Он сравнивал музыку с горой, основание которой очень широкое, — это слой людей, способных понимать народную музыку. А вершина горы — элитарная музыка, доступная лишь избранным.

В молодости Толстой разработал для себя правила: 1) он должен был ежедневно играть все 24 гаммы; 2) все аккорды, арпеджио на две октавы; 3) все обращения. Будучи студентом, он с приятелем Зыбиным написал вальс в «ланнеровском роде». Потом этот вальс обрабатывали Танеев с Гольденвейзером. Толстой стремился достичь хотя бы средней степени совершенства в музыке. В журнале ежедневных занятий он отмечал регулярные занятия музыкой. В Ясную Поляну писатель привез музыканта Рудольфа, с тем чтобы брать у него уроки музыки. Рудольф этот был талантливым человеком, но довольно легкомысленным и пустяшным, принадлежал к божемному типу людей. Тогда Толстой, как и вся дворянская молодежь, предпочитал классической музыке цыганские песни. Шопен, Моцарт, Бетховен, полагал Толстой в пору своего увлечения цыганами, — это выдумка изощренных людей. Подобное искусство скучно для настоящего уха. Бывало, из Москвы в Тулу специально ездили, чтобы послушать прославленных солистов, цы-

ганок Фешу и Машу. Считалось, что только в Туле умели петь настоящие старинные цыганские песни.

«Во мне было что-то вроде таланта, потому что часто музыка делала на меня до слез сильное впечатление, и те вещи, которые мне нравились, я кое-как умел сам без нот отыскивать на фортепиано, так что ежели бы тогда кто-нибудь научил меня смотреть на музыку как на цель... может быть, я сделался бы действительно порядочным музыкантом», — говорил Толстой. И хотя музыкант из него не вышел, музыкальная стихия присутствует почти во всех его произведениях, начиная с ранних — «Люцерна», «Альберта» и заканчивая «Крейцеровой сонатой». И разве не голос самого Толстого слышится, например, в репликах Феди Протасова в «Живом трупе» — страстного поклонника цыганского пения: «Вот это она. Вот это она. Удивительно. И где же делается то все, что тут высказано? Ах, хорошо! И зачем может человек доходить до этого восторга, а нельзя продолжать его?»

Толстовское определение музыки как «стенограммы чувств» можно идентифицировать с рассуждениями Шопенгауэра об этом виде искусства, которые писатель любил цитировать в частных беседах. Однажды, когда замечательный пианист А. Б. Гольденвейзер, гостивший в Ясной Поляне, сел за беккеровский рояль, стоявший в зале, чтобы что-то сыграть, Толстой напомнил ему слова Шопенгауэра: «Когда слушаешь музыку, потом остается еще что-то будто недоговоренное, неудовлетворяющее». И добавил: «И это совершенно верно». В своих произведениях Лев Николаевич пытался «договорить» обо всех тех чувствах, которые в нем рождались при звуках музыки. И тогда возникало его концептуальное представление о музыке: «Это степь, это десятый век, это не свобода, а воля». Эта формула, озвученная в пьесе «Живой труп» Федей Протасовым в связи с пением цыган, была выстрадана автором, мучительно искавшим ответ на вопрос: что такое музыка? И снова помощь пришла от Шопенгауэра, его теории музыки, в которой утверждалось, что этот вид искусства есть воплощение самой воли, прямо воздействует на нее, то есть на чувства, страсти и аффекты. Концепцию музыки, предло-

женную немецким философом, Толстой представил в своих сочинениях.

Однако музыка для хозяина Ясной Поляны была не метафизической отвлеченностью, а средством общения с близкими и гостями. В его доме постоянно организовывались музыкальные вечера, инициаторами которых были сам Толстой, его жена, а также А. Б. Гольденвейзер. Здесь не раз играл гениальный скрипач Нагорнов. Однажды он исполнил в Ясной Поляне «Крейцерову сонату» Бетховена и произвел на слушателей такое сильное эротическое впечатление, что впоследствии послужил прообразом Трухачевского, героя толстовской «Крейцеровой сонаты».

«Домашние» вкусы Толстого имели мало общего с его официальными высказываниями. В кругу близких он был естественным и открытым. Его музыкальные впечатления, записанные доктором Маковицким по «горячим следам», напоминают поток эмоций. Однажды Гольденвейзер спросил Льва Николаевича, нравится ли ему Григ. «Очень искусственно. Сначала мелодично, а потом однообразно, — ответил тот. — Нет ощущения, что это вырвалось из сердца, как, например, у Моцарта. Ведь как у Гайдна все просто и ясно! У Моцарта уже есть то, что в такой сильной страшной степени выражено у Бетховена — драматизм. В этом ему подражает норвежец и делает потому гадость. У всех новых композиторов, включая Грига, драматизм доведен до скуки. Какое отклонение от настоящей музыки! Отдыхаешь там, где присутствует мелодия, например, народная песня».

Как-то певица Фере пела романсы, а Гольденвейзер ей аккомпанировал. Лев Николаевич к ее пению остался равнодушен. Ученые певцы — все сухие, считал писатель, не трогают слушателя, а простое пение — напротив. И вспомнил, как на днях пели «ясенские» девушки, как они подпевали «двум гармошкам» и как хорошо у них это получалось. Когда играл Гольденвейзер, Толстой считал, что он «переслащивал», ощущал в его игре некоего «господина». А в народе, считал он, есть чувство меры, есть точка — то есть понятно, «сколько надо».

Пение Шаляпина, от которого были в восторге Софья Андреевна и Александра Львовна, Лев Николаевич

называл «ни женским, ни мужским». Оно «не действовало» на писателя. Когда речь зашла о шалыпинских гонорах в 45 тысяч рублей, Толстой заявил, что это сверхнеприличное вознаграждение. Ведь крестьяне за свой тяжелый труд получают только тысячную часть такого гонора.

Когда в Ясной Поляне появился граммофон, подаренный литератором П. А. Сергеенко, Лев Николаевич не воспринял всерьез эту новинку. Его не трогала музыка, доносившаяся из граммофона. Но однажды Дмитрий Чертков привез Толстым свой граммофон. Таких они еще не видели. Слушали Карузо, «Фауста» Гуно и *Ave Maria*, потом — Варю Панину. Писатель сиял и восклицал: «Хорошо, как прекрасно!» Когда прокрутили эти пластинки, Толстой стал кричать: «Бис, бис, повторить!» И в яснополянской зале зазвучали голоса «Хора Архангельского», песни «Казнь Стеньки Разина», «Камаринская». Слушая, писатель с улыбкой говорил: «Вот, пускай Бетховен это напишет! Никакой Бетховен не напишет — простота, веселость, бодрость». По его просьбе поставили русскую плясовую в исполнении английского оркестра. После этого Толстой снова попросил повторить Карузо, «Хор Архангельского», «Камаринскую», каждый раз восклицая: «Как это хорошо, прелестно!» Слушая Варю Панину, хлопал в ладоши: «Какой чудесный голос», «Как прекрасно, еще раз!», «Варя Панина — это первый сорт, народный тон, от которого древностью веет». В ее исполнении ему только не понравились «Хризантемы» из-за того, что эта вещь не цыганская и не народная.

Секретарь Толстого вспоминал, что «иногда серьезный разговор за вечерним чаем сменялся веселыми шутками, смехом, музыкой и даже граммофоном, который Лев Николаевич недолюбливал». Тем не менее у писателя были любимые пластинки, в частности балабачника Трояновского, под музыку которого ему хотелось плясать. Порой Толстой играл в шахматы и слушал пластинки, притопывая ногами и хлопая в ладоши, так что слышно было во всем доме.

Многим в Ясной Поляне запомнился визит замечательной клавесинистки Ванды Ландовской. Она играла музыку Джона Булла, английского композитора XVI—

XVII веков. Лев Николаевич назвал его пьесу «Охота» «здоровой, энергичной», которую «даже прислуга поняла бы». А Ванде сказал, что она доставляет своей игрой несказанную радость, очень чистую, а не романическую. Он нашел ее исполнение «незаученным», высоко оценил клавишин, который ему показался много «понятнее», чем фортепиано.

Сознавая гипнотизирующую роль музыки, писатель говорил, что это опасно, когда «всякий, кто хочет, гипнотизировал бы один другого или многих и потом бы сделал с ними, что хочет». Толстовский ригоризм, кажется, не знает границ в «Крейцеровой сонате», где он обвиняет музыку, в которой растворяется, обезличивается личность. По мнению Толстого, музыка снимает с человека всякую ответственность, переносит его «по ту сторону добра и зла». И потому он объявил ее аморальной. Так и хочется возразить писателю: «О, моралист, не будь так строг!»

Суждения Льва Николаевича о музыке парадоксальны и противоречивы. Отношение к тому или иному композитору или музыканту во многом зависело от сиюминутного состояния. О Рубинштейне Толстой говорил, что публика слишком мало ценит его талант, что он последний из крупных композиторов, в котором удачно сочеталось старое и новое. После Рубинштейна, полагал он, в музыке начался спад, декадентство, ярким представителем которого стал Танеев, нередко бывавший в Ясной Поляне. Исполненные им композиции писатель так и «не понял». Моцарт, так «щедро швырявший жемчугами», по-прежнему звучит прекрасно. В бетховенских сонатах, к счастью для себя, он не услышал излишнего драматизма, столь характерного для творчества этого композитора, а услышал у него лишь одну «приятную мелодичность».

Лев Николаевич говорил, что музыка способна выразить весь спектр эмоций — восторг, печаль, воодушевление... Но только чувства, а не мысли, подчеркивал он.

В яснополянской зале зазвучала музыка в исполнении Эрдели, Могилевского и Пастернак, жены художника Леонида Осиповича Пастернака. Часто вечерами

Лев Николаевич играл в четыре руки с Софьей Андреевной. Они исполняли симфонии Гайдна, квинтеты Моцарта, «Венгерские танцы» Брамса, а Татьяна Львовна их превосходно насвистывала. Переплетенные ноты этих произведений лежат в зале яснополянского дома.

Танеев и Гольденвейзер на двух роялях играли Моцарта, Бетховена, Аренского, Мендельсона, Шуберта и Вебера.

Стучалось, что домашние концерты в Ясной Поляне могли сильно «растрепать» хозяина дома. Слушая музыку, писатель сильно переживал, расстраивался, плакал. Ни поэзия, ни живопись, ни скульптура не оказывали на него такого воздействия, как музыка.

Отношение к ней было подобно движению маятника, в основе которого лежала альтернатива — «музыка — мораль».

Глава 18

Сам себе врач

«Все болезни мои приносили мне явную моральную пользу: поэтому и за это благодарю Его», — размышлял Толстой в пору своей молодости. От чего в наибольшей степени зависело его «самостоянье» — от доброго духа или крепкого тела? Он не верил в формулу: в здоровом теле — здоровый дух. Физические силы и духовный рост относятся друг к другу, как основание к вершине конуса, — духовный рост совершается, когда физические силы слабеют. «Если бы какой-нибудь волшебник предложил мне молодость, я бы отказался», — сказал как-то Толстой. Некая бравада, звучащая в словах писателя, не затемняет главной мысли — только в «здоровом духе — здоровое тело». Тут душа как будто в зависимости от тела, но душа и в слабом теле может быть сильной. Источник этой силы конечно же в ней самой. Когда она слаба, то здоровое тело будет объедаться, распутничать. Тело не может повлиять на душу, а душа — наоборот, может влиять на тело, и она — первичнее. В этом и заключается различие между христианством и язычеством. К таким мыслям

пришел Толстой, прожив не один десяток лет. В хорошо знакомой каждому оппозиции душа—тело он предпочел первую составляющую. «Телесные слабости не указывают на старость, а духовное — какая тут старость, все молодеешь». Его няня говорила ему, что чем старше, тем все лучше, добрее становишься. И с возрастом Толстой все больше убеждался в ее правоте. «Духовное свободно только в здоровом теле», — повторял он не раз, когда болел.

— А разве в болезни духовное «я» не свободно? — возразил писателю В. Г. Чертков.

— Слабость, жар никогда не мешали, а вот страдания — да, — заключил Лев Николаевич.

Поразительная сила жизни, удивительная нестигаемость перед старостью. Как не вспомнить в этой связи цветок татарник, ставший для Толстого, автора «Хаджи-Мурата», символом человеческой стойкости.

Писатель был убежден, что существуют только два способа борьбы с болезнями. Первый заключается в закаливании. Для этого необходим, как он выражался, «гигиенический образ жизни». Второй способ состоит в том, чтобы, заболев, лечить болезнь. Медицина задействовала как раз этот способ. Первый путь, по мнению Толстого, хоть и был медленным, но зато надежным и результативным. Ему казалось, что болеть — дурно, но бояться болезни — много дурнее первого. В этой связи он частенько шутил: «Дайте мне лекарство от старости... Скоро ли оно появится?» На его вопрос однажды кто-то ответил, что наука открыла микроб старости. Толстой заметил на это с иронией: «Надо отыскать другого микроба, который пожирал бы первого».

Всем врачам, включая самых прославленных и авторитетных, подобных Ламане, в своих теориях и практиках опиравшимся исключительно на физиологию, Толстой рекомендовал вегетарианство. И говорил, что лучше он умрет дураком, чем поверит в силу физиологии. А еще уверял, что за последние тридцать лет не приобрел столько душевных сил, сколько получил их во время одной болезни, подарившей ему спокойствие, сравнимое только с нирваной.

Толстой неоднозначно относился к докторам, кото-

рые видели свою цель исключительно в излечении тела. По его мнению, цель их должна была заключаться в ином — как сберечь здоровье. Тело самого Льва Николаевича было «сколочено» на целое столетие. Крепкие кости, упругие мускулы, подлинно медвежья сила. Лежа на земле, молодой Толстой мог поднять одной рукой тяжелого солдата. Без разбега перепрыгивал через высокий барьер, плавал, как рыба, скакал на лошади, как казак, косил, как крестьянин. Каждый его мускул был напряжен и тверд, как толедский клинок. В нем не чувствовалось никакой бреши, прорыва, царапины, дефекта. Сплошной достаток и комплекс жизненных сил.

Когда маленькому Льву было десять лет, он захотел удивить своих близких, выпрыгнув из окна второго этажа. Прислуга обнаружила его лежащим на земле без сознания. Лишь по счастливой случайности мальчик не разбился, не сломал себе ничего, но получил сотрясение мозга, из-за чего впал в глубокий сон, продлившийся 18 часов. Очнулся он уже абсолютно здоровым.

В отрочестве Толстой оригинальным образом занялся воспитанием воли, для чего придумал мазохистский способ: запирался в чулане и стегал себя по голой спине веревкой до тех пор, пока не выступят слезы. В пятнадцать лет Лев тоже хотел удивлять: не отставая, пробежал пять верст за каретой, которую лошади «несли» рысью, а однажды бросился одетым в глубокий пруд, но, не доплыв до берега, стал тонуть. Его спасли деревенские бабы, убравшие поблизости сено: граблями вытащили его на берег.

О своем эпилептоидном состоянии Толстой рассказал в «Записках сумасшедшего»: «До 35 лет я жил, и ничего за мной заметно не было. Нечто только в первом детстве, до 10 лет, было со мной что-то похожее на теперешнее состояние, но и то, только припадками, а не так, как теперь, постоянно. В детстве находило оно на меня немножко иначе. А именно, вот так... Мне становится больно и страшно, и непонятно, и ужас, холодный ужас находит на меня...» Толстой долго рыдал после этого, и его никто не мог успокоить. Рыдания, отчаяние были началом припадков — истеричных, психогенных.

О потере воображения, внезапном исчезновении действительности, о конвульсиях, полном забытии писатель рассказал в «Детстве».

Рассуждения по поводу «первородности» толстовского здоровья представляются весьма мифологическими. К моменту поступления в Казанский университет писатель успел переболеть корью и оспой. Иных «заразительных и прилипчивых» болезней к этому времени он не имел. Но спустя три года одна из них все-таки «прилипла» к нему. Толстой заразился гонореей и целый месяц пролежал в университетской клинике. После проведенного курса лечения его здоровье было «по обыкновению ни хорошо, ни плохо». Казалось, заразная болезнь была «уничтожена» докторами, но писатель продолжал еще долго мучиться ее тяжелыми последствиями. Прежде всего беспокойство пациента вызывала методика ртутного лечения заболевания, от чего «весь рот и язык» Толстого покрылись мелкими ранками. Из-за этого он не мог ничего есть две недели и «не мог спать ни одного часа». Эта болезнь обошлась во всех смыслах писателю очень дорого. Она требовала денежных затрат на визиты к врачу, на аптеку. Каждый день приходилось, например, покупать вату, оплачивать услуги извозчика. Только одни лекарства обошлись Толстому в 20 рублей.

В Тифлисе он вскоре переболел чем-то вроде горячки: пришлось проваляться три недели в постели. Помогли воды, которые он активно принимал во время болезни в надежде быстро «оправиться». Осложняли его жизнь «геморрой и расширение жил». Он считал, что это произошло из-за его воздержания. Доктора, к которым писатель обращался за консультацией, были невеждами, страшными болтунами, но, самое главное, ничего не знавшими в своей профессии. Пользы от них никакой не было, только сплошное вранье. Толстой был вынужден заниматься самолечением, прибегнув к «испаренью», отчего «ужасно вспотел». Лучше от этой процедуры ему, кажется, не стало, но зато он хорошенько пропотел и после этого «стал мечтать».

С двадцати двух лет Толстой постоянно мучился из-за зубной боли. Его дневник испещрен подобного рода

записями: «Увеличился флюс, опять простудил зубы, которые не дают спать, целый день болели зубы». Зубная боль преследовала его повсюду — и в Москве, и в Бухаресте, и в Кишиневе, и в станице Старогладковской, и в Бирладе. Писатель посещал дантистов, предлагавших ему поменять зубы на «фальшивые». Но он не решался. В Лондоне у него «поломались» зубы. Старший брат советовал Толстому вставить искусственные, пока он находился за границей. Но Лев не послушал его, так и не вставил зубы, продолжая жить с четырьмя оставшимися.

Свое здоровье он характеризовал как стабильно «очень нехорошее». С ним непрерывно что-то случилось: то его мучил кровавый понос с резью, то неожиданно выпадала сыпь, то появлялась крапивная лихорадка, то одолевала изжога, то страх венерических заболеваний, называемых им «венерой, ртутием, золотом», то сердечные приливы, то боли в пояснице, горле, печени, то хандра, то кашель, то мигрень с рвотой, то боли и опухоль в паху, то лихорадка, то ревматизм, то геморрой, то насморк, то чесотка, вызванная клопами. У него постоянно что-нибудь болело. В общем, как сам он выражался, его здоровье было «так и сяк».

Толстой называл себя самым несчастным человеком, когда у него «вырос на глазу ячмень исполинского размера» и мучил так, что он лишился всех чувств. Плохо видел, плохо слышал, плохо нюхал и даже очень «поглупел». М. И. Пущин, брат декабриста И. И. Пущина, в одном из писем сделал следующую приписку: «Мы все очень довольны его страданиями, страданиями потешными и забавными: для своего ячменя он три раза посылал за доктором». Болезненные состояния приводили Толстого к таким мыслям, как, например, эта: «Боже, как я стар. Все мне скучно... Ничего не желаю, а готов тянуть, сколько могу, нерадостную лямку жизни. Только зачем, не знаю». Это сказано человеком, которому не было еще и тридцати лет.

На самом деле, он конечно же знал, что призван достичь очень многого. Только для этого было необходимо постоянно трудиться. Поэтому он отметал мысли о вдохновении, был убежден, что без терпения не

может быть никакого вдохновения. Даже в походных условиях Толстой много читал и писал. Не случайно, параллельно с регулярными отметками о своем здоровье, вплоть до мысли, что у него может провалиться нос, писатель думал и о том, что «история с носом» могла стать «благим толчком» для его интеллектуального и нравственного развития. Он составил для себя «Правила и предложения», среди которых значатся и такие: «Вставать рано — до солнца», «Быть воздержанным в питье и пище», «Блюсти порядок в физических и умственных занятиях», «Всегда трудиться» и т. д. В это время он написал «Историю моего детства», «Набег», «Севастополь в декабре месяце», «Севастополь в мае», «Севастополь в августе 1855 года» и др.

Лев Николаевич упорно сопротивлялся своим недугам. Он перестал употреблять кофе, бросил курить, отказался от вина и пива. Регулярно принимал минеральную «елизаветинскую» и «александровскую» воды, купался в нарзане, пускал кровь, ставил «сорок пиявок», пользовался общеукрепляющими средствами — сулемой, росным ладаном, имбирем, оперировался в области паха под хлороформом, посещал докторов.

Из-за плохого состояния здоровья в 27 лет Толстой был вынужден подать в отставку, преодолев таким образом и свой ложный стыд — «вернуться юнкером в Россию». В полученном им медицинском свидетельстве было отмечено следующее: «...телосложения среднего, сухощав, находясь во время военных действий против неприятеля на Кавказе и под Севастополем при бивачной жизни, подвергаясь влиянию сырой и холодной погоды, несколько раз был болен воспалением легких с ревматическим страданием в руках и ногах, при врачебном пособии и обильном кровопускании болезнь уничтожилась; кроме сего был одержим крымскою лихорадкой, после коей осталась отверделость печени, обнаруживающаяся тупой болью в правом боку с расстройствами пищеварения. В сентябре месяце текущего года (1856-го. — *Н. Н.*) возобновилось жестокое воспаление легких с поражением сердечной сумки, каковое болезненное состояние обнаружилось сильным жаром в теле, тяжким дыханием с стреляющей болью по пре-

имуществу в левом боку груди, кашлем, беспокойством, тоскою, обмороками и сухим треском, маскирующим дыхание; при принятом деятельном медицинском пособии, как то: обильном кровопусканием, пиявками и врачебными внутренними и наружными средствами, скоротечная его болезнь была побеждена, но осталось биение сердца, сопровождаемое одышкою, особенно ожесточающееся при возмущении и движении; сверх сего вследствие отверделости печени, оставшейся после крымской лихорадки, аппетит его слабый, пищеварение неправильное с упорными запорами, сопровождаемыми приливами крови к голове и кружением в оной; при сырой же погоде появляются летучие ревматические боли в конечностях. Для поправления расстроенного здоровья необходимо продолжительное лечение при покойном образе жизни и употребление натуральных минеральных вод; почему он по настоящему болезненному состоянию не может продолжать службы».

Однако рекомендованный докторами покой мог Толстому только сниться. В молодости ему казалось, что время стоит на месте, потом оно пошло быстрее, а к старости — уже летело вовсю. В юности, как впоследствии вспоминал писатель, он болел лишь изредка, потом — раз в месяц, а в старости — каждые пять дней. Никогда не поддавался болям или слабостям, всегда предпочитая работать. Он не жаловался, хотя месяцами мог страдать, например, колитом. В старости все болезни, говорил Толстой, которыми страдаешь, дольше длятся, а промежутки здоровья становятся намного короче. «Бывает скучно, когда есть хорошая работа, а не можешь ею заняться», — с грустью резюмировал он. Но не переставал бороться с хворями. При этом никогда не доверял докторам, но об этом чуть ниже. Для подобного отношения у писателя были свои основания.

С Толстым неоднократно происходили несчастные случаи. Об одном из них поведала его свояченица: «Лев Николаевич (ему было тогда 36 лет. — *Н. Н.*) поехал на охоту один с борзыми на сумасшедшей лошади Машке. Выскочил русак, и Лев Николаевич поскакал во весь дух. Лошадь не перескочила узкую, глубокую рытвину, упа-

ла, он с нее расшиб и вывихнул руку. Лошадь убежала, он встал и поплелся. Ему казалось, что все было очень давно, что он когда-то ехал и упал и т. д. До шоссе — верста, он дошел и лег. Мужики подобрали, привезли в телеге в избу. Приехал доктор Шмигаро и восемь раз принимался править руку и ничего не сделал. Зрелище было ужасное: Лев Николаевич, по пояс обнаженный, сидел среди избы; двое мужиков его держали, доктор с фельдшером грубо и неумело старались поставить на место руку, а Лев Николаевич кричал громко от сильных страданий. Увидев меня, он нежно сказал мне какое-то приветствие. Послали домой за пролеткой и осторожно свезли Льва Николаевича в дом. Всю ночь он мучительно громко стонал. Я сидела с ним, и он иногда, сидя, засыпал, как-то положив голову ко мне на плечо. На другое утро послали в Тулу за молодым и очень способным доктором Преображенским. Приехав, он умело и быстро, под хлороформом вправил Льву Николаевичу руку и спокойно забинтовал ее так, что боли стали гораздо легче. Помню, какое было страшное лицо у Льва Николаевича, когда он лежал, как мертвый, под хлороформом».

Спустя четыре недели Толстой вопреки запретам врачей вновь отправился на охоту с ружьем и нечаянно снял повязку. Рука снова стала болеть и не могла подниматься. Лев Николаевич поехал в Москву, где собрался медицинский консилиум, на котором мнения докторов разошлись. В результате пациент не решился повторно делать операцию, предпочтя массаж как более щадящий вид лечения. Прошла еще неделя, но боль по-прежнему не утихала. Тогда Толстой решил отправиться в водолечебницу к известному врачу Редлиху.

О своем визите к доктору он сообщал жене следующее: «Я очень уныл, и в этом унынии поехал к Редлиху; когда Редлих, у которого была выгода брать с меня деньги, на гимнастике сказал, чтоб я правил, то я окончательно решился; по чистой правде, решился я накануне в театре, когда музыка играет, танцовщицы пляшут, Мишель Боду владеет обеими руками, а у меня, я чувствую, вид кривобокий и жалкий; в рукаве пусто и ноет». Операция была назначена на 28-е число. Лев Николае-

вич считал, что это число играло особую роль в его жизни, являясь знаковым. Ведь родился он тоже 28-го числа, как, впрочем, и его сын тоже. «Я знаю только, — продолжил в этой связи свои размышления писатель, — что не чувствовал больше никакого страха перед операцией и чувствовал боль после нее, которая скоро прошла от холодных компрессов».

Лев Николаевич спокойно пошел на операцию, но не мог долго заснуть из-за хлороформа. «Возился долго, — вспоминала впоследствии Т. А. Кузминская, — наконец, вскочил с кресла, бледный, с открытыми блуждающими глазами; откинув от себя мешочек с хлороформом, он в бреду закричал на всю комнату: “Друзья мои, жить так нельзя... я думаю... я решил...” Он не договорил. Его посадили в кресло, подлили еще хлороформ. Он стал окончательно засыпать. Сидел передо мной мертвец, а не Лев Николаевич. Вдруг он странно изменился в лице и затих. Двое служащих, по указанию Попова, тянули изо всех сил руку, пока не выломали неправильно сросшуюся кость. Это было очень страшно. Попов ловко и сильно как бы вдвинул ее в плечо. Он долго не приходил в себя. Думал, что будет хуже». Поразительный эпизод, в котором сплелось многое, в том числе и счастливая нумерология, в которую он, кажется, верил значительно больше, чем в докторов.

Разве можно в этом усмотреть признак несокрушимого здоровья? Здесь несколько иное — то, о чем принято говорить не иначе как: он в рубашке родился. Потрясающая сила, воля к жизни, помогавшая Толстому преодолевать не только проблемы со здоровьем, но и бороться со страхом смерти.

Физические недомогания чрезвычайно обостряли его духовное зрение, позволяя в самом обыденном, эмпирическом усмотреть особенное, в сиюминутном обнаружить вечное. Болезнь и здоровье сплелись, кажется, воедино в мысли о необходимости преодоления недугов. Собственной жизнью писатель подтверждал верность своего постулата: только с помощью здорового духа можно обрести здоровое тело.

Обратимся к его запискам 1857 года: в Петербурге он испытал «страшную головную боль», а уже через месяц

мучился в московском пространстве сильным желудочным расстройством. Пребывая в Париже, писатель был озабочен то простудой, то болями в желудке, то в боку. Спасся, как он говорил, исключительно банками. Будучи «совершенно больным», Толстой пошел смотреть смертную казнь. Болезнь, безусловно, интенсифицировала его восприятие, не сравнимое ни с какими виденными им до этого военными ужасами. «Искусная, элегантная» гильотина долго не давала ему спать и «заставляла оглядываться». В Женеве он потратил уйму времени на посещения докторов, оказавшихся «пошлыми резонерами — магнетизерами». Горные прогулки запомнились не только из-за того, что это было соприкосновение с чудом природы, но и из-за варикозных расширений вен и связанных с этим страданий. В общем, Толстому пришлось здесь «мерехлюндить», «пасмурничать» из-за постоянных болей.

Зубы «вываливались», сосуды были расширены, постоянно мучил кашель, а ведь ему не было и тридцати! Его день начинался с мысли, что он словно «столетний» человек. Из какого болезненного «сора» творились им подлинные шедевры?! Чего только стоит импрессионистическое описание Швейцарского озера, наполненное поэзией луны и воды! Настолько все художественно и возвышенно, что с трудом можно поверить в то, что творил он, обуреваемый недугами. Иными словами, творческая фантазия опровергала прозу реальности, демонстрируя, таким образом, свое превосходство над действительностью благодаря гениальным прозрениям Мастера. С какими сверхчеловеческими усилиями (а иначе, какой же он гений?) Толстой преодолевал в себе комплекс «больной жизни»! Но в этом и заключался эффект его самосовершенствования. Боль заставляла его отказаться от многих опасных влечений, очарований и соблазнов, к которым он был так склонен. Она приучила его к самодисциплине, к минимализму, к служению жизни, к воле, — ко всему тому, что и стало залогом его будущей здоровой жизни. Многочисленные болезни явились для него мощным стимулом, дорогой к творчеству, к новым чувствованиям. Они стали своеобразной проверкой на прочность его жизненной позиции. Из

двух вариантов любви к жизни он выбрал самый достойный. Сознавая конечность собственного бытия, Толстой искусно им наслаждался.

Писатель часто находился, как выражались его домашние, в «желчном расположении духа», что не могло в свою очередь не отражаться на них. Слово «желчь» в семье Толстых означало раздражительность, злость, то есть все то, что ни в коей мере не отнесешь к понятию поэтического настроения. В 34 года писатель особенно захандрил, вообразив, что у него чахотка, хотя его будущий тесть, московский практикующий врач, успокаивал его, утверждая, что этого заболевания у Толстого нет. Но Лев Николаевич в своих ощущениях был непреклонен: ему казалось, что из-за постоянно преследовавшего его кашля он «тихо хирел». Поэтому, по совету светила медицины, профессора Захарьина, отправился в самарские степи, чтобы заняться кумысолечением для поправки здоровья. Там он «потолстел» и перестал кашлять. Кумыс помог ему прогнать плохие мысли. Призрак смерти постоянно пугал его. Ведь два его брата скончались, будучи молодыми, от чахотки, да и сам он нередко болел пневмонией на Кавказе. В самарских краях писатель приобрел землю и завел огромный конный завод. Он часто проводил лето в башкирских степях: то один, то вместе с семьей. Своим близким внушал мысль о пользе кумыса. Александре Андреевне Толстой, например, рассказывал, что в России есть одно необычайное средство против общего упадка сил — это чудодейственный кумыс. «Не в Петербурге и не в Крыму, — убеждал он ее, — а исключительно в самарских степях».

Удивительно, что, несмотря на свои экстравагантные, отнюдь не лестные высказывания в адрес врачей, Толстой все же неукоснительно соблюдал их предписания. По крайней мере все, что касалось лечения вывихнутой им во время неудачной охоты правой руки. Случай этот, безусловно, особенный, ведь пострадала рука — важнейшее орудие писательского труда. Вскоре его рука пошла на поправку, и он о ней почти не думал. Но беда не приходит одна: начались сильные головные боли, вызванные большой интеллектуальной нагрузкой. В то

время он создавал «Войну и мир». В этой связи Толстой был вынужден признаться в следующем: «Ужасно действует на жизнь это нездоровье». Поэтому энергично принялся за его поправку. Прежде всего, полагал он, необходимо «воздержание и гигиена полные», а также «гимнастика». Он стал «умеренно ужинать», каждый день обтираться мокрым полотенцем. Толстой, по собственному утверждению, стал «совершенно другим человеком»: «Свеж, весел, голова ясна, я работаю — пишу по 5 и 6 часов в день... Случайность это или нет?» В этой связи он вспомнил петербургского профессора химии Зинина, утверждавшего, что 99 из 100 болезней происходят от переедания. Толстой нашел это утверждение «великой истиной». Писателя снова замучила зубная боль, которая, возможно, и подвигнула его к вегетарианству. Он стал пропускать ужин, вернулся к своей «строгой диете» и сразу же почувствовал «избыток и силу мысли». Когда он отправлялся куда-нибудь, то по совету Тани Берс ничего не ел всю дорогу.

Софья Андреевна, как истинная дочь врача, имела большую склонность, а точнее, страсть к лечению. В письме к жене Толстой отметил эту характерную черту, присущую всему семейству Берсов, — «непрестанную, томящую заботу о собственном здоровье, которое было бы лучше, — с точки зрения писателя, — если бы о нем меньше заботились, а больше воздерживались». Сама же Софья Андреевна подмечала следующее в своем муже: «О физическом своем здоровье Лев Николаевич очень заботился, упражняясь гимнастикой, поднимая гири, соблюдая пищеварение и стараясь быть как можно более на воздухе. А главное, страшно дорожил своим сном и достаточным количеством часов сна». Чем не пример для подражания и чем не рецепт долголетия по-толстовски? На самом же деле самым большим страданием для Льва Николаевича, когда он заболел, оказывалась не сама болезнь, а ее лечение, точнее, приставание Софьи Андреевны, чтобы он непременно лечился. Она была убеждена в том, что следует лечить болезнь самыми разнообразными способами, в том числе и терпеливо, спокойно ожидать, когда она пройдет. А еще жена писателя говорила о том, что «когда Лев Николаевич

плохо себя чувствовал, то всегда что-нибудь выдумывал. Так, например, летом никогда не писал, а дети шесть недель не занимались. После охоты с борзыми начинал осенью опять работать. Теперь хочет каждый день работать, а уже стар и слаб».

По словам самого писателя, во время болезни он часто думал о курении. Когда ему нездоровилось, то по утрам, встречаясь с кем-либо из домашних, он спрашивал: «Как поживаете?» — для того, чтобы его не расспрашивали о здоровье. Когда хворал и у него появлялись жар, слабость, хрипота, он всегда советовался со своим врачом-другом Д. П. Маковицким, как обыкновенный мнительный человек.

Толстой утверждал, что ему хорошо думалось, когда он болел. В это время, как он выражался, у него отпадало всяческое суеверие касательно материальной жизни, а появлялось сознание реальной духовной жизни, чтобы здесь и сейчас исполнять волю Бога, а учение материалистов утверждает все противоположное: суеверия они считают духовной жизнью. Писателю было ясно, почему так легко умирали самые эгоистические люди: потому что суеверие материальной жизни у них отпадало вовсе.

Свой обобщенный взгляд на медицину Толстой выразил в повести «Поликушка», опубликованной в катковском «Русском вестнике» в феврале 1863 года. Здесь был брошен вызов всему сословию врачей. Ведь постоянно общаясь с ними, он прекрасно понимал, что они мало что смыслили в причинах болезни. Их абсолютно не занимало здоровье пациента. Толстому казалось, что для них здоровье было чем-то вроде шутивого персонажа.

«Я чувствую, что нашему брату, господам, не совсем прилично смеяться над Поликеем. Приемы, которые он употреблял для внушения доверия, те же самые, которые действовали на наших отцов, на нас и наших детей будут действовать. Мужик, брюхом навалившись на голову своей единственной кобылы, составляющей не только его богатство, но почти часть его семейства, и с верой и ужасом глядящий на значительно-нахмуренное лицо Поликея и его тонкие, за-

сученные руки, которыми он нарочно жмет именно то место, которое болит, и смело режет в живое тело, с затаенною мыслию: “куда кривая не вынесет”, и показывая вид, что он знает, где кровь, где материя, где сухая, мокрая жила, а в зубах держит целительную тряпку или склянку с купоросом, — мужик этот не может представить себе, чтоб у Поликея поднялась рука резать не зная. Сам он не мог бы это сделать. А как скоро разрезано, он не упрекнет себя за то, что дал напрасно резать. Не знаю, как вы, а я испытывал с доктором, мучившим по моей просьбе людей, близких моему сердцу, точь-в-точь то же самое. Ланцет, и таинственная белесая склянка с сулемой, и слова: чильчак, почечуй, спускать кровь, матерю и т. п. разве не те же нервы, ревматизмы, организмы и т. п.? Дерзай заблуждаться и мечтать! — это не столько к поэтам относится, сколько к докторам и коновалам».

У Толстого часто случались приступы страха смерти. Его ребяческое «умствование», уничтожавшее в нем «свежесть чувства и ясность рассудка», непрерывно сопровождалось болезненным ужасом смерти, и тогда он начинал каяться, молиться или стегать себя по голой спине веревкой. Впоследствии все это переросло в тяжелую форму патологического страха смерти. «Третьего дня в ночь я ночевал в Арзамасе, и со мной было что-то необыкновенное. Было два часа ночи, я устал страшно, хотелось спать и ничего не болело. Но вдруг на меня нашла тоска, страх, ужас такие, каких я никогда не испытывал. Подробности этого чувства я тебе расскажу впоследствии, но подобного мучительного чувства я никогда не испытывал, и никому не дай Бог испытать. Я вскочил, велел закладывать. Пока закладывали, я заснул и проснулся здоровым. Вчера это чувство в гораздо меньшей степени возвратилось во время езды, но я был приготовлен и не поддался ему, тем более что оно и было слабее. Нынче чувствую себя здоровым и веселым, насколько могу быть вне семьи». Этот «арзамасский ужас», пережитый в 1869 году, он описал в «Записках сумасшедшего».

В это время он боялся ходить на охоту и в кармане всегда носил веревку. Мысль о суициде становилась для

Толстого навязчивой идеей. В пору работы над «Анной Карениной» он переосмысливал важные жизненные константы. «Арзамасская тоска» воспринималась им как некая «вершина жизни», с которой «видны оба ее ската». В это время Толстой нередко вспоминал древнюю восточную притчу о путнике. Суть этой притчи заключалась в следующем: спасаясь от дикого зверя в высохшем колодце, путник обнаружил там дракона. Он повис между зверем и драконом, ухватившись за ветки растущего в расщелине колодца куста, ствол которого грызли две мыши — белая, являвшаяся символом дня, и черная, олицетворявшая ночь. Путник осознавал, что обречен на верную гибель, но до тех пор, пока он был жив, любовался каплями меда на листьях куста и слизывал их. «Так и я, — говорил Толстой, — держусь за ветки жизни, зная, что неминуемо ждет дракон смерти, готовый растерзать меня, и не могу понять, зачем я попал на это мученье. Я пытаюсь сосать тот мед, который прежде утешал меня; но этот мед уже не радует меня, а белая и черная мышь — день и ночь — подтачивают ветку, за которую я держусь».

Даже в самарских степях, где всегда «пахло Геродотом», в шесть часов вечера у него каждый день начиналась тоска, подобная лихорадке, тоска физическая, ощущение которой Толстой не мог сравнить ни с чем иным, как только с ощущением, будто душа растает с телом. «Состояние свое я не понимаю... Главное, слабость, тоска, хочется играть в милашку и плакать... Живем в кибитке, пьем кумыс... неудобства жизни привели бы в ужас твое Кремлевское сердце: ни кроватей, ни посуды, ни белого хлеба, ни ложек... Но неудобства эти несколько не неприятны, и было бы очень весело, если бы я был здоров... Если не пройдет тоска и лихорадка, то поеду домой... Нет умственных, и главное, поэтических наслаждений. На все смотрю, как мертвый... Если и бывает поэтическое расположение, то самое кислое, плаксивое — хочется плакать. Может быть, переламывается болезнь», — писал Толстой Софье Андреевне из самарских степей, все еще надеясь «войти» в «кумысное состояние».

Со временем боли в желудке и печени у него уменьшились. Но сплин, а точнее, русская хандра не покида-

ла писателя. Ведь здоровье зависело от возрождения веры в личное бессмертие во всей ее полноте и чистоте.

Продолжим наше путешествие в подсознание Толстого, охваченное «арзамасской тоской». Сергей Львович, сын писателя, так вспоминал об этом: «В одиночестве, в грязном номере гостиницы, он в первый раз испытал приступ неотразимой, беспричинной тоски, страха смерти; такие минуты затем повторялись, он их называл “арзамасской тоской”». А жена Льва Николаевича как-то заметила: «Сколько напрасных тяжелых ожиданий смерти и мрачных мыслей пережил Лев Николаевич во всей своей долголетней жизни. Трудно перенестись в это чувство вечного страха смерти». Очевидно одно: Толстым владел патологический страх смерти. «Черная и белая мыши» не позволяли ему с прежней легкостью наслаждаться «медом» жизни. Специалисты в области человеческой психики квалифицировали приступы писателя как склонность к аффективной эпилепсии.

Заметим, что Лев Николаевич был человеком не робкого десятка, храбро сражался в Севастопольской кампании, не боясь опасностей. Поэтому его навязчивые фобии, приводящие к мысли о самоубийстве, расценивались некоторыми специалистами как судорожные припадки.

«...Ехали мы сначала по железной дороге (я ехал с слугой), потом поехали на почтовых, перекладных. Поездка была для меня очень веселая. Слуга молодой, добродушный человек, был так же весел, как и я. Новые места, новые люди. Мы ехали, веселились. До места нам было 200 с чем-то верст. Мы решили ехать не останавливаясь, только переменяя лошадей. Наступила ночь, мы все ехали. Стали дремать: я задремал, но вдруг проснулся: мне стало чего-то страшно. И, как это часто бывает, проснулся испуганный, оживленный — кажется, никогда не заснешь. “Зачем я еду” пришло мне вдруг в голову. Не то чтобы нравилась мысль купить дешево именье, но вдруг представилось, что мне не нужно ни зачем в эту даль ехать, что я умру тут, в чужом месте. И мне стало жутко...

Чисто выбеленная квадратная комнатка. Как я по-

мню, мучительно мне было, что комнатка эта была именно квадратная. Окно было одно, с гардинкой — красной. Стол карельской березы и диван с изогнутыми сторонами. Мы вошли, Сергей устроил самовар, залил чай. А я взял подушку и лег на диван. Я не спал, но слушал, как Сергей пил чай и меня звал. Мне страшно было встать, разгулять сон, и сидеть в этой комнате страшно. Я не встал и стал задремывать. Верно, и задремал, потому что когда я очнулся, никого в комнате не было и было темно. Я был опять так же пробужден, как на телеге». Далее Толстым описывается бег героя от чего-то страшного, от которого он не может убежать. Несчастный, спасаясь от страха, выходит в коридор, и «оно» выходит за ним следом. Герой понимает, что это смерть «ступала» за ним, а он пытался ее «стряхнуть» с себя. Он начинает судорожно размышлять, каким образом перебороть наступившую вдруг тоску. Он понимает, что что-то беспрестанно «раздирает» его душу на части и не может «разодрать до конца». Герой «Записок сумасшедшего» пытается найти успокоение во сне, но ужас в виде «красного, белого, квадратного» не дает ему этого. Уж лучше бы бояться привидений, чем того, чего боялся он, — размышляет толстовский персонаж. Но дальше — хуже: он проводит еще более ужасную ночь, чем «арзамасская», ощущая, что душа разрывается с телом.

Герой «Записок сумасшедшего» вскоре пережил еще один страх, по своему накалу несопоставимый ни с «арзамасским», ни с московским. Чтобы освободиться от своих фатальных ужасов, Толстой наделял ими своих героев, в частности Константина Левина, мучимого мыслью о самоубийстве. Не случайно, когда кто-то из знакомых просил писателя показать перекладину, на которой Лев Николаевич хотел повеситься, он просил считать это исключительно его литературной фантазией, ничего общего не имевшей с действительностью. Со временем его «арзамасский квадрат» сроднился с супрематическим «Черным квадратом» Малевича, в основе которого таится все та же идея бесконечности, возможно, осененная и толстовскими интуициями. Сумасшествие для Толстого — та же бесконечность. Писатель полагал, что «все 99 из 100 сумасшедшие». Иногда

гениальность считают аномалией, подобной жемчужине, которая является на самом деле не преимуществом, а болезнью моллюска. Безусловно, огромные умственные напряжения давали о себе знать, и он постоянно отмечал свою «ужасную нервную усталость», из-за которой часто бывал «больнешеньким», прося близких «не ворчать», ведь у него и так «голова тяжелая»: во время лыжной прогулки Лев Николаевич случайно ударился головой о дерево, и удар оказался настолько сильным, что он «ошалел», у него появилась шишка на лбу и начались от этого приливы и головные боли.

Домашний доктор исправно ухаживал за ним. Эту роль исполняла Софья Андреевна, лечившая своих детей и детей сестры Тани, гувернанток, прислугу. Всех лечила, в том числе и больных из окрестных деревень. Она берегла все рецепты врачей, хорошо знала, что нужно употреблять в тех или иных случаях. У нее, как она полагала, была счастливая рука, и ей удавалось вылечить многих своих пациентов. Софье Андреевне не раз приходилось принимать тяжелые роды. Она сама, по словам Льва Николаевича, любила лечиться и была уверена, что если имеется хоть малейшая надежда быть здоровой, то она должна все сделать для выздоровления. Софья Андреевна часто пользовалась справочниками, лечебниками, особенно Флоринского. Свою любовь к врачеванию она сумела передать дочери Маше, которая усердно лечила яснополянцев, многому научившись не только у матери, но и в московских клиниках, по которым она «ходила».

Лев Николаевич «боялся» февраля и марта, так как обычно заболел в это время. Софья Андреевна болела в ноябре. По ее наблюдениям, с октября 1905 года Толстой начал сдавать. Его голос стал слабее и тише, он перестал соблюдать режим работы. По утрам позже садился за письменный стол. Писал то долго, почти до 15.30, а то — очень мало — до 13.30. Часто утром Толстой не завтракал. Все чаще давали о себе знать печень и желудок, постоянно задерживалась желчь. Поэтому Софья Андреевна готовила для мужа специальное меню, как она выражалась, «писала целые сочинения» для повара. Так, она отмечала: «Лев Николаевич больной,

потому манное пирожное». Толстой мало ел, стал регулярно принимать прованское масло с лимонным соком. Он ползими был нездоров, ходил в основном в халате — верный признак того, что плохо себя чувствовал. Близкие это хорошо знали. Он все время огорчался оттого, что так долго живет, у него все время что-то болело: то спина от падения, то коленки, то правая ступня из-за узкой обуви, у него была подагра, которой тяжело болел его дед и которая также мучила Тургенева, носившего специальную огромную обувь, ее в Ясной Поляне называли «подагровой».

Самой страшной болезнью Толстой считал веру в докторов. В 80 лет он часто горевал из-за того, что не может привыкнуть к теперешнему своему состоянию, когда есть хорошая работа, но он не может ее выполнить из-за плохого здоровья. Болеть дурно, потому что другим это в тягость, считал он. При этом продолжал верить в то, что добрая жизнь всегда имеет хорошие последствия.

Писатель делил людей по темпераменту на два типа: вулканический, то есть взрывной, и нептунический, отличающийся спокойствием и уравновешенностью. Что ж, сам Толстой не вмещался в рамки какого-то одного из этих типажей, соединяя в своем образе оба.

Из-за болезней Толстой умывался порой в постели и перелезал из кровати в больничное кресло, которое перевозилось в зал или в кабинет к столу, где он читал свою почту. Писатель стал хуже слышать и находил в этом свое преимущество: «Я не все слышу». Врачебной помощи он предпочитал дружбу с докторами. Так было со знаменитым в то время доктором Захарьиным и Д. П. Маковицким, шесть лет служившим в Ясной Поляне домашним врачом с 1904 по 1910 год. Маковицкий не только лечил писателя, но и вел дневник, стенографируя повседневную жизнь Толстого, записывал всё, что происходило в знаменитой усадьбе, в том числе и неповторимую «смесь племен, наречий, состояний», — как сказал однажды Лев Николаевич. На страницах его записей, названных «У Толстого» (а это около трех тысяч машинописных страниц, то есть более ста печатных листов), — феномена «слуховой фи-

логии», Лев Николаевич предстает не книжным классиком, а живым человеком, абсолютно реальным, земным, пульсирующим.

Чехов как-то заметил, что «мысли Толстого теряются в воздухе», и это «нестерпимо по-русски», потом спохватятся и «начнут писать» — «наврут». Спихватились, но «не наврали» благодаря Душану Маковицкому, не только услышавшему отчаянный крик Чехова, но и воспринявшему эти слова как руководство к действию. Своим фундаментальным трудом, «пестротой содержания», обстоятельными записями он не только превзошел «Записки» Эккермана о Гёте, но и реабилитировал, кажется, славян в их приверженности к беспамятству.

Желание быть полезным Толстому заставляло Д. Маковицкого в течение почти двух тысяч дней, с короткими перерывами браться за карандаш, чтобы «скороспивать» яснополянское время. Из «Записок», информативного кладезя о Толстом, можно узнать обо всем, в том числе и о состоянии здоровья писателя, когда «волосы падали, зубы портились», когда «хотелось писать художественное, а зубов нет», когда жизнь его истончалась и таяла. Он узнал писателя, когда тот уже страдал множеством болезней, но тем не менее поражал своего доктора уникальной витальностью, быющей ключом силой жизни. Порой Маковицкому казалось, что не будет конца у этой жизни, рождающей такую энергию. Но конец был близок. Начиная с 11 сентября 1910 года мысль об уходе великого человека приобретает тотальный характер.

Приведем, не комментируя, записки Д. П. Маковицкого начиная с 11 сентября 1910 года.

11 сентября. Софья Андреевна «неистовствует уже третий день», «не ест, убегает днем в сад», «настаивает, чтоб (Л. Н.) уехал с ней». Л. Н.: «всё идёт к худшему. Ох, не знаю, что делать!».

12 сентября. Л. Н. «скорбел», когда рыдала С. А.

13 сентября. *Кочеты.* С. А. печатает новое издание, в которое вложила все наличные деньги, опасалась, что если Л. Н. откажется от прав, то ее издание не будет распродано. Мысли об уходе Л. Н. Александра Львовна уйдет из дома, если Л. Н. уступит права С. А.

16 сентября. Л. Н.: “Как меня хочет С. А. выставить сумасшедшим”.

17 сентября. С. А. всем говорит о Л. Н. с ненавистью: “Как мне опротивел”.

...Клечковский встал на колени и просил С. А., чтобы перестала так говорить о Л. Н., потом схватился за голову и убежал.

21 сентября. “Мать уморит папá” (Александра Львовна). Чертков сказал: “Христос умер на кресте, а Л. Н. может умереть от С. А.”.

22 сентября. Л. Н. ехал из Кочет в Ясную Поляну с намерением отвоевать свободу, а если С. А. будет устраивать сцены, то в этом случае он готов уйти из Ясной.

...С. А., стоя на лестнице, стала упрекать Л. Н. Варвара Михайловна рассказала, что в эти 11 дней С. А. всё бранила Л. Н., что так долго едет. “Если Л. Н. приедет, — говорила С. А., — таким холодом его обдам”.

23 сентября. Александра Львовна упрекала Л. Н. в том, что терпит то, что С. А. сняла портрет Черткова, висевший над его столом в кабинете, и перевесила на другое место. Л. Н. склонил голову на стол и заплакал. С. А. побежала в одном платье в сад, легла на 2-ой липовой аллее на скамейку, которую видно из окна дома... “Пусть умру”.

25 сентября. Александра Львовна упрекала Л. Н., что позволил С. А. повесить ее портрет над круглым столиком.

26 сентября. С. А. стреляет у себя в комнате из револьвера его пистолета бумажными капсулами...

С. А.: “Я один день блаженствовала без Саши в доме”; “Черткова оттерла и тебя (Александрю Львовну. — Н. Н.) ототру”.

Александра Львовна хочет переехать в Телятинки, куда и отец переедет, что это толчок для перелома, что нарыв созрел, прорвался.

27 сентября. Саша довольна отъездом, Л. Н. тоже. О С. А. сказал: “Надо жалеть не добрых, а злых, они больше страдают”.

30 сентября. С. А. считала, что Л. Н. дурно себя чувствует из-за ухода Саши. Об Александре: “Мне она даром не нужна, но для отца это хорошо было бы” (если бы

была в Ясной Поляне). Л. Н.: “Ничего, кроме хорошего, не вышло из вашего отъезда” (Александре Львовне).

2 октября. Л. Н. о С. А.: “У нее слово не имеет никакой обязательности, она днем скажет одно, а вечером диаметрально противоположное... Надо молчать и не уступать. Я хотел бы оградить себя, остались месяцы, может быть, дни: три месяца, как не работаю”.

Сергей Львович: “Ей бы (С. А.) уехать на время”...

3 октября. Судороги Л. Н. С. А. примирилась с Сашей.

4 октября. Сергей Львович, Татьяна Львовна и Александра Львовна умоляли С. А., чтоб не убивала, пощадила отца.

7 октября. Вечером был Чертков после 3-х месяцев перерыва. С. А. была взволнована этим приездом.

8 октября. Столкновение. Л. Н. очень волновался, С. А. в злобном состоянии, но сдерживает себя.

9 октября. С. А. опять надоедала Л. Н.

10 октября. Перелом близок. Гнет был на него с обеих сторон: со стороны С. А. и друзей.

12 октября. С. А. слышала отрывочные фразы о завещании: “Мне не жалко, что они мне не достанутся, а то, что сыновей огорчит. Они будут добиваться отмены у государя...”

13 октября. Узнала С. А. о завещании из “записника”, который отыскиала в сапоге и держит у себя.

14 октября. С. А. написала Л. Н. письмо, где упрекала его, что он лишил семью издательских прав. Л. Н. сказал: “Терпеть надо... Не приписывать значения ее словам”. С. А. делала то “величаво презиращее лицо”, то стояла перед Л. Н. на коленях, целовала руки и умоляла завещать авторские права семье.

15 октября. У С. А. нет душевной болезни, всё притворство. Л. Н.: “И то и другое...” У Л. Н. разболелась голова — так громко, визгливо трещала без умолку С. А. Была в исступлении азарта, говорила, что будет в случае его смерти. Л. Н. был убит, смущен.

16 октября. Л. Н. поедет к Чертковым. С. А. убежала из дому, громко хлопнув дверью... Л. Н. решил не ехать, говоря: “Это испытание... другим осуждать ее легко... Я не могу”. Л. Н. уже 3—4 месяца не работает.

С. А. искали с фонарями и нашли в саду. Она притво-

рилась не знающей, где была, что делала... жалела себя. Опять сцена. Л. Н. не выдержал и кричал.

17 октября. Л. Н.: "Нехорошо себя чувствую... Надо хорошо умирать, готовиться к смерти... (не в припадках)". С. А. вечером была кроткой; когда ночью он кашлял, она пришла и загородила снаружи не вставленное окно (тюфяком). Какая энергия!

18 октября. Л. Н. говорит... что умрет после предобеденного сна...

19 октября. Л. Н. боится сцен, болит печень.

20 октября. С. А. хочет продать сочинения за один миллион.

Л. Н. не хочет сделать больно С. А., не может заставить страдать другого человека. "Если бы волшебница могла исполнить мое желание, — на печку к мужику, — умереть".

22 октября. С. А. представлялась страдальцей, прикидывалась сумасшедшей, говорила искусно бестолково. Говорила Дунаеву, что, если Л. Н. увидится с Чертковым, она себя убьет. Дунаев: "Скорее может случиться, что при вас от вас умрет". — "Пусть умрет!" — ответила С. А.

С. А. хочет Л. Н. развлекать гостями, чтоб заменить ими Черткова.

24 октября. Если С. А. продаст сочинения, то Л. Н. сейчас же пошлет письмо в газеты, что никто из его семейных не имеет права на его сочинения.

26 октября. Л. Н. жаловался, что С. А. постоянно вбегает к нему, смотрит, что он пишет, подозревает, что он от нее что-то скрывает.

27 октября. С. А. согласна "допустить" Черткова в дом, если ей дадут дневники с 1900 года до теперешних. Но Л. Н. к Черткову не пустит, а то Чертков пригласит нотариуса и внушит Л. Н. написать завещание.

Л. Н. говорит Александре, какая тяжелая обстановка в доме не будь, уехал бы. Он наготове. Вчера спрашивал, когда утром идут поезда на юг. Говорил, что уже 4 месяца ему не работается, т. к. С. А. то и дело вбегает, подозревает какие-то тайны, писанные и говоренные.

28 октября. Утром, 3 ч. Л. Н. в халате, в туфлях на босу ногу, со свечой, разбудил, лицо страдальческое, взволнованное и решительное. Сказал: "Я решил уехать."

Вы поедете со мной. Я пойду наверх, и вы приходите, только не разбудите С. А. Вещей много не будем брать — самое нужное. Саша дня через три за нами приедет и привезет, что нужно». Ушел наверх.

Уезжал 28 октября утомленным, не выспавшимся. Что теперь С. А.? Жалко ее. Ничего не диктовал.

Горбачево. От Горбачево — в 3-ем классе. Перенесли вещи в поезд Сухиничи—Козельск. Поезд товарный, смешанный, с одним вагоном 3 класса, переполненный. Курили».

Писатель относился к докторам (кроме земских, которых ценил) как к архиереям, пришедшим благословить, поблагодарить и предупредить, что от их посещения никаких последствий не ожидается. Доктора Щуровский и Никитин обращались с Толстым исключительно как с пациентом, а не как со знаменитостью, не ставя его «на пьедестал». Лев Николаевич покорно их слушал, но тем не менее не упускал случая подшутить над медициной. Как-то он заметил: «Исповедь хороша, а насчет причастия не знаю». Под исповедью писатель подразумевал врачебное исследование, а под причастием — лекарства.

Софья Андреевна очень беспокоилась о здоровье Льва Николаевича. Она боялась его долгих прогулок по лесу, боялась, что с ним может приключиться обморок и он умрет в каком-нибудь овраге, в котором его невозможно будет найти. «Как трудно жить с таким человеком, который никогда ни о ком не думал, а только о себе», — возмущенно говорила она. Вспоминала, как десять лет тому назад он «потерялся» в саду. Это произошло поздней осенью, когда дождь лил, словно из ведра, а писатель ходил больше двух часов по саду «туда-сюда». Подобное поведение было характерным для Толстого. Он отличался им еще с молодости, когда обещал близким вернуться домой к двенадцати ночи, а возвращался в четыре утра, просидев за разговорами у Аксаковых. Поэтому Софья Андреевна не раз вызывала Д. П. Маковицкого в другую комнату для того, чтобы просить его заранее узнавать о прогулочных планах мужа.

Она вспоминала о лечении Толстого в Крыму, когда ей приходилось кормить его с ложечки, чтобы поднес-

ти пищу к губам. Тогда он пять месяцев проболел в Гаспре. Там на протяжении почти трех часов она ему делала массаж. Чуть вздрагивая, писатель засыпал. Софья Андреевна замечала сильное желание в муже остаться в живых, которое и спасло его. В это время он был терпелив, кроток, но одновременно и капризен: хотел то одно, то другое. В Крыму за ним постоянно ухаживали два врача. Писателя беспокоили боли в области сердца, как он выражался, «играние» сердца, как у Тургенева. Всех врачей Толстой поразил тем, как у него легко, словно у юноши, рассасывались болезни. А ведь им казалось, что он проживет совсем недолго. По крайней мере, так считали ялтинские доктора.

Близкие удивлялись силе духа Льва Николаевича, тому, как он молодел, крепчал после перенесенных болезней. Поражала его моложавая, быстрая, бодрая походка, очень своеобразная, с вывертом носков наружу. Старость сказывалась только в увеличивающейся с годами сутуловатости, в характерной приподнятости левого плеча, произошедшей, возможно, из-за его постоянных писаний.

К врачебным диагнозам Толстой относился как к докторской самонадеянности. Поэтому предпочитал лечить себя сам. Когда у него была изжога, то он выпивал соду с молоком. Это средство очень помогало ему. Писатель любил массажи. Любил он и горячее молоко, обычно выпивая его по два стакана с эмсом и чашку кофе с молоком. Софья Андреевна отсылала письма в различные редакции, в которых рассказывала о том, «до какой степени болезни изнурили» Льва Николаевича, что «он лично никого решительно, даже самых близких, к сожалению, принять никак не может».

Толстой не любил искусственной помощи организму. Когда во время своего посещения Ясной Поляны Мечников сказал ему, что атеросклероз — один из симптомов старости, писатель ответил, что старость бывает исключительно от того, что жизнь исчезает. «Всё в руках Божьих, — говорил Толстой. — И мне всегда желается в них быть». В самом деле, нужны большие телесные страдания, за которыми следует телесная смерть, и в этом заключается необходимое и вечное ус-

ловие жизни, думал писатель. Он считал, что человеку, вышедшему из детства, странно забывать про это даже на минуту. «Если я смотрю на свою жизнь, как на свою собственность, данную для счастья, то никакие ухищрения не сделают того, чтобы я мог покойно жить в виду смерти», — подытоживал он.

Лев Николаевич полагал, что он крепкого сложения, но слаб здоровьем. Он не «считал целью лечить тело», видел ее в служении чему-то. Следует «верить батюшке отцу Амвросию, а не батюшке Альпшуллеру (врачу. — Н. Н.), — учил отец своих детей и добавлял: — Не надо поддаваться докторам с их невежественной самоуверенностью».

«Индийские брамины, — говорил Толстой, — лечат так: велят ходить, работать и беспрестанно повторять: я здоров, совершенно здоров, бодр и весел. Это тоже — крайность. Благоразумное отношение — руководствоваться одной нравственной, духовной целью, делать то, что считаешь должным, и верить, что остальное приложится, то есть будет то, что должно быть. Не надо, конечно, губить свое здоровье. Надо его беречь, чтобы быть в состоянии служить Богу и людям, но ни на минуту не прекращать служения из-за заботы о здоровье. Главное — ненарушение инстинктов естественной жизни, к которой надо прислушиваться и следовать ей, а не предписаниям несчастных, заблудших, самоуверенных шарлатанов, которые только путают, нарушают инстинкты, а главное, увлекают в ненравственную жизнь». А свою любимую дочь Александру просил об одном: «Докторам не верь. А постарайся гигиенически лучше устроиться».

Глава 19

«Е. Б. Ж.»

Лев Николаевич был суеверным человеком. Ему все время казалось, что скоро «наступит ночь вечная», что он «скоро умрет». Он любил «смотреться часто в зеркало». Говорил, что это «глупое, физическое себялюбие, из

которого кроме дурного и смешного ничего выйти не может». Такую запись писатель оставил в своем дневнике 8 марта 1851 года. «Просыпал солонку» и после этого на него нашел, как он выразился, «ужасный мрак». Толстой очень боялся плохих предзнаменований и предсказаний. «Имел слабость» загадывать непременно что-то важное, прибегая к лексиконам. Так, он однажды что-то загадал, и у него «вышло: подметки, вода, катар, могила». Писатель не на шутку испугался.

Все Толстые боялись грозы. Лев Николаевич избавился от этого страха в Севастополе, испытав ужасы войны. Все «странное», темное, скрытое, ночное являлось фамильной чертой не только самого писателя, но и его братьев и сестры. Их всех объединяло чувство таинственного, неведомого, мистического. В ноктюрных шорохах и стуках, вещих снах, в цифровой символике, в приметах им чудились знаковые предсказания. Фамильный дом был сплошь наполнен семейными преданиями, легендами, передаваемыми из поколения в поколение. Все помнили миф, согласно которому прапрабабка писателя княгиня Мордкина часто выходила по ночам из темного портрета, висящего в зале, и ходила по комнатам, стуча своей клюкой.

Особой странностью отличалась сестра Льва Николаевича Мария Николаевна, с которой был связан сонм таинственных воспоминаний. Она не вызывала духов, они сами, без особых приглашений, являлись к ней в разных обликах. Толстовская сестра верила в силу общения с миром мертвых, в непрерывную связь с ним. Возможно, именно поэтому ей не раз мерещился образ покойной свекрови. В молодости, сидя в сумеречной гостиной, она увидела из окна, как между деревьев промелькнула довольно крупная мужская фигура. В испуге сестра Толстого отбежала от окна. С ней приключалось немало подобных историй. Так, однажды, проснувшись на рассвете, когда было еще полутемно, она увидела перед собой женщину, похожую на монахиню, одетую во все белое, которая прошла мимо нее в таком узком проходе, где обычный человек не поместился бы. Она любила все сверхъестественное и верила в то, что многие неприятности ее брата Сергея были вызваны растуши-

ми на клумбах цветами, «сережками». Как-то ночью, чтобы не обидеть садовника, она вырвала эти цветы из клумбы. После этого случилось чудо: настроение брата, его дела поправились. Мария Николаевна была очень суеверной: никогда не уезжала в понедельник или в пятницу, считая эти дни несчастливými; не любила, когда ее спрашивали, в какой именно день она уезжает. В таких случаях она с неохотой отвечала: «Да, если я буду здорова» или: «Если ничто не помешает».

Старший брат писателя всегда следил за нарождавшимся месяцем, сверяя приметы старушки-прислуги с наступившей погодой. Он много думал о своем младшем брате Льве, который представлялся ему в образе замечательного фокусника, собиравшего вокруг себя публику. Лев Николаевич в его фантазиях как будто бы выходил на эстраду с пустой бутылкой и рассказывал людям о том, как он быстро и легко сейчас в нее влезет. Зрители аплодировали, ждали, но у артиста, как он ни старался, ничего не получалось. Сергея Николаевича связывало с младшим братом много «странного», в частности любовь к пасьянсам, особенно к большому — двенадцать карт в ряд.

У Льва Николаевича были свои необычные пристрастия. С годами жизнь для него становилась все более промыслительной, наполненной сакральными смыслами. Многие, что окружало писателя, приобретало статус символа. Так, например, случилось с числом «28», ставшим нумерологической формулой, кодом жизни, вместившим в себя дату рождения Толстого и его ухода из родной усадьбы. «28-ое, день моего рождения, второй раз в моей жизни был для меня памятным и печальным днем: в первый раз, 14 лет тому назад, это была смерть тетушки Александры Ильиничны, теперь — потеря Севастополя», — отмечал писатель знаковость «28» в письме к Т. А. Ергольской в 1855 году. Старший сын Толстого рассказывал: «Я родился 28 июня 1863 года... 27-го вечером, когда начались роды, отец говорил матери: “Душенька, подожди до полуночи”. Ему хотелось, чтобы его старший сын родился 28-го: как известно, эту цифру он считал для себя счастливой». Толстой не раз указывал на семантику этого

числа: «Я родился в 28-м году, 28 числа и всю мою жизнь 28 было для меня самым счастливым числом. И вот недавно мне пришлось узнать, что и в математике 28 есть особое совершенное число».

Ему было «приятно играть цепочкой часов, навертывая ее 28 раз». Придавая особый смысл этому числу, он открывал сборники стихов исключительно на двадцать восьмой странице, считая, что этого вполне достаточно для того, чтобы прокомментировать стихи того или иного поэта-модерниста. Действие романа «Воскресение», как и духовное возрождение Нехлюдова, знаменуется этим символическим квантором. Может быть, Толстой научился у Пушкина, своего учителя, придавать числам особый, суеверный смысл? Он любил всё ассимилировать, усваивать чужое, с помощью которого хотел лучше понять себя, а значит, понять и другого.

Писатель покинул Ясную Поляну в 82 года 28 октября, продемонстрировав тем самым парадоксальность своих привязанностей к символам, к сторонней странности, объяснявшей необычность состояния его души в особо кризисные моменты своего бытия. Вне этих «странностей» не совсем полно, односторонне представляется портрет Льва Николаевича. В «игре» света и теней образ Толстого воспринимается наиболее гармонично.

Смысл предназначения, роль Божьего наказания, доля собственной вины — всё это было чрезвычайно важным для фатального восприятия облика писателя, постоянно искавшего идеальное равновесие, некую «золотую середину» в своем примирении с судьбой. Нередко он ощущал внутри себя бесенка, подмигивающего и говорящего ему, что все его желания являются своего рода «толчением воды». Но Толстой не давал ходу этому бесенку. Так, перед Севастополем одна из теток писателя А. А. Горчакова заметила, обращаясь к нему: «Непременно заезжай к Филарету» (известный московский митрополит. — *Н. Н.*). Лев Николаевич прислушался к ее словам и позже вспоминал о своей встрече с Филаретом: «Он очень ласково со мной говорил. Разговор был какой-то серьезный, и потом Филарет благословил меня и подарил образок финифтя-

ный». Этот образок впоследствии хранила Софья Андреевна.

Много говорилось в Ясной Поляне о спиритических явлениях, сравниваемых Львом Николаевичем с чертовщиной. «Почему я должен верить в какой-то бишопизм или гипнотизм? В таком случае надо верить и бабе-знахарке и мужику, который подал брату моему жалобу на соседа, что тот у себя назло ему держит в сундуке семь чертей. Есть область серьезного и область суеверия, человеку надо чувствовать разницу между тем и другим. Если человек пустится в область суеверия, ему некогда будет заниматься даже своим прямым делом. Все такого необычного рода явления имеют один характер: они связаны с внутренним «я» человека, с его внутренней организацией. Но явления, связанные с внутренним строем человека, наблюдать нельзя, потому что чем было бы их наблюдать? Явления материальные доступны опыту, явления духовные — нет. Душе тогда пришлось бы разглядывать себя как бы в зеркале и свое отражение в нем схватывать, но возможно ли это?» — не раз задавался подобным вопросом Толстой. И искал на него ответы, в частности, в английском журнале, где прочитал, каким образом, например, спириты читают чужие мысли. Вопросы, рассказывал писатель, пишутся ими на твердой бумаге, которая вкладывается в конверт и заклеивается жидкостью, которая в свою очередь делает бумагу прозрачной и вскоре испаряется. После этого спирит может легко прочесть написанное на бумаге. Разумеется, он делает при этом всевозможные фокусы над головой своего клиента для придания значительности «волшебному» процессу и для «отвода глаз». Существует множество обманных приемов. Важно их своевременное разоблачение, считал Толстой. Ведь скольких людей спириты успели ввести в заблуждение, сокрушался он. Софья Андреевна рассказывала о проделках спиритов на сеансах, на которых она присутствовала и где быстро поняла, что это сплошной обман. Лев Николаевич заметил, что теософия имеет много общего со спиритизмом. И те и другие, полагал он, только пугают людей, как вивисекция, которая, по его мнению, также ничего не дала.

Толстой вспомнил еще об одном странном явлении — сомнамбулизме, которым, кстати, страдала и его младшая дочь Александра, во сне говорившая по-французски. В этой связи писатель поведал любопытную историю. Как-то сидел он со своей тетенькой в гостиной. Было тихо, приближался двенадцатый час ночи. Вдруг из-под лестницы послышался звонкий, тонкий голос поющего лакея Михея Ивановича. Наяву он никогда не пел, а вот во сне пел удивительно хорошо, верно, точь-в-точь как по нотам. Все это являлось верным признаком сомнамбулизма.

Писатель был убежден, что отсутствие воображения позволяет сверхточно исполнить то, о чем думаешь. Вот что он записал в дневнике 25 декабря 1866 года: «Музыка во сне. Ночью поет Михей». Этот сюжет понадобился Толстому при описании сцены, в которой Петя Ростов, задремавший под звук натачиваемой сабли, в полусне услышал торжественный гимн. Е. Ф. Юнге, родственница Льва Николаевича, рассказывала, что, когда ей исполнилось четырнадцать лет, она видела одного человека в каталептическом состоянии. Несколько мужчин повисли на его протянутой руке, а он, как оцепенелый, падал затылком на землю и не ушибался. Муж-врач упрекал ее, когда она говорила об этом случае, и просил даже при нем ничего подобного больше не рассказывать. Судьба распорядилась таким образом, что через несколько лет ему самому довелось присутствовать на подобном сеансе в Москве, где он увидел загнипнотизированную особу, проделывавшую то же самое. Слушая Юнге, Толстой заметил, что ничего необыкновенного в мире не случается. Со времен Сократа и Платона всегда была некая область, которой приписывалось нечто таинственное — месмеризм, магнетизм.

«Как относиться, будучи на том свете, при встрече с близкими людьми?» — спрашивала присутствующих Т. А. Кузминская. Лев Николаевич тотчас же иронично отреагировал на этот вопрос: «Да ведь там мы не узнаем друг друга. Ведь и сейчас, тут, на этом свете, никого же не узнаем, а я думаю, что мы все жили раньше». Тем не менее тонкая мистическая субстанция взволновала многих, в том числе и Николая Леонидовича Оболен-

ского, вспомнившего о предпринятой министром внутренних дел Плеве поездке к царю по поводу заключения Толстого в Суздальский монастырь. Это произошло в тот самый день, когда Плеве был убит эсером Сазоновым. Писатель подхватил затронутую тему, рассказав, как с ним случалось одно из тех, «несколько раз повторявшихся в его жизни странных прямых вмешательств чьей-то таинственной руки». Три года тому назад, вспоминал он, он купил землю в Самарской губернии, поселял там пшеницу и понес огромный убыток — в 20 тысяч рублей. В прошлом году он «поднял» дело о голодающих. В нынешнем году урожай оказался огромным по всей Самарской губернии. Но из-за того, что землю писателя дожди обошли стороной, посев пострадал. В итоге — вновь большой убыток.

Лев Николаевич рассказывал о своей сестре Марии Николаевне, которая во всем видела таинственное и мистическое. В том числе и в истории основания женского монастыря. Как-то к отцу Амвросию в Оптину пустынь зашли две барышни с прислугой. Он сказал им, чтобы просто так они не ходили, а лучше бы купили имение Шамардино, что находится в двенадцати верстах от Оптиной пустыни, и поселились бы там. Прислушавшись к его совету, они так и сделали, но вскоре умерли от настигшей их дифтерии, а на месте Шамардина вырос женский монастырь, в котором обитало 700 монахинь.

Говорили они и о продолжительности человеческой жизни. Толстовская дочь Таня уверенно заявила, что будет жить долго, потому что представляет прославленный род. Лев Николаевич прервал ее, категорично прикрикнув: «Не говори! Я знал двоих — Страхова и Захарьина, — которые говорили, что я, Лев Николаевич, долго буду жить».

Как-то вечером Толстой прочел рассказ Наживина «Мой учитель», навеянный теософскими верованиями индусов. «Если человек замурует себя в подземелье и умрет там, полный великой мыслью, то мысль эта пройдет через гранитную толщу подземелья и охватит все человечество». Лев Николаевич восхищался этой мудростью. Если вся сила заключалась в духовном, размышлял

он, то материальное не может препятствовать проявлению духовного. Зять писателя, Сухотин, возражал, говоря, что ведь это тогда мистицизм. «Называйте, как хотите», — парировал Толстой, веруя в самостоятельное существование мысли не иносказательно, а в прямом смысле. Когда писателя спрашивали: «Но все-таки материальное вы признаете необходимым для проявления духовного?» — он категорично отвечал: «Может быть, это покажется парадоксальным, но я этой необходимости признать не могу». Толстой не отрицал своего мистицизма, верил в жизнь после смерти, или в метемпсихоз, более того, — в индивидуальное посмертное существование, а не в нирвану или слияние с мировой душой.

А какие же сны видел Лев Николаевич? И как к ним относился? Сны он видел разные и придавал им огромное значение, пытаясь проникнуть в их тайный смысл, и даже придумал собственную теорию сна. Чувство неведомого, таинственного было присуще еще матери писателя, передавшей свое экзальтированное восприятие мира детям. В частности, мистическому значению снов они придавали немалый смысл. Однажды сестра Льва Николаевича Мария увидела во сне мать и приписала увиденному особое значение, подразумевая, что, видимо, мать скоро призовет ее к себе и что она умрет раньше своего брата, ведь она так слаба, а он — в прекрасной форме. Слушая Марию Николаевну, писатель поинтересовался, какой она себе представляет мать. Маленькой, худощавой, с мелкими чертами лица, с темно-серыми глазами, с глубоким взглядом — такой «портрет» «нарисовала» толстовская сестра. «Из нас только у меня и у Николая были серые, материнские глаза», — задумчиво произнес Лев Николаевич. Присутствовавшие активно включились в разговор, рассказывая о своем отношении к сновидениям. Так, В. Г. Чертков «поймал» кого-то в открытом пристрастии к тщеславию. «С чем наяву борешься, то во сне и снится, не совладаешь никак с этим», — заметил Толстой по этому поводу. «Знаете, — напомнил он, — что Паскаль носил колючий пояс, и когда чувствовал в себе грех честолюбия, то с силой нажимал на пояс. Так исчезало “гримасничанье с добродетелью”».

Нередко, по собственному признанию Льва Николаевича, ему снились вещие сны, опережавшие явь. Когда ему было 28 лет и он был еще холост, Толстой увидел сон, ставший пророческим: он вертел стол, и стол ему сказал, что его женят в Москве, и даже назвал на ком, и что он будет очень счастлив. Действительно, сон оказался «в руку», правда, с небольшой толстовской оговоркой: «Могло бы быть гораздо лучше». Когда писателю исполнилось восемьдесят лет, он вспомнил еще об одном своем вещем сне: «Я не верил бы, если бы это не со мной случилось. Я тогда занимался охотой, хозяйством, был глуп до невозможности, всякие забавы, и вдруг такое». И далее Толстой прочел записанный им в 1865 году пророческий сон о том, что русскому народу предстоит освободить землю от собственности. Все это он увидел во сне 13 августа.

Писателю нравилось замечание Паскаля, под которым и он мог бы подписаться: «Если бы каждую ночь видеть продолжение сна предшествовавшей ночи, то можно было бы спутать, где действительность, а где сон». Своим снам, их верному прочтению, Толстой уделял большое внимание. Однажды он «живо и ясно» увидел во сне Татьяну Александровну Ергольскую, свою «милую тетеньку». Утром он рассказал о своем сне старшей дочери Тане, у которой недавно родилась долгожданная дочка Маша. Писатель попросил, чтобы внучку все-таки назвали в честь его тетушки — Татьяной. С тех пор внучку Льва Николаевича, прожившую долгую и счастливую жизнь, в шутку величали Татьяной Татьяновной.

В самых интересных снах, полагал Толстой, нет личности, времени и пространства. Сны, по его мнению, обычно бывают психологически верными. Писатель считал, что сновидение — некое мгновение между пробуждением и бодрствованием. В крепком же сне сновидений не бывает.

С бессонницей он боролся, решая математические задачи. Во время работы над «Азбукой» в 1872 году Толстой обратился к известному тогда академику В. Я. Буняковскому с просьбой рассмотреть «математическую часть» его «Азбуки». Вскоре он получил от академика

обстоятельное письмо на двадцати страницах, в котором тот хвалил и «дельно критиковал» автора за то, что он «напрасно в дробях исключил все прежние приемы». Многие математические дилеммы приходили ко Льву Николаевичу ночью, мучая и не давая заснуть. Сон, по его мнению, такая вещь, которая наступает вне зависимости от человеческой на то воли. Чем больше человек думает о том, что «надо спать», тем труднее ему бывает заснуть. Толстой считал, что засыпаешь как раз тогда, когда отсутствуют всякие мысли. Днем писатель спал мало, говоря, что для него «заснуть днем все равно что окунуться в воду: окунулся и довольно!».

Оказывается, существуют не только «бродячие» литературные сюжеты, которых насчитывается около тридцати шести, но бывают еще и одинаковые сны. Подобный сон о сыновней свободе видел то Пушкин, рассказывавший об этом в «Путачеве», то Достоевский, поведавший о мужике Марее, то Толстой, увидевший как-то мужика, которого принял за своего отца. В этом сне прочитывается нечто глубинное — родовое, объясняемое фрейдистским, чисто отцовским комплексом, сравнимым только лишь с эдиповым.

Однажды он описал свой фантастический сон в письме к Тане Берс, который его жена нашла «сумасбродным» и в нем «ровно ничего не поняла»: «Ты знаешь сама, что она (Соня. — *Н. Н.*) всегда была, как и все мы, сделана из плоти и крови и пользовалась всеми выгодами и невыгодами такого состояния: она дышала, была тепла, иногда горяча, дышала, сморкалась (еще как громко) и т. д., главное же, владела всеми членами, которые, как то руки и ноги, могли принимать различные положения, одним словом, она была телесная, как все мы. Вдруг 21 марта 1863 года в 10 часов пополудни с ней и со мной случилось это необыкновенное событие. Таня! Я знаю, что ты всегда ее любила (теперь неизвестно уже, какое она возбуждает чувство), я знаю, что во мне ты принимала участие, я знаю твою рассудительность, твой верный взгляд на важные дела жизни и твою любовь к родителям (приготовь их и сообщи им), я пишу тебе все, как было.

В этот день я встал рано, много ходил и ездил. Мы вместе обедали, завтракали, читали (она еще могла чи-

тать). И я был спокоен и счастлив. В 10 часов я простился с тетинькой (она все была, как всегда, и обещала придти) и лег один спать. Я слышал, как она отворила дверь, дышала, раздевалась, все сквозь сон... Я услышал, что она выходит из-за ширм и подходит к постели. Я открыл глаза... и увидел Соню, но не ту Соню, которую мы с тобой знали, ее, Соню — *фарфоровую*!! Из того самого фарфора, о котором спорили твои родители. Знаешь ли ты эти фарфоровые куколки с открытыми холодными плечами, шеей и руками, сложенными спереди, но сделанными из одного куска с телом, с черными выкрашенными волосами, подделанными крупными волнами, и на которых черная краска стерлась на вершинах, и с выпуклыми фарфоровыми глазами, тоже выкрашенными черным на оконечностях и слишком широко, и с складками рубашки крепкими и фарфоровыми, из одного куска. Точно такая была Соня, я тронул ее за руку, — она была гладкая, приятная на ощупь, и холодная, фарфоровая. Я думал, что я сплю, встряхнулся, но она была все такая же и неподвижно стояла передо мной. Я сказал: ты фарфоровая? Она, не открывая рта (рот как был сложен уголками и вымазан ярким кармином, так и остался), отвечала: “да, я фарфоровая”. У меня пробежал по спине мороз, я поглядел на ее ноги: они тоже были фарфоровые и стояли (можешь себе представить мой ужас) на фарфоровой, из одного куска с нею, дощечке, изображающей землю и выкрашенной зеленой краской в виде травы. Около ее левой ноги немного выше колена и сзади был фарфоровый столбик, выкрашенный коричневой краской и изображающий, должно быть, пень. И он был из одного куска с нею. Я понял, что без этого столбика она бы не могла держаться, и мне стало так грустно, как ты можешь себе сообразить, — ты, которая любила ее. Я все не верил себе, стал звать ее, она не могла двинуться без столбика и земли и раскачивалась только чуть-чуть совсем с землей, чтоб упасть ко мне. Я слышал, как донышко фарфоровое постукивало об пол. Я стал трогать ее — вся гладкая, приятная и холодная, фарфоровая. Я попробовал поднять ее руку — нельзя. Я попробовал пропустить палец, хоть ноготь, между ее локтем и боком — нельзя. Там была преграда

из одной фарфоровой массы, которую делают у Ауэрбаха и из которой делают соусники. Все было сделано только для наружного вида. Я стал рассматривать рубашку, — снизу и сверху все было из одного куска с телом. Я ближе стал смотреть и заметил, что снизу один кусок складки рубашки отбит и видно коричневое. На макушке краска немного сошла и белое стало. Краска с губ слезла в одном месте, и от плеча был отбит кусочек. Но все было так хорошо натурально, что это была все та же наша Соня. И рубашка, та, которую я знал, с кружевом, и черный пучок волос сзади, но фарфоровый, и тонкие милые руки, и глаза большие, и губы — все было похоже, но фарфоровое. И ямочка на подбородке и косточки перед плечами. Я был в ужасном положении, я не знал, что сказать, что делать, что подумать, а она бы и рада была помочь мне, но что могло сделать фарфоровое существо. Глаза полужакрытые, и ресницы, и брови — все было, как живое издалека. Она не смотрела на меня, а через меня на свою постель; ей, видно, хотелось лечь, и она все раскачивалась. Я совсем потерялся, схватил ее и хотел перенести на постель. Пальцы мои не вдавались в ее холодное фарфоровое тело, и, что еще больше поразило меня, она сделалась легкою, как скляночка. И вдруг она как будто вся исчезла и сделалась маленькою, меньше моей ладони, и все точно такую же. Я схватил подушку, поставил ее на угол, ударил кулаком в другой угол и положил ее туда, потом я взял ее чепчик ночной, сложил его вчетверо и покрыл ее до головы. Она лежала там все точно такую же. Я потушил свечку и уложил у себя под бородой. Вдруг я услышал ее голос из угла подушки: “Лева, отчего я стала фарфоровая?” Я не знал, что ответить. Она опять сказала: “Это ничего, что я фарфоровая?” Я не хотел огорчить ее и сказал, что ничего. Я опять ощупал ее в темноте, — она была такая же холодная и фарфоровая. И брюшко у нее было такое же, как у живой, конусом кверху, немножко ненатуральное для фарфоровой куклы. — Я испытал странное чувство. Мне вдруг стало приятно, что она такая, и я перестал удивляться, — мне все показалось натурально. Я ее вынимал, перекалывал из одной руки в другую, клал под голову. Ей все было хорошо. Мы заснули. Утром я встал и ушел,

не оглядываясь на нее. Мне так было страшно все вчерашнее. Когда я пришел к завтраку, она была опять такая же, как всегда. Я не напоминал ей об вчерашнем, боясь огорчить ее и тетиньку. Я никому, кроме тебя, еще не сообщал об этом. Я думал, что все прошло, но во все эти дни, всякий раз, как мы остаемся одни, повторяется то же самое. Она вдруг делается маленькой и фарфоровой. Как при других, так все по-прежнему. Она не тяготится этим, и я тоже. Признаться откровенно, как ни странно это, я рад этому, и, несмотря на то, что она фарфоровая, мы очень счастливы.

Пишу же я тебе обо всем этом, милая Таня, только затем, чтобы ты приготовила родителей к этому известию и узнала бы через папá у медиков: что означает этот случай, и не вредно ли это для будущего ребенка. Теперь мы одни, и она сидит у меня за галстуком, и я чувствую, как ее маленький острый носик врежется мне в шею. Вчера она осталась одна. Я вошел в комнату и увидел, что Дора (собачка) затащила ее в угол, играет с ней и чуть не разбила ее. Я высек Дору и положил Соню в жилетный карман и унес в кабинет. Теперь, впрочем, я заказал и нынче мне привезли из Тулы деревянную коробочку с застежкой, обитую снаружи сафьяном, а внутри малиновым бархатом, с сделанным для нее местом, так что она ровно локтями, головой и спиной укладывается в него и не может уж разбиться. Сверху я еще прикрываю замшей.

Я писал это письмо, как вдруг случилось ужасное несчастье, она стояла на столе, Н. П. (Н. П. Охотницкая. — Н. Н.) толкнула проходя, она упала и отбила ногу выше колена с пеньком. Алексей говорит, что можно заклеить белилами с яичным белком. Не знают ли рецепта в Москве. Пришли, пожалуйста».

Толстой увидел этот сон в сложный момент своей супружеской жизни, когда он «чуть не раскаивался» в том, что женился. «Он выдумал, что я фарфоровая, такой поганец! А что это значит — бог знает. Что ты думаешь о его сумасшедшем письме?» — с волнением спрашивала Софья Андреевна свою младшую сестру. В слове «кукла» вряд ли зашифрован смысл о «бездельной барышне». Скорее, эта метафора означает фригидность — холод-

ность, отсутствие эротического опыта. Казалось бы, сон невозможно пересказывать столь художественно, чтобы не лишить его при этом особого дыхания, некой музыки, но Льву Николаевичу удалось сделать это, как всегда, гениально.

Таких необычайных снов с «ирреальной реальностью», тонкой имитацией жизни в толстовской сновидческой практике было немало. О них он не раз рассказывал своей свояченице, «сияющей мечте», *mademoiselle* Тане. Прочитируем еще один из них: «Я видел сон: ехали в мальпосте (почтовой карете. — Н. Н.) два голубя, один голубь пел, другой был одет в польском костюме, третий, не столько голубь, сколько офицер, курил папиросы. Из папиросы выходил не дым, а масло, и масло это было любовь. В доме жили две другие птицы; у них не было крыльев, а был пузырь; на пузыре был только один пупок, в пупке была рыба из охотного ряда. В охотном ряду Купфершмит (первая скрипка в оркестре Большого театра. — Н. Н.) играл на валторне, и Катерина Егоровна (учительница немецкого языка) хотела его обнять и не могла. У ней было на голове надето 500 целковых жалованья и резю (шелковая сетка для волос) из телячьих ножек. Они не могли выскочить, и это очень огорчало меня».

Символика этого сна весьма проста: в шутливо-аллегорической форме Толстым воспроизводилась поездка Тани Берс со своим женихом и братом в Ясную Поляну.

Писатель любил, «увернувшись потеплее в одеяло», броситься в объятия Морфея, чтобы «наслаждаться» фантазиями сна: голыми женскими руками с ямочками и складочками, верховой ездой, охотой. Огромное количество снов, щедро разбросанных по толстовским дневникам и записным книжкам, словно просятся в «сновидческий» симболярный. Его «подпольный мир» — своеобразная амальгама из символов, аллегорий, обрывков реальности. Эта фантасмагорическая смесь дополнялась тайными смыслами.

Толстой постоянно бился над разгадкой «механизмов» сна, разрабатывая собственную концепцию. «Я видел во сне девушку, в которую был влюблен, и при этом с такую верностью воображение воспроизводило не ее,

а меня, в том чудном состоянии души, когда человек бывает искренно влюблен, что я проснулся влюбленным. Когда душа человека во сне — не была развлеченной внешними предметами, и вступает в то состояние души, в котором находилась прежде (что случается и наяву, когда нам кажется, что какой-нибудь факт повторялся уже несколько раз), она воспроизводит все предметы, в то время отражавшиеся в ней. — Это одна из причин сновидений. Другая причина есть: внешние действия во время сна. — А третья: быстрое движение мысли, посредством которого соединяешь в одно целое: воспоминания и состояние души во время сна, внешние впечатления, поражавшие человека во время сна и неполных пробуждений». Приведенный нами пассаж представляет собой хорошо продуманную экспертизу сновидческого опыта. Но самое главное заключается в том, что сны раскрывают сложную «диалектику души» Толстого. Его сны были, как он выражался, «последовательными», «очень яркими», «безнравственными», «музыкальными», «золотыми и серебряными». Золотые — это значит послеобеденные, а серебряные — предобеденные, или, как их еще называли в Ясной Поляне, — «ноги греть». Многие сны можно было сравнить с повестями или романами. Иные являлись некими снами-мыслями. Встречались и семейные, отражавшие домашние коллизии, — от ранних, где жена любит его «легко и ясно», до «очень тяжелых», характеризующихся «борьбой с женой». Толстому случалось увидеть милые сны, в которых «собаки лизали ему ноги». Но больше всего ему все-таки нравилось «думать во сне».

Лев Николаевич интересовался природой сновидения, его связью с человеческим «подпольем», что гениально описал в своих романах. Чего только стоят сны Пьера Безухова и Андрея Болконского, Анны Карениной и Алексея Вронского. Эти сны прелестны грацией рисунка, прихотливостью архитектоники. Но в его писательской практике встречались и совсем иные сны, чрезвычайно колоритные, построенные на игре смыслов и слов, среди них — сон Стивы Облонского: «Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон... Алабин давал обед в Дармштадте; нет, не в Дармштадте, а что-то аме-

риканское. Да, но там Дармштадт был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах, да, — и столы пели: *Il mio tesoro* (мое сокровище. — Н. Н.) и не *il mio tesoro*, а что-то лучшее и какие-то маленькие графинчики, и они же женщины, вспоминал он». Толстовский герой, привыкший к беспечной, вальяжной жизни, постоянно проводящий время в шантанных кутежах, в обществе «поющих графинчиков» и певичек, привычно отождествлял женщин с графинчиками. Символика этого сна адекватна яви.

Сновидения обнажали то, что глубоко скрывал разум. Однажды ему приснилось, как кто-то ударил его по лицу, а он не смог должным образом ответить своему обидчику, не вызвав его на дуэль. Проснувшись, Толстой объяснил свой сонный «поступок» тем, что «во сне действует ум, а разум, сила нравственного движения отсутствует».

А теперь заглянем туда, куда, как говорил Лев Николаевич, не следует заглядывать. Напомним, что он регулярно делал записи в двух книжках, одна из которых, «денная», предназначалась для дневных заметок, а другая — «спальная» — для самых интимных, которые писатель записывал ночью, когда мысль, по его выражению, находилась в зените. Для этих целей у него даже была специальная английская металлическая ручка фирмы «Хавер» с электрической лампочкой, с помощью которой Толстой записал этот сон: «Я выгоняю сына: сын — соединение Ильи, Андрея и Сережи. Он не уходит. Мне совестно, что я употребил насилие, и то, что не довел до конца... Вдруг этот собирательный сын начинает меня своим задом вытеснять с того стула, на котором я сижу. Я долго терплю, потом вскакиваю и замахиваюсь на сына стулом. Он бежит. Мне еще совестнее. Я знаю, что он сделал это не нарочно... Приходит Таня и говорит мне, что я не прав. И прибавляет, что она опять начинает ревновать своего мужа... Вся психология необыкновенно верна, а нет ни времени, ни пространства, ни личности». Весьма красноречивый сон, но еще более впечатляет авторский комментарий к нему. Этот сон мог быть сравним только лишь с виртуозной интерпретацией «движения» сна одного из героев

фильма Бюньюэля «Скромное обаяние буржуазии», в котором презентация сновидения — реальнее яви. Здесь сон, как утверждали древние, «сам себя толкует».

Однажды Толстой увидел очень страшный, угрожающий сон: «В темной комнате вдруг страшно отворилась дверь и потом снова неслышно закрылась. Мне было страшно, но я старался верить, что это ветер. Кто-то сказал: поди, притвори. Я пошел и хотел отворить. Сначала кто-то упорно держал сзади. Я хотел бежать, но ноги не шли, и меня обуял неописанный ужас. Я проснулся. Я был счастлив пробуждению». Подобные сны невольно приводили к мысли, что «жизнь есть радость пробуждения». Писателю становилось легко после пробуждения.

Благодаря снам он заглядывал туда, куда не надо смотреть человеку с земным видением. Но это было только в снах. В реальной жизни Толстой был более предназначенным, суеверно полагая, что будущее должно быть задержано от дерзкого взора неким покрывалом. Каждый день он теперь встречал таинственной пиктограммой «Е.Б.Ж.» — «Если Буду Жив».

Еще большее значение писатель придавал нумерологическим смыслам, особенно мистическому числу «13», означавшему в древнееврейской символике смерть. Так, для него было чрезвычайно важно, сколько, например, человек участвовало в том или ином застолье. Если их оказывалось 13, то разговор невольно посвящался смерти. Один из гостей, Иван Тургенев, в этой связи осторожно заметил, что боязнь смерти — естественное чувство. Из-за этого страха он даже не приезжал в Россию во время холеры. Толстой же был убежден в обратном: тот не живет, кто боится смерти, которая неизбежна, как ночь или зима.

Он не раз сравнивал жизнь человека с падающим камнем: чем ближе к земле, тем быстрее падение. Теперь писатель искал новые смыслы в снах, цифрах, художественных текстах. Они приобретали космологический характер, помогая ему лучше прочувствовать самобытие. В этих переживаниях ему помогали гениальные тексты, такие как «Король Лир», ставший для него вещим, от пророчеств которого на душе становилось темнее ночи.

Среди многочисленных человеческих недугов, таких как русская хандра или английский сплин, есть, пожалуй, наиболее опасный. Недуг этот, назовем его «болезнью Лира», наделен определенной симптоматикой, сопровождаемой чувством одиночества и боязнью смерти. Эта странная болезнь была зафиксирована еще за 800 лет до Рождества Христова анонимным автором драмы «Король Лир», первым из писателей сумевшим сублимировать человеческое одиночество. Ей были подвержены преимущественно мужчины. Ведь различие между полами, с точки зрения Толстого, заключалось в том, что женщины, в отличие от мужчин, не думают о смерти.

«Болезнью Лира» страдали все великие. Ведь они — пустынноики по определению. Своими мучениями, вызванными этим заболеванием, они расплачивались за свою уникальную способность погружаться во тьму, находя, что «самое интересное в жизни — смерть». Этой тяжелой хронической болезнью заболевали многие писатели, в том числе и Лев Толстой. Знания медицины здесь оказались бессильны. Момент, когда наступит период облегчения, был неизвестен. Успокаивало только одно: от этой болезни не умирают. И все же утешений было мало: природа, воздух и «дыхание света» не воодушевляли в период обострений. Тем не менее борьба с недугом велась достойно. Все знали: надежд на избавление от смерти нет. Поэтому и озлобления не наблюдалось. Болезнь экзаменовала пациента на смирение, подсказывая, что скорый конец их жизни не предвидится. Значит, расчеты с ней должны развиваться медленно.

В литературе издавна существовали бродячие сюжеты, кочевавшие во времени и пространстве. Гоцци насчитал их более тридцати, а де Нерваль сократил это количество до двадцати. Один из этих кочующих сюжетов — о короле Лире. Генезис «лирства» восходит к старинной драме «Король Лир». Неизвестный автор, рассказав о спасении души, сопровождаемом отказом от власти, придумал благополучный конец: Корделия возвращает отца в прежнее состояние. Впоследствии Шекспир переосмыслил этот сюжет, сделав его финал трагичным, и получилась пьеса, повествующая о метафизике ухода, его неизбежности и привкусе смерти.

«Король Лир» был увлекательной темой петербургского литературного бомонда 50-х годов. Одно время Толстой хотел полюбить и Шекспира. Всеми силами старался проникнуть в гениальное творение, постичь его гармонию и величие духа. Он стал читать «Лира» в переводе Дружинина. Антипатия к Шекспиру на время исчезла, он стал «понимать Лира» и пить за здоровье его автора. Не без помощи Тургенева он стал «приближаться» к Шекспиру, много читал его и «очень им восхищался», видя «огромный драматический талант».

Толстой пережил эту трагедию лично, невольно оказавшись в роли Лира. Лир Шекспира — безусловный архетип позднего Толстого. Он — больше реальности. Он — предчувствие и предсказание, одинокий крик, предупреждающий о грядущей беде. Идею ухода Толстой вынашивал много лет. Он постоянно грезил о свободе вне дома. Одиночество окрыляло его все более. Лир невольно становился идеалом его жизни, который захотелось во что бы то ни стало претворить в жизнь. Этот образ стал его личным мифом, спасающим и карающим божеством.

Действительно, у Толстого и шекспировского героя немало странных сближений: острое разочарование в жизни, иллюзорность прежнего бытия и условность прошлого. Толстой, как и Лир, отказался от всего, чем жил долгие годы, чтобы начать новую, совершенно иную жизнь. В жизни обоих был неслыханный поступок — отречение.

Прежде чем самому стать Лиром, Толстой приумножал свои владения. В этой идее он превзошел своего отца, «поставившего своей целью — поправление состояния, расстроенного отцом». В молодости писатель многое растратил из унаследованного им имущества. Продав деревни (Мостовую, Ягодную, Малую Воротынку) и свой огромный дом в 32 комнаты. Став мужем и отцом, «положив все на эту карту», он кардинально изменил взаимоотношения с собственностью. Он стал собирателем земель и вскоре превратился в богатого преуспевающего помещика. Толстой скупил плодородные земли на Волге, приобрел многие десятины близ своей усадьбы. Он овладел более чем восьмью тысячами десятинами земли.

После этого наступил перелом в его жизни, прежние

ценности потеряли для него всяческий смысл. В это время он был особенно близок к самоубийству, прятал шнурок, боясь повеситься, но, к счастью, не убил себя. Слишком велика была в нем сила жизни, побеждавшая страх смерти. Толстой всё чаще и чаще «громко вскрикивал» о своем уходе из Ясной Поляны. В 1883 году он выдал жене доверенность на ведение имущественных дел. Жизнь в условиях избытка казалась ему тяжелее жизни бродяги. Через два года последовала еще одна уступка: он разрешил Софье Андреевне вести дела по продаже своих сочинений.

Когда весной 1892 года в Ясной Поляне появился Абрагам фон Бунде, богатый швед, раздавший свое имущество и ставший после этого странником, писатель увидел в нем свою тень, собственное отражение: «те же мысли, то же настроение, минус чуткость».

Вскоре, на Страстную неделю, съехались сыновья с намерением делиться. Отцу было тяжело «подписывать и дарить то, что он давно уже не считал своим». В это время он был подобен Лиру, спешащему просунуть голову в воображаемую петлю. Он подписал раздельный акт: вся недвижимость, оцениваемая в 550 тысяч рублей, перешла к жене и детям.

«7 июля 1892 года в крепостную книгу Тульского Нотариального Архива по Крапивенскому уезду был внесен Раздельный акт. Я. Ф. Белобородов, тульский нотариус, владелец конторы, находящейся в первой городской части Киевской улицы, совершил акт. К нему обратился артиллерии поручик граф Л. Н. Толстой вместе с детьми и жена — опекунша малолетних детей (Андрея, Михаила, Ивана, Александры). Присутствовали свидетели из Тулы: коллежский регистратор Павел Петрович Щеглов, проживавший на улице Волкова в доме Вознесенской, и коллежский секретарь Петр Петрович Зверев с улицы Фоминской из дома Савицкого заключили “отдельную запись” о том (что Л. Н. Толстой при жизни своей “составил для сих своих детей”), по которой каждому из детей согласно 924 и 996 статей X тома первой части Свода законов Гражданских распределил имение и приобретенную недвижимость, ничего не оставив за собой».

В этот миг Толстой «по своим разным ходам мысли вспоминал о короле Лире», предложив сыновьям почесть знаменитую пьесу. Прочитали. Но, кажется, не совсем поняли ее пророческий смысл.

Таким образом, Толстой «совершил большой грех», отдав детям свое состояние с лесами, водами и постройками. На старости лет он отошел от семьи в результате нового мироощущения и иного своего жизненного состояния. Он думал теперь не о людях, а о Боге. Он разочаровался в своем прежнем образе жизни, во всем материальном, сопровождавшем его. Отказался от поместья, авторских прав, предпринял беспрецедентную попытку покончить со своим привилегированным положением, чтобы жить как простой крестьянин.

В последние годы жизни Толстой гордо «лирствовал» среди тишины и молчания в Ясной Поляне. Он находился в плену у одиночества. Уже наметилось четкое противостояние между ним и его домашними. Время отцовства он возвратил с помощью младшей дочери — Александры, сыгравшей в последующей его судьбе роль шекспировской Корделии. Сходств, как видим, предостаточно. Не потому ли Толстой так боялся Лира, как можно бояться только своего двойника? И не поэтому ли он так судорожно хватался, как за спасательную соломинку, за анонимного дошекспировского «Короля Лира» с благополучным его финалом? В дошекспировской пьесе теплилась надежда, которая, как известно, умирает последней. Здесь Корделия не гибнет и возвращает отца в его прежнее состояние.

Толстой был человеком предназначенным. Он боялся заглядывать вперед, предпочитая настоящее будущему. Будущее должно было быть закрыто для писателя плотным занавесом. Но вдруг, не без помощи Шекспира, этот таинственный занавес неожиданно приоткрылся перед ним, не оставив надежды. Именно этого жеста он так и не смог никогда простить английскому драматургу. Толстой, так не любивший тавтологий, никак не желал повторять чью-либо жизнь, пользуясь уже известным готовым сценарием.

Ему ненавистна была любая власть, кроме, пожалуй, одной — власти над самим собой. Но в истории с Лиром

произошло что-то непредвиденное: он потерял ее. А тот, кто лишает себя власти, становится жертвой.

И всё же уход Толстого непостижим до конца, как все великое. Его стремительный побег в неизвестность, как и лохмотья странствующего Лира, по-прежнему остается горьким упреком человечеству за легкомысленную неспособность достойно уберечь гениальную старость.

Лир для Толстого стал самой жизнью. Прочитав эскапистскую пьесу Шекспира, созвучную его убеждениям, он заглянул в свое будущее, как в бездну, и то, что он увидел там, заставило его ужаснуться. Написав статью «О Шекспире и о драме», Толстой не знал, как ее закончить, и оставил место для постскриптума. Через четыре года, 28 октября 1910 года, он навсегда покинул родную усадьбу, устремившись на встречу с вечностью. Его уход и стал недостающим своеобразным постскриптумом к этой статье. Круг замкнулся. Совершив побег из Ясной Поляны, Толстой своим поступком благословил то, что так хотел проклясть.

«Болезнь Лира» была побеждена Толстым. Побеждена с помощью творчества и еще путем «расширения жизни, переступающей границы рождения и смерти».

Глава 20

Постжизнь

Жизнь в Ясной Поляне отмеряла теперь новый счет — без Толстого. В сороковой день после его кончины вся яснополянская деревня — мужики, бабы, дети — собралась вместе с Софьей Андреевной у могилы писателя, оправили ее, уложили еловыми ветвями и венками. Трижды вставали на колени и пели «Вечную память».

Главное теперь для родных было выполнить завещание Толстого. Софья Андреевна болела. Она — вся в прошлом. Все валилось из рук. Прожив с Львом Николаевичем 48 лет, она никак не могла представить себе, что там, в земле, под этим холмом в лесу Старого Заказа, — он. Чувства одиночества и страха делали бесприютным дом — гнездо, которое долгие годы она вила своими руками. «Одиноко и тяжело», «страшно и будущего нет» —

привычные ремарки ее дневника тех первых лет после смерти мужа.

Смерть Толстого сплотила семью. К матери в это время относились все с особым вниманием. И все же усадьба пустела. Скрашивали жизнь вдовы сестра Т. А. Кузминская, Душан Маковицкий, за кроткий нрав прозванный «*Душа Петрович*», да Жули-Мули (Ю. И. Игумнова, одна из секретарей Л. Н. Толстого. — *Н. Н.*). Что-то иное помимо воли Софьи Андреевны входило в жизнь усадьбы. Конечно, продолжалась работа над изданием двадцатитомника, и это как-то ее поддерживало. А иное было в том, что приходили посетители, желавшие увидеть могилу Льва Николаевича и осмотреть его комнаты. Как-то приехали 52 курсистки из Петербурга, а однажды появился корреспондент «Русского слова» да с ним целый хоровод паломников, а то вдруг «четверо из Австралии» или даже «один с Кавказа» — «магометанин с венком».

То, что Толстого нет, а к нему едут «со всех концов», поднимало дух. Она отметила благотворное воздействие на нее этого постепенно расширяющегося ручейка посетителей, которых в конце жизни она так и называла — «экскурсанты»: «Иногда бывает приятно чувствовать — особенно в молодежи, любовь к Льву Николаевичу». Этот «ручей» и интенсивная деятельность Толстовского общества все больше укрепляли ее в мысли превратить усадьбу в национальный музей, и уходило чувство бесполезности своего дальнейшего существования. Теперь близкие находили Софью Андреевну «значительно оправившейся после страшного удара, обрушившегося на нее в ноябре 1910 года».

Тем временем младшая дочь писателя Александра Львовна всерьез задумалась о намерениях отца поднять уровень «хозяйственного мышления» яснополянских крестьян. Толстой, как известно, внимательно следил за ростками потребительской кооперации в соседнем Рудакове. Но в Ясной Поляне он так и не успел организовать общество, подобное рудаковскому. В 1911 году по инициативе Александры Львовны было открыто «Потребительское общество», в здании которого разместилась и чайная. Организовав это общество, Александра

Львовна надеялась увеличить кредитные возможности крестьянского хозяйства и создать условия для взаимопомощи внутри сельской общины.

Софья Андреевна принялась старательно снимать копии с толстовских рукописей и писем, увлеклась описанием вещей дома, но все равно у нее часто появлялось острое желание «любить грусть». С особым удовольствием она встречала посетителей, показывала им дом, рассказывала о жизни мужа. Ей важно было объяснить им уход Толстого, семейную драму именно так, как знала и понимала ее только она. Самоотверженно и кропотливо работал и Валентин Булгаков, занимавшийся описанием мемориальной библиотеки писателя. Сам он вспоминал об этом так: «Работа была в высшей степени интересная, но в то же время “утомительная”. Я проглотил всю накопившуюся с годами пыль из всех 23-х шкафов яснополянской библиотеки и часто, изнывая под бременем библиографии, горько сетовал на свою судьбу, но все же довел описание до конца».

Для вдовы Толстого забота о будущем Ясной была теперь самой важной и самой тревожной. Дом ветшал, зарастал парк, лес вырубался. Хозяйство, которое могло бы еще дать какие-то деньги, разваливалось. Многое в нем теперь потеряло для нее смысл: «Грустно, все разоряется, все приходит к концу, и, главное, прекрасная, прошлая жизнь умерла...»

Усадьба после нее должна достаться людям, миру. Но как и на какие деньги беречь? Как быть с сыновьями-наследниками? Появились неожиданные тревоги: «Вечером нахлынули сыновья... и собирают Илью в Америку продавать Ясную Поляну, что мне и грустно, и противно, и не сочувственно. Я желала бы видеть Ясную Поляну в русских руках и всенародных». Идея сыновей заключалась в выкупе самой усадьбы на получаемые в «цивилизованных странах» деньги и передаче ее в некую «международную собственность». Земли имения предполагалось продать американским промышленникам за полтора миллиона долларов. По сути разыгрывалась очередная вариация «вишневого сада», с той только существенной разницей, что речь шла о нацио-

нальном памятнике. Организовался целый синдикат для покупки и эксплуатации Ясной Поляны. Поднялась волна протестов с публикациями писем и статей. В конце апреля газета «Утро Харькова» поместила интервью с сыновьями Толстого, в котором они поясняли свою позицию: «Мы действительно вели переговоры с американскими миллиардерами, но речь шла только о продаже земли, но не усадьбы. Наше общее желание продать все в национальную собственность». Так или иначе, но переговоры о продаже имения иностранцам были остановлены, а обстоятельства эти заставили Софью Андреевну предпринять энергичные действия.

История несостоявшегося выкупа толстовской усадьбы правительством представлена в литературе в весьма упрощенном виде. Между тем она была неоднозначной. В начале мая 1911 года Софья Андреевна встретила в Петербурге с П. А. Столыпиным, премьер-министром, дальним родственником Л. Н. Толстого. На этой знаменательной встрече Петр Аркадьевич «вполне понял необходимость покупки Ясной Поляны» государством, и 10 мая, по его совету, в Зимнем дворце через знакомую гофмейстерину Елизавету Нарышкину вдова передала обращение к царю с просьбой о приобретении усадьбы в государственную собственность. А уже 28 мая «Русское слово» сообщило о решении правительства выкупить у Софьи Андреевны и ее сыновей Ясную Поляну за 500 тысяч рублей. Это была сумма, запрошенная наследниками. В середине июня в усадьбу из Петербурга и Тулы прибыли чиновники для оценки имущества. Были оговорены условия, по которым С. А. Толстой гарантировалось пожизненное право проживания во флигеле, а по смерти ее и сыновей — погребение рядом с могилой Толстого. Началась было опись вещей дома, в июле приехал землемер, но осенью все вдруг затормозилось. В октябре Софья Андреевна была ошелоmlена сообщением в «Русских ведомостях» о том, что «правительство сняло с очереди покупку Ясной Поляны».

Не было ли это каким-либо образом связано с убийством Столыпина, происшедшим в сентябре 1911 года? Еще в мае, беседуя с Софьей Андреевной, Петр Аркадь-

вич небезосновательно опасался «церковных веяний». Столыпина не стало, и опасения подтвердились. Имение было оценено в 200 тысяч. Эти деньги при Столыпине предполагалось выплатить через Крестьянский банк, а выплату дополнительных 300 тысяч должно было взять на себя правительство. Но на заседании Совета министров 14 октября обер-прокурор Синода К. Саблер выступил против выкупа Ясной Поляны «за казенный счет» и увековечивания памяти отлученного от церкви писателя. Формально, правда, вопрос остался «открытым», как сообщали те же «Русские ведомости». Но было вполне очевидным, что дело принимало совсем иной оборот. 18 ноября Софья Андреевна предприняла последнюю попытку. Она написала второе письмо Николаю II: «Если русское правительство не купит Ясной Поляны, сыновья мои, находящиеся, некоторые из них, в большой нужде, принуждены будут, хотя с глубокой сердечной болью, продавать ее участками или полностью в частное владение. И тогда сердце русского народа и потомков Льва Толстого дрогнет и опечалится тем, что правительство не защитило колыбели и могилы человека, на весь мир прославившего русское имя... Не позволяйте бесповоротно погубить Ясную Поляну, допустив продажу ее не русскому правительству, а частным лицам».

В этом письме — все тот же призыв к власти взять на свое попечение уникальный национальный памятник и ультимативный надрыв, порожденный логикой тягостных семейных отношений последних лет и характерный для поступков Софьи Андреевны.

Но машину уже нельзя было остановить. При вялой реакции императора «церковные веяния» всюду гуляли в залах Зимнего дворца. У сторонника Столыпина министра финансов В. Н. Коковцова. Но у него не было того влияния и авторитета, каким обладал покойный премьер-министр. 20 декабря, просматривая Особый журнал Совета министров, царь на соответствующей странице сделал запись, поставившую точку в яснополянском вопросе: «Нахожу покупку имения гр. Толстого правительством недопустимую». Впрочем, предложил Совету министров обсудить «вопрос о размере могущей быть назначенной вдове пенсии». Вскоре та-

кая пенсия — 10 тысяч рублей в год — и была ей выделена. Размер государственной помощи был весьма значителен, если учесть, что примерно с такими пенсиями уходили тогда в отставку высшие чиновники государства. С. А. Толстая послала Коковцову письмо «с благодарностью государю».

Что же касается отказа от выкупа усадьбы правительством, то об этом остается только сожалеть. Случись это, не возникло бы ряда острых ситуаций в жизни яснополянского дома, прежде всего в период 1917—1921 годов и последующие годы. Да и судьбы членов толстовской семьи, к примеру сыновей, могли бы сложиться иначе и более счастливо.

К 1914 году страсти в толстовской семье постепенно улеглись. Теперь, собираясь вместе, больше говорили о постороннем, о жизни в Петербурге или Москве. Не было больше открытых столкновений. Знакомым, приезжавшим в усадьбу, казалось, что в толстовском доме стало как-то проще и даже безмятежнее. Впрочем, Софье Андреевне, на время приезда гостей откладывавшей переписку рукописей мужа, было приятно, когда все собирались в доме. Гости, суета не угнетали. Ей казалось, что «Ясная Поляна опять делается центром, куда все собираются».

Ни она, ни дети больше не встречали молчаливого упрека того, кто так мучился, недовольный собой, и от кого эти мучения, как крути по воде, расходились по всей семье. Теперь можно было не решать какую-то очень трудную и ответственную задачу. Как подмечал Булгаков, «стало возможным жить проще, беззаботнее, эгоистичнее, не ломая голову над разрешением великих проблем о служении людям, о народе, о смерти и бессмертии». Снова играли в крокет или теннис, ездили на лошадях по окрестностям, а по вечерам усаживались за карточные столы.

Между тем младшая дочь писателя занялась подготовкой отдельного издания части писательских дневников. Ее шокировала идея продажи имения американским предпринимателям. Но в юридическом смысле вопрос был сложным: она не являлась наследницей. Когда же «американская история» завершилась безре-

зультатно, а правительственный выкуп не состоялся, Александра Львовна решила напомнить о воле отца: «После моей смерти я прошу моих наследников отдать землю крестьянам и отдать мои сочинения... в общее пользование. Если они не решатся исполнить обе мои посмертные просьбы, то пусть исполнят хоть одну первую». Компромиссное решение, предложенное братьям и матери, вполне могло их удовлетворить: на деньги, полученные от продажи выпущенного Александрой трехтомника, она выкупает у наследников западную часть имения, которую и раздает крестьянам согласно воле отца. С родственниками-наследниками дело решилось на этот раз без особых споров. Но при разделе земли крестьянам Александра Львовна столкнулась с целым рядом проблем, которых не ожидала, так как опыта решения подобных дел не имела.

Ситуация оказалась неясной для крестьян. Они не знали, как быть: слишком уж необычным был сам дар. Из 826 десятин яснополянского имения дочь Толстого в пользу крестьян выкупала 600. Оставшиеся 226 десятин было решено сохранить путем перекупки за Софьей Андреевной. Вдова писателя продавала свою наследственную часть младшей дочери для передачи крестьянам и на эти деньги выкупала у детей территорию самой усадьбы. При оформлении выкупа земля продавалась по 500 рублей за десятину пашни при ее реальной цене в 250 рублей. Кроме того, наследники получали долговременную отсрочку по передаче крестьянам той части, что была занята лесом; земля к ним отходила по мере вырубки леса, проданного купцу Чеснокову. Всего Александра Львовна выплатила братьям и матери 400 тысяч рублей. Если учесть, что усадьба в двести с лишним десятин оставалась за родственниками, тогда как проектом государственного выкупа для вдовы предполагалось лишь пожизненное владение флигелем, то выгода для наследников была несомненной.

Для нарезки наделов был приглашен «опытный человек», который должен был делить землю новым способом — по едокам. С лугами было проще: их разделили по дворам. Дарственный лес, шедший на дрова, делили

«по плечам». Всего яснополянские крестьяне получили около 440 десятин. Остальные 160 были распределены между общинами Груманта, Телятинок и Грецовки. Но Александра Львовна четко оговорила условия, на которых передавалась земля. Один из уцелевших в архиве текстов гласил:

«1. Продавать, закладывать и иным образом отчуждать землю воспрещается.

2. Хозяином земли должно оставаться на вечные времена *все общество* крестьян...»

Хотя новые владельцы и несколько ограничивались в правах на получаемую землю, но для исполнительницы воли Толстого было принципиально важно знать, что полученную землю крестьяне не вправе «будут ни продать, ни заложить, ни отдать в аренду». Она считала необходимым юридически обеспечить на будущее целостность отчуждаемой крестьянам толстовской земли. Яснополянцы с благодарностью вспоминали об этом дальновидном благородном решении дочери Толстого вопреки всем последующим метаморфозам в ее и их судьбах.

Именно в эти годы младшая дочь писателя оказалась душой нового яснополянского бытия. Она построила «великолепную купальню» на Воронке и предполагала сделать еще многое другое для благоустройства любимой Ясной.

Убийство в Сараеве изменило привычный ход жизни. Заметка в «Тульской молве», опубликованная в начале августа 1914 года, сообщала о том, что сыновья Толстого взяты на действительную военную службу, а младшая дочь записалась в сестры милосердия.

Усадьба как-то сразу опустела. Софью Андреевну доносили налоги. Война требовала поставок лошадей, фуража, которые она покупала для хозяйства по высокой цене. Все это оказалось для пожилой хозяйки Ясной Поляны «досадным, деспотичным и убыточным».

Появились потоки беженцев. Яснополянцы снабжали их картошкой, капустой, шили их детям одежду, готовили для фронта «респираторы от удушливых газов, пускаемых немцами». Калейдоскоп хороших или плохих вестей с фронта становился привычным.

Спасение для Софьи Андреевны было в работе над

рукописями мужа, своими дневниками в ожидании приезда детей, внуков и близких знакомых.

«Война, убийство Распутина, путаница в правительственных сферах» — теперь это было предметом разговоров в Ясной Поляне. Новый, 1917 год Софья Андреевна встречала с грустью; на душе было тяжело от мысли, что многие дети находятся далеко от нее. Февраль прошел спокойно и тихо. А 5 марта в Ясную Поляну пришли «с Косой горы рабочие чугунолитейного завода с красными флагами», «рабочие пели, говорили речи, все о свободе». Софью Андреевну это приятно взволновало, и в ответ она произнесла «страстную речь о заветах» мужа. Однако почти сразу же ее эйфория сменилась тревогой — начались погромы помещичьих усадеб. Дошли слухи о разгроме пушкинского Михайловского. А вскоре беда докатилась и до близлежащих мест. Разгромили оба Пирогова — и Большое с именем старшего брата Льва Николаевича, и Малое — имение умершей дочери Марии Львовны, в котором жил ее муж Оболенский. Вскоре волнения среди мужиков начались и в Ясной Поляне. В рассказе яснополянца Михеева реальная угроза доносится только слабым эхом: «Наступил 1918 год, когда по всей России запыхали пожаром имения помещиков. Тогда создалось напряженное положение и в Ясной Поляне».

Еще весной 1917 года в связи с участвовавшими в губернии погромами Софья Андреевна телеграфировала Временному правительству об опасности, грозившей исторической усадьбе. Распоряжением Керенского для охраны имения в Ясную был отправлен отряд драгун. Но его пребывание в деревне подлило масла в огонь: отряд, никем и ничем не обеспеченный, оказался на крестьянском довольствии. Драгуны исчезли, как только зашаталась позиция Временного правительства. А в сентябре в деревне снова заговорили о погроме усадьбы. Начались сходки, на которых одни припоминали обиды от прежних солдатских и недавних драгунских постов, другие наиболее настойчиво «пробивали» свой, самый неотразимый, по их мнению, аргумент в пользу растаскивания усадьбы: Толстой-де сам отказался от имения и ушел из него, поэтому и нечего его жалеть.

117. А. ДОМЪ



Опись вещей №30

по сундукамъ

3-4 Октября 1912г.

и провизии ноября 1912г.

Во флигелъ:

Старый сундукъ отъ горб. кр.

2 картонна пухлякы,

Милера.

2 пелюшки.

2 коврика напольныя.

~~Ков~~

Сундукъ изъ Мокш. кисти
Бибирова: 1 комода Милера.

2 швейцарск. пухлякы.

2 коврика швейцарск. драпировки.

3 драпировки на кресла, под

2 кресла ^{поверхъ, кресла} ~~кожи~~ ^{сидя} ~~кожи~~ ^{сидя}

Узелокъ и амулетъ отъ искуств.

2 рубашки худыя и кисыя.

11 картина св. святыхъ. (Манин)

Кож. амулетъ отъ ледяныхъ
трахелей.

Корзина.

Ст 2^{ая} охоты суров. зааврск.
Зеленые драпировки 4: 2 перса.
4 драпировки и 1 орна.
Колер персидский бумажный от
Курской дукаты. (Взема в
дом)

Сундук с сном. бумаж.
Корз № 2

3 ваз. одна из бумаж.
2 спялка. Новая кисей.
С кроватей режик -
Крас. поносавы белой на миль
3 персидск. зааврск. ^{ку.}
и 1 еще другая.

Бурные и многолюдные сходки не прекращались, «активно выступали обе стороны — противники и сторонники разгрома». А по окрестностям уже орудовала банда молодых яснополянцев под предводительством некоего Ивана Жарова. В сентябре Софья Андреевна решила направить письмо в Министерство внутренних дел с просьбой принять срочные меры по охране усадьбы. В конце сентября в заметке «Ясная Поляна в опасности» «Биржевые ведомости» сообщали, что министерством было «признано наиболее целесообразным командировать в Ясную Поляну лицо, знакомое местным крестьянам и близкое к покойному Л. Н. Толстому, для организации охраны из среды крестьян». Тульскому губернскому комиссару предлагалось «обратить самое серьезное внимание на просьбы гр. Толстой и принять лично все меры к устранению самовольных действий местных граждан по отношению к ее имению». «Лицом, знакомым местным крестьянам», оказался некто П. А. Сергеев (литератор. — *Н. Н.*), призванный патронировать положение дел в Ясной Поляне. Прибыв в усадьбу, он отправился на переговоры с мужиками. Но накал страстей не спадал. Татьяна Львовна, не выдержав напряжения, позвонила Высокомирному, который доложил об этом звонке президиуму губернского Совета депутатов. Через несколько часов отряд из 12 солдат на грузовике вместе с Высокомирным прибыл в Ясную Поляну. Его заявление от имени губернского Совета депутатов о том, что «совет не допустит разгрома усадьбы, имеющей историческое значение, было встречено шумом и криками». Собравшиеся вскоре разошлись по домам. Отряд разместился в усадьбе, а Софья Андреевна с тревогой записала: «Весь юг Крапивенского уезда горит от поджогов. Прошел слух, что нас будут громить... Никто не спал, даже не раздевались».

Пребывание в усадьбе отряда, направленного Советом, и последовавшее вскоре появление милиции сыграли свою роль. Так или иначе, но в Ясной Поляне было теперь более или менее спокойно: «...тень Льва Николаевича прикрывала и надежно охраняла ее».

Активная посредническая деятельность Сергеев между новой властью, толстовской семьей и яснопо-

лянским населением на первых порах приносила определенную пользу. Все более недолюбливавшая Сергеевко, «батюшку-благотетеля», Софья Андреевна тем не менее признавалась: «Много хлопотал и помог нам П. А. Сергеевко. Нам, по его ходатайству, теперь все время продают муку на Косой Горе. Сергеевко вызвал там интерес к охране Ясной Поляны, и к нам три ночи присылают по 15 милиционеров с Косой Горы».

Однако положение во многих отношениях оставалось неясным; то неожиданные демарши местных представителей нового режима, то попытка отобрать приусадебный лес, то намерение лишить вдову пенсии заставили семью и Сергеевко поставить вопрос о сохранности Ясной Поляны перед Москвой. В январе 1918 года проблема охраны усадьбы обсуждалась Наркоматом внутренних дел. В итоге 31 января Тульскому Совету было направлено предписание о принятии «энергичных мер к охране дома в Ясной Поляне», а 30 марта Совнарком подтвердил выплату С. А. Толстой пенсии в 10 тысяч рублей и назначил еще единовременное пособие в 16 тысяч «на поддержание усадьбы», закрепив также за вдовой право пожизненного пользования усадьбой, и, наконец, отметил «государственную обязанность охранять имение Ясной Поляны со всеми историческими воспоминаниями, которые с ним связаны». Продемонстрировав этими актами свою лояльность к толстовскому наследию и близким писателя, новая власть, во всяком случае юридически, оградила усадьбу и ее обитателей от произвола.

В целом зима 1917/18 года прошла спокойно. Но с весны 18-го, после того как в соседних деревнях началась распашка захваченных помещичьих земель, в Ясной снова забурили сходы. Кое-кто в деревне уже готовился к распашке усадебной земли.

Новый узел страстей вокруг «барской земли» пришлось распутывать представителям тульской интеллигенции, к которым обратились за помощью Толстые. Убеждения и разъяснения, накладывавшиеся на собственные сомнения доброй половины яснополянцев, у которых еще была свежа память о безвозмездной передаче им земли А. Л. Толстой согласно воле отца, так или

иначе действовали, и, как писала газета «Тульская молва», сознательность восторжествовала: яснополянские крестьяне постановили считать Ясную Поляну «национальной собственностью». Пройдет несколько месяцев, и принявшаяся перемалывать вековые сельские устои машина военного коммунизма посыплет пеплом не только бурные страсти по поводу передела усадебной земли, но и завещательный акт дарения толстовских десятин. В 1919 году вся толстовская земля — без малого 600 десятин — была отчуждена в пользу государства. Эта акция десятилетия спустя самым драматическим образом сказалась и на судьбе музейной Ясной Поляны. Земля, переданная дочерью Толстого, не только сохраняла свою целостность благодаря общинному землевладению, но и продолжала удерживать свои вековые связи с усадьбой. Превратившаяся в 1919 году в «казенную», она полностью утратила традиционную связь с усадьбой и, окончательно отторгнутая от заповедника, подверглась всем характерным метаморфозам случайного пользования.

Новый драматический виток страстей вокруг толстовского имения заставил тех, кто участвовал в решении конфликта, задуматься о скорейшем создании какого-либо общественного института, который хотя бы временно гарантировал безопасность усадьбы и, возможно, заложил бы определенные принципы ее функционирования как памятника.

Охранно-пропагандистскую функцию взяло на себя созданное в апреле 1918 года общество «Ясная Поляна». В его правлении в большинстве своем оказались преданные памяти писателя люди, такие как доктор Арсеньев, адвокат Гольденблат, архитектор Серебровский, упомянутый Высокомирный и др. Председателем был избран Сергеенко. С лекциями о Толстом, с разъяснениями о ценности Ясной Поляны члены правления часто появлялись на крестьянских сходах. После одной из таких встреч рабочие Косогорского завода сформировали дружину для охраны усадьбы.

В числе первых серьезных акций общества была попытка устройства в Ясной Поляне «трудовой школы-памятника Л. Н. Толстому». С помощью архитектора Сере-

бровского организовали конкурс на проект здания школы, однако ни один из тринадцати представленных проектов «не был признан вполне удовлетворяющим конкурсным требованиям». Софья Андреевна вспоминала, как приехал Сергеенко с архитектором «соображать предполагаемую для народа образцовую школу. Ничего не удастся, затея велика». Она оказалась права. Галопировавшая инфляция заставила инициаторов отложить масштабную идею о школе на неопределенное время.

Решившись на активную хозяйственную деятельность, общество быстро погружалось в трясину традиционного бюрократического бумаготворчества и канцелярщины. Положение в Ясной ничуть не стало лучше после образования общества. Накопилась целая куча разногласий, которую успел нагромоздить «Писатель» (такое скептическое прозвище носил теперь Сергеенко в кругу Толстых). Дело усугублялось тем, что напору Сергеенко не могли противостоять ни старые и больные мать с «тетенькой», ни добродушная, но нерешительная Татьяна Львовна.

Не могла, не имела больше сил думать о прохудившихся крышах, заброшенной скотине, запущенном парке смертельно уставшая от прошедшего драматического десятилетия женщина, которой исполнилось 74 года. Ей оставалось жить всего несколько месяцев. Запутывали ее и метаморфозы смены власти. Ставили охрану, потом снимали, затем снова ставили. Иногда помогали с материалами для усадебных построек, а потом забывали. А свои, яснополянские, крестьяне то отбивали поклоны на могиле Льва Николаевича, то подумывали, как распорядиться «грахским имением». В конце 1918 года волостной финансовый отдел вдруг наложил на нее, как на «представительницу буржуазного класса», контрибуцию в 75 тысяч рублей. Поехали в Тулу, разбирались, налог отменили, но было ясно, что жизнь ее и семьи, как и судьба самой усадьбы оказывались теперь непредсказуемыми. В августе 1919 года, в дни наступления Деникина, Софья Андреевна записала в ежедневнике: «Слухи о погибающем владычестве большевиков. Все радуются, а я им благодарна за постоянные услуги и

помощь». В этой ситуации любая помощь казалась великим благодеянием, но вдова Толстого понимала, что сейчас могло случиться все что угодно. Поэтому и официальное попечение со стороны организовавшегося общества могло оказаться спасением. Софья Андреевна чувствовала, что Сергеенко — «невоспитанный, недобрый человек», что «у него что-то на уме касательно Ясной Поляны», но другого выхода не было. Высокомирный, писавший свой очерк «Ясная Поляна в годы революции» и коснувшийся этой истории, укладывает ее лишь в формальную схему: «поступило заявление», «общество рассмотрело», «решили принять» и т. д. Однако нетрудно догадаться, что за «инициативой» старой хозяйки усадьбы явно маячила тень Сергеенко, яснополянские планы которого неуклонно расширялись. Толстовская семья все больше и больше, не без основания, подозревала в нем манию величия и претензию на незабываемую роль «батюшки-благодетеля». Вряд ли случайно еще в конце января нового, 1919 года Сергеенко «подкрался» к Софье Андреевне и «полтора часа душил разговорами» о том, что «из какого-то Комитета крапивенского охраны детей приезжали люди, которые хотят выселить» из усадьбы всех родственников Толстого, кроме нее, и «устроить детский приют на двенадцать детей», а ее решено поместить в «двух комнатах». Она, правда, не верила, но всего боялась, и в конце концов такие разговоры достигали цели.

Заявление родственников Толстого было, казалось, давно ожидаемым толчком, за которым последовала серия акций общества, формально преследовавшего благие цели. Уже в конце февраля общество направило в Совнарком письмо, в котором содержалась настойчивая просьба срочно санкционировать передачу имения обществу «согласно просьбе С. А. Толстой и Т. Л. Толстой-Сухотиной» «в целях создания хозяйственно-культурно-просветительского центра». Само собой разумеется, для осуществления намеченных мероприятий правление запросило новые долгосрочные ссуды. На абракадабру «хозяйственно-культурно-просветительский центр» и нелепость такого симбиоза из фактически взаимоисключающих компонентов тогда вряд

ли кто обратил внимание, а между тем это обстоятельство вскоре породило принципиальные разногласия между обществом и младшей дочерью Толстого. Впрочем, на первых порах все шло гладко. 5 мая тульский губземотдел вынужден был выделить имение «в общенациональную единицу с изъятием его из ведения местных властей». Это было очень важно: в рутинных и непредсказуемых местных условиях толстовская усадьба теперь уже на юридической основе выделялась среди многих таких же тульских имений, принадлежавших «представителям буржуазного класса».

Обществу разрешалось теперь «обращать доходы на культурно-хозяйственные цели», и одновременно было отпущено 175 тысяч «на расходы, не терпящие отлагательств». Однако основная проблема, заключавшаяся в том, что имение оставалось в ведении Наркомзема, которого не интересовали музеи, похоже, никого не беспокоила. Ассигнования пока поступали, и в этой ситуации, с позиции Сергеенко, не имело никакого смысла разделять «хозяйственные» и «культурные» цели. И хотя новым постановлением от 27 мая 1919 года Комиссариат земледелия признал Ясную Поляну «имением общегосударственного значения», тем не менее управлять усадьбой обществу разрешалось только «под контролем и по инструкции Наркомзема». Правда, тогда же, в конце мая, появился и документ, подтверждавший уникальную культурную ценность памятника. «Охранная грамота», выданная обществу за подписями заместителя наркома просвещения историка М. Покровского и председателя коллегии по делам музеев и охраны памятников искусства и старины Н. Троцкой-Седовой (жены Л. Троцкого), декларировала, что дом и усадьба в Ясной Поляне, как и «все хранящиеся там вещи, картины, портреты, библиотека, мебель, архив, рукописи», «представляющие исключительную культурно-историческую ценность и являющиеся национальным достоянием, находятся под охраной Наркомпроса» и потому «не подлежат ни реквизиции, ни вывозу». Это были важные формулировки, и хотя они и оставались тогда лишь декларациями, но подсказывали путь к фактической национализации памятника и помогали утвердить на го-

сударственном уровне мысль о Ясной Поляне как об «общенациональной единице».

Правда, пока все оставалось в основном на бумагах, в потоке которых правление продолжало утопать. Новый план Сергеенко заключался в создании в Ясной Поляне образцового советского хозяйства.

В это время бурную деятельность, в сущности противоречащую идее музея, развил Николай Оболенский, муж покойной Марии Львовны Толстой. Совхоз, которым он заведовал (помощником у него, кстати, был сын Сергеенко — Михаил), с мая 1919 года активно расширял хозяйственную деятельность на территории самой усадьбы, бесцеремонно приспособливая ее под новые нужды.

Оболенского вскоре утвердили в Наркомземе в должности завхоза, и перед Сергеенко открывались теперь огромные возможности, а главное, впереди очередного начинания снова был он, и все это уладилось в каких-нибудь три месяца. План свой он начал осуществлять с того, что взял в штат много помощников. «Писатель» тем временем активно входил в роль, все чаще и чаще покрикивая на Софью Андреевну и ее старшую дочь. Те слабо пытались протестовать против произвольной «распределитовки» немногочисленных продуктов, но Сергеенко говорил, чтобы они не вмешивались не в свое дело, так как ничего не понимают, что их «удельный вес равен нулю» и что решать все будет только он. После таких столкновений вдове оставалось лишь записывать в ежедневнике: «Сегодня была неприязнь с П. А. Сергеенко. Он нагрубил мне, а я ему сказала, что, если б Лев Николаевич мог слышать, как посторонний человек груб с его женой, он выбросил бы его в окно». Разбору их споров вынуждено было посвятить несколько своих заседаний и правление общества, но никто, естественно, ничего не решал.

Конечно, хозяином Оболенский оказался никудышным. Это быстро поняли окружающие, да и сам он теперь осознавал это не хуже других. Бухгалтер Оболенского В. В. Огнев много лет спустя вспоминал: «Оболенский практически мало уделял внимания хозяйству и служил как бы для представительства и администриро-

1918 год.
Колхоз 22^е

Опись вещей разставленных
по всему дому

В холлоу Саша внизу:

Сашин сундук с горбачей хрипкой.

Кованый сундук с старыми библей.

4 подушки.

Курзала миса Юли Иван.

Полное собрание сочинений.

В алозет: ^{посланы в М. Музею} ~~сундук с...~~

2 Кованый сундук: одна и другая.

В каменной холлоу:

~~Сундук с...~~ 2 сундука 12^е

Липовых 15. ^{продано} 12^е

Тюфяков 3. Простыни по постели.

Сундук с шубами графини.

Сундук с образами.

на 10^е.

вания. Образованный и хорошо воспитанный, всегда безукоризненно одетый, он продолжал жить спокойной размеренной жизнью, как жил в своем имении. Его мало интересовало хозяйство, а оно тогда крайне нуждалось в коренной перестройке. Оболенский чувствовал себя временным жильцом, был ко всему апатичен и искал возможности нового устройства для своей семьи и себя... Он редко появлялся на полевых работах и других участках хозяйства. Часами лежал у себя в кабинете, на диване. Читал, скучал и не находил себе места». При таком хозяине и мало что смысливших в сельском хозяйстве, едва достигших совершеннолетия помощниках новообразованный «совхоз» вряд ли мог, по мнению того же Огнева, даже «едва сводить концы с концами», если бы не надежный кучер Толстых Андриан Павлович Елисеев. Еще в 1905 году он приехал из соседней деревни Ягодной и нанялся к Толстым. Это ему довелось везти Льва Николаевича памятной ночью 28 октября из усадьбы на станцию Щекино. Теперь хозяйство, по сути, легло на его плечи. Все развалилось бы не начавшись, если бы не трудолюбивый и опытный Елисеев. Пятидесяти-трехлетний Андриан Павлович явно через силу, но терпеливо и безмолвно нес свою ношу. Было ясно, что на очередное сергеевское предприятие, субсидировавшееся государством во имя Толстого, быстро собиралась команда нахлебников, никакой пользы от них усадьбе быть не могло. Более тысячи человек оказались «на государственном снабжении, получали пайки, хотя земля, всего 30 десятин, обрабатывалась крестьянами исполу». Толстовская семья с болью наблюдала, «как в Ясной Поляне распоряжаются чуждые Толстому люди. Его именем выпрашивали подачки у правительства, неправильно распределяли средства, а усадьба постепенно приходила все в больший и больший упадок. Зарастал старый парк, погибали плодовые деревья, в Чепыже срезали старые березы, разрушались постройки». В родном доме Толстого, где каждая вещь напоминала о его жизни, все перевернули, перепутали. Невесть откуда появились распорядители, и в этом доме все теперь казалось нелепым и неузнаваемым, «все изменилось», и только две толстовские комнаты «оставались в том же

виде, что и при нем». Татьяна Львовна, имевшая символическую должность хранительницы яснополянского дома, не могла противостоять новым распорядителям. Софья Андреевна «никак не могла добиться, чтобы в большом доме вымыли и вставили вторые рамы. А была уже поздняя осень, холодно, во флигеле, где жил Оболенский, дом был уже давно утеплен». Наконец Софья Андреевна, «стоя на сквозняке, сама стала мыть стекла».

Споры на время стихли летом 1919 года. Можно было как угодно относиться к большевикам или Деникину, но беда в данном случае оказывалась для всех одна: столкновение враждующих сторон вблизи Ясной грозило прежде всего разрушением усадьбы. С приближением деникинской армии в Туле начались волнения, люди ходили «с белыми флагами», которые «выставили на здание почты». А в Ясной Поляне тем временем скапливались воинские части. В самом толстовском доме разместился командирский состав. Все это усиливало страх обитателей усадьбы, в особенности Софьи Андреевны. Ее и пугала, и мучила бессмысленность того, что происходило и происходит именно в Ясной Поляне — «страшно стало жить»; в деревне расположился целый эскадрон, «подумать страшно, что живут вооруженные люди на территории, где родился Толстой!», «надвигается что-то жуткое и страшное». Над толстовским домом взвился было и красный флаг, но Татьяна Львовна настояла на том, чтобы флаг убрали. В первый же день красноармейцы разбрелись по саду и принялись трясти деревья, набивая карманы яблоками. Яснополянцы вынуждены были обратиться к командиру, и тот вместе «с политическим комиссаром и другими» побегал в сад и тотчас же прекратил грабеж.

После многих совещаний в конце концов правление решило добиваться у Совнаркома вывода красноармейских частей из толстовского имения, а при случае и просить достижения договоренности между большевиками и деникинцами относительно сохранности усадьбы.

Президиум ВЦИК признал серьезность ситуации и необходимость вывода территории Ясной Поляны из сферы военных действий. В ноябре, когда опасность

миновала, в тульском «Коммунаре» появилась заметка «Большевики не разрушители», в которой упоминалась только что миновавшая драматическая ситуация в толстовской усадьбе. Это было обычное противопоставление святости нового режима варварству белой армии. Как позже стало известно, «в ставку Деникина было послано сообщение о том, что Ясная Поляна выведена из сферы возможных военных действий». Судя по всему, «деникинские разбойники» с не меньшим уважением отнеслись к той «культурной ценности», какую являло собой толстовское имение, превратившееся было в заложника красных.

А Софья Андреевна доживала последние дни. Она осознавала, что в земной жизни для нее все закончилось, и с печальной усмешкой помечала в своих записях: «Слабею умом и пониманием: “Под гору пошла дорога”, как говорит Тургенев».

Ломались все представления об устоях жизни. Фантазмагория быта становилась нормой, и аномалией оказывались редкие проявления прежнего хода вещей. На Новый год вместо огромной семьи Толстых и дворовых вокруг елки теперь «танцевали солдаты, пленные» попеременно с дворовыми и горничными. Сергеенко это называл «демократическим балом».

В большом и пустом доме научились обходиться одной лампой или восковой свечой. За один пуд скверного керосина просили 60 рублей. Софью Андреевну поразило «известие о том, что разогнали Учредительное собрание и два матроса убили Шингарева и Кокошкина» — министров Временного правительства. Спокойнее становилось, когда приезжал Высокомирный. С ним появлялись солдаты, милиция. С Высокомирным, «очень симпатичным» человеком, пили чай, Софья Андреевна занимала его «разными своими трудами: альбомами, рисунками цветов и грибов, каталогами книг». Но и в последние месяцы жизни жена писателя то «делала опись двух библиотек и спальни Льва Николаевича», то пыталась закончить копию репинского портрета Толстого, то снова разбирала письма мужа, снимала с них копии, принималась дописывать автобиографическую «Мою жизнь». Ее очень расстроила «потеря шести лис-

тов описи яснополянских вещей в верхнем этаже», хотя она и перерыла весь дом, — пришлось снова браться за описи и каталоги.

Долгие часы проводила она в обществе сестры Татьяны Андреевны: «...сидим вдвоем с сестрой в зале за большим круглым столом, и в воспоминаниях проходят все те же лица, которые сживали за этим столом, и не думалось о том, что почти все уйдут, и сердце больно сжимается особенно потому, что те, кто жив, страдают от холода, голода и войны». Но в доме еще оставались тихий Душа Петрович, невозмутимая мисс Вельс (учительница-англичанка в семье Толстых), а по комнатам одиноко бродил бывший камердинер Льва Николаевича Илья Васильевич Сидорков. Как и прежде, приезжала бывшая жена Андрея, милая Ольга Дитерихс. Вдову Толстого особенно радовало, что с ней оставались «две Тани» — дочь и четырнадцатилетняя внучка «Татьяна Татьяновна». Но беспокоила их судьба. Софья Андреевна видела неприкаянность дочери, ее нервные стычки с Сергеенко. Приученная отцом к мысли о неизбежности разрушения помещичьего уклада, она с изумлением наблюдала неприкрытые спекуляции Сергеенко на имени отца. В августе 1918 года, уже основательно узнав повадки «благодетеля», она записала в свой дневник: «Он сидит в Ясной и именем Льва Толстого сохраняет помещичий строй, буржуазную, праздную жизнь, излишества и земельную собственность». Но она вынуждена была, как и мать, пользоваться результатами этой спекуляции, и сознание зависимости от Сергеенко было особенно противно. Поэтому временами Татьяна Львовна порывалась бежать «вон из Ясной Поляны», где на каждом шагу чувствовала «фальшь и притворство». Но брала себя в руки и старалась держаться. Среди хаоса нового быта вдруг придумывала для всех конкурсы с написанием картин или сочинения, и мать старалась выполнять задания дочери.

Обитатели Ясной Поляны были постоянно озабочены поисками продовольствия. Татьяна Львовна отправлялась на тульский базар менять бальные платья матери на продукты. А там царил абсурд: «продать ничего нельзя, купить нельзя, иметь у себя нельзя»; время от време-

ни базар неожиданно оцепляли конные и принимались разгонять торгующих. Самым несносным было то, сокрушалась старшая дочь, «что никто не знает своих прав».

Тем не менее в усадьбе сохранялся привычный распорядок. В установленный час Софья Андреевна своим обычным быстрым шагом входила в столовую и садилась на прежнее место у самовара, а после нее уже усаживались все остальные и начинался обед. Уже в начале 1980-х годов в Италии семидесятипятилетняя «Татьяна Татьяновна» не могла без смеха вспоминать обеды тех голодных месяцев, когда лакей в белых перчатках «подавал на стол день за днем одну и ту же ...вареную кормовую свеклу».

Несмотря ни на что, количество посетителей усадьбы росло: «железнодорожные учителя», «голодные курсистки», «разные комиссары и неизвестные господа», «дети, девицы, гимназисты, члены какого-то трибунала»; мог приехать и «делегат от шведского посольства с графиней Дуглас» или «грузин, находившийся во главе какого-то правительственного учреждения». Софья Андреевна ничему не удивлялась и не возражала, когда ее просили сфотографироваться с группой, хотя теперь это казалось ей «тяжелым и бесцельным». В сергеевское общество она больше не верила. Видела, как члены общества то и дело собираются на свои заседания, «говорят много, дела же ничего не двигаются».

Восемнадцатого сентября 1919 года в Ясную Поляну приехал М. И. Калинин. Примечателен этот приезд прежде всего тем, что он открыл собой бесконечную череду последующих наездов высокопоставленных большевистских лидеров на родину Толстого, включив ее тем самым в арсенал партийной пропаганды. Калинин с его «хорошими манерами» «умного мужика» внимательно осмотрел дом, а после, за чаем на террасе, между ним и вдовой писателя и ее старшей дочерью затеялся долгий и обстоятельный разговор, не приведший, однако, к взаимному согласию. Проходил он не без сумбура, внесенного пропажей восьмидесятирублевого ведра. Говорили о Толстом, о войне, о революции, о голоде.

Когда приезжал Валентин Булгаков, «умный и хороший человек», Софья Андреевна оживала, часами могла беседовать с ним «о толстовских делах». В эти последние месяцы, может быть, самым радостным для нее было то, что новая, все перепутавшая жизнь помирила ее с младшей дочерью. Волевой характер Александры Львовны, решительные намерения защищать мать и родных при малейшей опасности оказались реальной, если не единственной настоящей опорой.

Один из знакомых семьи так описывает свою последнюю встречу со старой хозяйкой толстовского дома: «Софья Андреевна... встретила меня с достоинством, устало и спокойно. Ей было уже 74 года. Высокая, немного сгорбленная, сильно похудевшая — она тихо, как тень, скользила по комнатам и, казалось, при сильном дуновении ветра не удержалась бы на ногах... Беседуя, она не улыбалась, но говорила охотно. Она как бы потухла. Хотя с удовольствием читала свои воспоминания о счастливых днях Ясной Поляны».

Последний в ее жизни Троицын день 8 июня 1919 года она встретила так, как его не праздновали в Ясной Поляне последние лет десять. Светило яркое солнце, пели соловьи, «в изобилии» цвели ландыши и сирень, «на яблонях медянки и сухой мох». В тот день «пришли со станции дочь Саша и внучка Анночка. Все им очень обрадовались». В усадьбе, в деревне — «езде песни, пляски, хороводы», как и прежде, бросание венков в воду. На мгновение, казалось, вернулось прошлое.

Софья Андреевна действительно заболела так же, как заболел перед смертью ее муж, — воспалением легких. Она «очень страдала», но при этом ни на что «не жаловалась, мало стонала, ни на кого не раздражалась». «Чувствовала, что умирает, и не боялась смерти». Еще в июле она подготовила письмо с надписью на конверте: «После моей смерти». «Очевидно, замыкается круг моей жизни, — говорилось в нем, — я постепенно умираю, и мне хотелось сказать всем, с кем я жила и раньше, и последнее время, — прощайте и простите меня...» За два дня до смерти Софья Андреевна позвала к себе дочерей — попрощаться: «Мне хотелось бы сказать вам, прежде чем я умру, что я очень виновата перед вашим отцом. Может

быть, он и умер бы не так быстро, если бы я его не мучила. Я горько об этом раскаиваюсь. И еще хочу вам сказать, что я никогда не переставала любить его и всегда была ему верной женой».

Софья Андреевна умерла ранним утром 4 ноября. Колебались, где хоронить. Раньше она просила похоронить ее рядом с мужем, но незадолго до болезни обмолвилась — «если нельзя, то в Кочаках, рядом с моими детьми». Близкие понимали, что имя отца принадлежит теперь больше миру, чем семье, и Софью Андреевну похоронили на Кочаковском кладбище.

После смерти Льва Николаевича она успела сделать удивительно много для сохранения родовой усадьбы Волконских-Толстых. Казалось, совершила невозможное, оставив потомкам слепок с ушедшего писательского быта, остановив в Ясной Поляне время. От ее наследников, продолжателей традиций, требовалось не так уж много: «жить в доме», чтоб «не рухнул» он, да периодически снимать паутину времени с божественного слепка. Но, кажется, наступило совершенно иное время для Ясной Поляны — время музейного бытия.

От Софьи Андреевны эстафета по сбережению уникальной усадьбы перешла к ее младшей дочери — Александре Толстой. В общей сложности около двадцати лет, вопреки обстоятельствам, они самоотверженно берегли священный мир Толстого. Прежде всего им, матери и дочери, потомки обязаны физическим сохранением великой святыни и созданием на благословенной земле музея великого писателя.

Лев Николаевич и Софья Андреевна не зря нарекли младшую дочь Александрой (защитницей). Судьба, споры с которой бессмысленны, в своем выборе не ошиблась. Александра оказалась истинной защитницей отцовской «колыбели». Путь превращения толстовской усадьбы в музей-заповедник был для нее нелегким и тернистым. Ясная Поляна напоминала тогда дитя с семьей няньками. Так, само имение принадлежало одной няньке — Наркомзему, а Большой дом — другой, Наркомпросу. Администрация имения размещалась во флигеле Кузминских, а руководство дома — в самой мемориальной постройке. Взаимоотношения между ни-

ми напоминали что-то вроде дружбы-вражды. Ясная Поляна была похожа в те годы на лоскутное одеяло, которое каждый тянул на себя. Неразбериха была невообразимой. Прохудилась, к примеру, крыша мемориального дома, и его представитель вынужден был просить управляющего имением о помощи, а тот в ответ — это, мол, не моя компетенция: крыша ведь принадлежит Наркомпросу, а я — от Наркомзема. У меня на ее ремонт денег нет... Дом писателя находился в положении пасынка в собственной усадьбе. Таких противоречий было немало, и они все время создавали ощущение зыбкости и неустойчивости.

После смерти вдовы писателя накал страстей, столкновение интересов достигли своей кульминации. Дочерей Толстого возмущало многое: и половинчатость мер по реорганизации усадьбы, и превращение имения в совхоз, и самоуправство Сергеевко с Оболенским. В этой ситуации необходимо было предпринять самые решительные шаги. План дочерей по спасению усадьбы был весьма прост и заключался в прекращении разрушительной деятельности совхоза, его полной ликвидации и передаче всех дел по управлению имением Наркомпросу.

Нам не дано докопаться до всех тонкостей и всех коллизий той грандиозной драмы идей, под знаком которой прошло все первое десятилетие музея, как не дано сполна насладиться гомеровским гекзаметром. Ключи утеряны. Тем не менее попытаемся по уцелевшим крупницам воссоздать объективную картину первых лет музейной жизни Ясной Поляны. Для сохранения толстовской усадьбы нужны были бесстрашие, воля, энергия. Кажется, всем этим сполна обладала младшая дочь писателя. Здесь находились корни ее бытия, и они крепко держали ее, несмотря ни на какие парадоксы сложного времени. Смысл своего пребывания на этой земле Александра Львовна видела в поддержании духовного огня, в реализации идеи «живого» музея, а не в создании аморфной, безжизненной стилизации. Будущее Ясной Поляны виделось ей в бережном сохранении прошлого.

Между тем неустойчивость яснополянского существ-

ования принимала ярко выраженный характер. Противоречия между различными структурами сильно обострились.

Энергичная и прямая натура Александры Львовны Толстой не могла не протестовать против всего этого. Что-то надо было делать. А делать было крайне трудно, если учесть, что усадьба подчинялась Наркомзему, далекому от интересов культуры.

И все же в ноябре 1919 года она пробилась к Луначарскому. В результате этой встречи дом уже как музей был выделен из хозяйственной территории усадьбы, а сама Александра Львовна получила соответствующий мандат, который гласил: «Настоящим удостоверяется, что комиссаром-хранителем “Ясной Поляны”, всего заключающегося там культурно-ценного наследия Толстого назначается А. Л. Толстая...»

Начало 1921 года Александра Львовна посвятила тому, чтобы добиться передачи усадьбы из Наркомзема в Наркомпрос. После ряда консультаций в музейном отделе, переименованном теперь в Главмузей, не без ее помощи к 10 марта для Наркомзема было подготовлено письмо, в котором говорилось: «О необходимости сохранения исторического облика знаменитой усадьбы... представляется совершенно необходимым объединение общего управления всей усадьбой в руках компетентного органа, каким и является Наркомпрос». После этого начались всяческие бюрократические согласования с аппаратом ВЦИК, куда оно было переправлено.

Через месяц Калинин наложил на это письмо резолюцию: «срочно рассмотреть» этот вопрос. Вскоре необходимая документация по Ясной Поляне была собрана. 25 апреля состоялось заседание Президиума ВЦИК, на котором было решено объявить Ясную Поляну национальной собственностью РСФСР и передать усадьбу в ведение Наркомпроса, а также «предложить Наркомпросу совместно с Наркомземом и Тульским губисполкомом представить на утверждение Президиума ВЦИК проект положения о сохранении Ясной Поляны как исторического памятника». Тревога за будущее Ясной Поляны заставила Александру Львовну

обратиться к Калинин, и тот благосклонно ответил: «Подавайте проект, я поддержу».

Александра Львовна совместно с сотрудниками Глав-музея разработала проект положения по яснополян-ской усадьбе. В течение мая было сделано несколько вариантов декрета. Ряд документов свидетельствует о жарких спорах относительно того или иного пункта. Но главным камнем преткновения был вопрос сопод-чиненности и взаимоотношений между трудовой ком-муной и собственно музейной организацией. «Самым лучшим способом увековечивания памяти Л. Н. Толсто-го в Ясной Поляне, — отмечалось в одном из постанов-лений комиссии, — является организация общины из людей, которые в своей личной жизни проводят идеи Толстого, т. е. они мыслят, живут и работают так, как это проповедовал Толстой. Этой общине с выборным уп-равлением должны быть переданы для пользования усадьба, сад, парк. Дом, где жил Л. Н. Толстой, должен ос-таться музеем... Таким образом, в Ясной Поляне будет два музея: музей — живая община и музей-дом; кроме того... должен быть построен гостеприимный дом для почитателей Л. Н. Толстого и ученых всего мира». Несом-ненно, идея эта была утопичной. Александре Львовне удалось отвести идею организации трудовой коммуны на второй план. Первостепенное же значение приобре-ла идея создания музея-заповедника.

Кажется, близок был конец «войны» с совхозом. Обо-ленский организовал коллективный донос на свою ку-зину. Но все это уже не имело силы.

Десятого июня Александру Львовну вызвали на засе-дание Президиума ВЦИК. Трамваи тогда в Москве не хо-дили, и она поехала в Кремль на велосипеде, прихватив с собой портфель с нужными бумагами. «Дело о Ясной Поляне... шло четырнадцатым... Все решается с молние-носной быстротой, на каждое дело тратится не более трех-четырёх минут. Проект декрета излагается сжато и толково». Все разыгрывается как по нотам: приводят-ся основные пункты декрета, утверждаются членами президиума, Александра Львовна назначается храни-тельницей Ясной Поляны. «Наступила новая эра», — за-ключила она. Проект, разработанный младшей доче-

рю писателя, оказался настолько жизненным, что почти без изменений лег в основу декрета ВЦИК.

Официозная история о том, как создавался декрет, оказалась слишком выхолощенной и впоследствии превратилась в один из вульгарно-социологических мифов. В ней не нашлось места ни противоречивым коллизиям вокруг усадьбы, ни усилиям младшей дочери Толстого, ни самой атмосфере тех далеких парадоксальных лет. Миф всегда тотален. Легенда о создании музея была предельно проста и, казалось, заучена раз и навсегда. Из поколения в поколение ее твердили наизусть, иногда, правда, расцвечивая новыми фантомами. Иные, продираясь сквозь мифы, пытались расширить пространство реальной истории. Но что бы при этом ни открывалось, говорить можно было лишь в пределах легенды. Вспомним схему, сформировавшуюся в недрах яснополянской, «музейной» историографии: после смерти Толстого и обращения вдовы писателя к монарху реакционное царское правительство отказалось взять усадьбу в государственную собственность. Именно грозила неминуемая гибель, но в 1917-м пришло спасение, а в 1921-м, с появлением знаменитого декрета, окончательно все уладилось. Материалы, связанные с Александрой Львовной, хранимые когда-то за семью печатями, «расчищают» эту легенду и демифологизируют историю рождения музея.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Предисловие. О вечной повседневности</i>	7
<i>Глава 1. Сиятельный дед</i>	16
<i>Глава 2. Мария + Николай</i>	32
<i>Глава 3. Младший сын</i>	50
<i>Глава 4. Чувство оленя</i>	65
<i>Глава 5. Неутомимая Sophie</i>	80
<i>Глава 6. Тринадцать</i>	104
<i>Глава 7. «Последняя любовница»</i>	124
<i>Глава 8. Мифология денег</i>	145
<i>Глава 9. Лит-те-ратор</i>	162
<i>Глава 10. Охота пуще неволи</i>	176
<i>Глава 11. О-ля-ля!</i>	190
<i>Глава 12. Страсти по хозяйству</i>	200
<i>Глава 13. «Кушанье готово!»</i>	219
<i>Глава 14. «Лучше говорю, чем пишу»</i>	250
<i>Глава 15. Смена декораций</i>	274
<i>Глава 16. Страстный пилигрим</i>	293
<i>Глава 17. «Стенограмма чувств»</i>	310
<i>Глава 18. Сам себе врач</i>	318
<i>Глава 19. «Е.Б.Ж.»</i>	343
<i>Глава 20. Постжизнь</i>	364

Никитина Н. А.

Н 62 Повседневная жизнь Льва Толстого в Ясной Поляне /
Нина Никитина. — М.: Молодая гвардия, 2007. — 395[5] с.:
ил. — (Живая история: Повседневная жизнь человечест-
ва).

ISBN 978-5-235-02979-8

Эта книга посвящена одной из самых ярких фигур XX века, русско-
му гению — Льву Николаевичу Толстому. Ее автор — толстовед и культу-
ролог Нина Алексеевна Никитина, на протяжении многих лет изучаю-
щая феномен этой глобальной личности, предлагает читателям
рассмотреть портрет классика отечественной и мировой литературы в
контексте его обыденной жизни. Что, как не окружающая среда, детали
быта, привычки, то самое, изо дня в день вертящееся колесо повседнев-
ности, позволяет лучше понять характер гения, заглянуть в труднодо-
ступные уголки его души? Н. А. Никитиной удалось создать объемный
портрет Толстого: писателя, семьянина, учителя, хозяина Ясной Поляны,
охотника, гурмана и при этом великого человека, уставшего от бремени
славы, обуреваемого сомнениями, искушениями, страстями, болезнями
и страхом смерти.

УДК 82.161.1

ББК 83.3(2Рос=Рус) 6

Никитина Нина Алексеевна

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЛЬВА ТОЛСТОГО В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

Главный редактор **А. В. Петров**

Редактор **И. И. Никифорова**

Художественный редактор **А. В. Никитин**

Технический редактор **В. В. Пилкова**

Корректоры **Т. И. Малащенко, Г. В. Платова, Т. В. Рахманина**

Лицензия ЛР № 040224 от 02.06.97 г.

Сдано в набор 24.01.2007. Подписано в печать 01.08.2007. Формат
84х108/16. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Гарамон».
Усл. печ. л. 21,0+1,68 вкл. Тираж 5000 экз. Заказ 73930.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127994, Москва,
Сушевская ул., 21. Internet: <http://mg.gvardiya.ru>. E-mail: dse1@gvardiya.ru

Типография АО «Молодая гвардия». Адрес типографии: 127994, Москва,
Сушевская ул., 21.

ISBN 978-5-235-02979-8

БИБЛИОТЕКА МЕМУАРОВ
БЛИЗКОЕ ПРОШЛОЕ

*Мемуары и эпистолярное наследие
известных писателей, философов, художников,
музыкантов, театральных деятелей,
представителей творческой богемы*

Уже изданы и готовятся к печати:

Е. Герцык
«ЛИКИ И ОБРАЗЫ»

Т. Маврина
«ЦВЕТ ЛИКУЮЩИЙ.
ДНЕВНИКИ 1930—1990 ГГ.»

Н. Матвеева
«МЯЧ, ОСТАВШИЙСЯ В НЕБЕ»

М. Нестеров
«О ПЕРЕЖИТОМ. ВОСПОМИНАНИЯ»

О. Высотский
«НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ
ГЛАЗАМИ СЫНА»

И. фон Понтер
«ЖИЗНЬ НА ВОСТОЧНОМ ВЕТРУ:
МЕЖДУ ПЕТЕРБУРГОМ
И МЮНХЕНОМ»



Телефоны для оптовых покупателей:
8(499) 978-21-59; 8(495) 787-63-75; 8(495) 787-63-64
<http://mg.gvardiya.ru>, dsel@gvardiya.ru

Что свидетельствует ныне о быте ушедших эпох? Как выглядели жившие в них люди? Как были одеты, причесаны, как развлекались и любили друг друга, чем украшали себя женщины, какие кушанья подавались к столу, что считалось приличным, а что возмутительным? На эти и множество подобных вопросов ответят книги новой серии

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ:

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Уже изданы и готовятся к печати:

Г. Бондаренко
**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ДРЕВНИХ КЕЛЬТОВ**

С. Лолаева, Г. Черкасов
**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ДЕПУТАТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ**

Л. Фредерик
**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ЯПОНИИ В ЭПОХУ МЭЙДЗИ**

Н. Будур
**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ВИКИНГОВ. IX-XI ВЕКА**

Т. Диттрич
**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ВИКТОРИАНСКОЙ АНГЛИИ**

Е. Глаголева
**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ФРАНЦИИ
В ЭПОХУ РИШЕЛЬЕ И ЛЮДОВИКА XIII**

Телефоны для оптовых покупателей:
8(499) 978-21-59; 8(495) 787-63-75; 8(495) 787-63-64
<http://mg.gvardiya.ru> dsel@gvardiya.ru

Что свидетельствует ныне о быте ушедших эпох? Как выглядели жившие в них люди? Как были одеты, причесаны, как развлекались и любили друг друга, чем украшали себя женщины, какие кушанья подавались к столу, что считалось приличным, а что возмутительным? На эти и множество подобных вопросов ответят книги новой серии

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ:

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Уже изданы и готовятся к печати:

А. Вульф

**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
РОССИЙСКИХ
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ**

Ж. Сустель

**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
АЦТЕКОВ НАКАНУНЕ
ИСПАНСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ**

Б. Мейер-Стабли

**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
БУКИНГЕМСКОГО ДВОРЦА
ПРИ ЕЛИЗАВЕТЕ II**

Н. Никитина

**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
АЛЫА ТОЛСТОГО
В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ**

П. Фор

**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
АРМИИ
АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО**

Телефоны для оптовых покупателей:

8(499) 978-21-59; 8(495) 787-63-75; 8(495) 787-63-64

<http://mg.gvardiya.ru>, dse1@gvardiya.ru

ИНФОРМАЦИЯ

ДЛЯ ОПТОВЫХ

ПОКУПАТЕЛЕЙ

*Склад
издательства «Молодая гвардия»
находится в центре Москвы
по адресу:
Суцевская ул., д. 21
ст. м. «Новослободская», «Менделеевская»*



**В отделе реализации действует
гибкая система скидок**



**Доставка книг по территории
Москвы и Московской области
БЕСПЛАТНО**

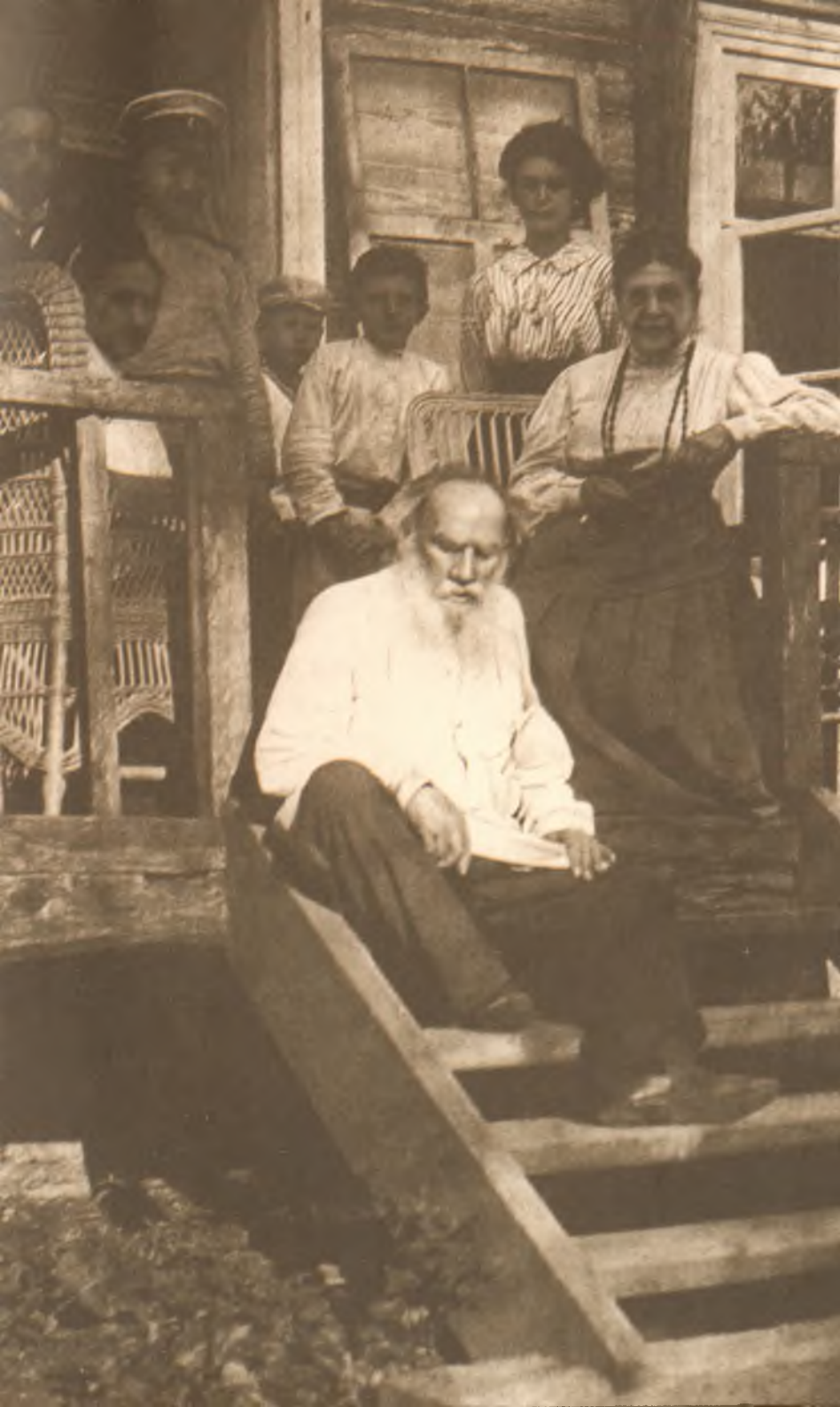
ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛА РЕАЛИЗАЦИИ

8(495) 787-64-20

8(495) 787-62-92

ТЕЛЕФОНЫ СКЛАДА

8(495) 787-65-39 8(495) 787-63-64







СКОРО ВЫЙДУТ В СВЕТ:

А. Б. Вульф

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
РОССИЙСКИХ
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

А. Каспи

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ
В ЭПОХУ
«СУХОГО ЗАКОНА»

О. Елисеева

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
БЛАГОРОДНОГО СОСЛОВИЯ
В ЗОЛОТОЙ ВЕК
ЕКАТЕРИНЫ

П. Фор

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
АРМИИ
АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО

Л. Реньё

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ОТЦОВ-ПУСТЫННИКОВ

ISBN 978-5-235-02979-8



9 785235 029798 >

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ